

Барбара Фришимут
Мистификации Софи Зильбер

Barbara Frlschmuth
Die Mystifikationen der Sophie Silber
Roman. 1976

Все пошло-покатилось в один прекрасный весенний вечер последнего года Сатурна, вернее в тот самый миг, когда Амариллис Лугоцвет споткнулась о камень и так ушибла большой палец ноги, что даже искусство волшебства, коим она владела, не помогало ей унять пронзительную боль. Лишь после того, как фея Наступающей Прохлады коснулась ушиба тонкими перстами, а Пери Балу дохнула на него живительным зефиром, боль перешла в легкое покалыванье, когда же собачка Макс-Фердинанд — семнадцатая по счету такса с этой кличкой, принадлежащая Амариллис Лугоцвет,— вдобавок еще лизнула ей палец своим горячим язычком, припухлость и вовсе опала и можно было опять всунуть ногу в туфлю.

Три феи гуляли, они собирались обойти вокруг озера, дошли уже до дуга па той стороне, где горы чуть отступают от берега, и теперь искали уютное местечко, чтобы немного отдохнуть и подкрепиться. К несчастью, была суббота, и подходящая для этой цели кофейня оказалась закрыта: ее владельцы исповедовали Моисееву веру и соблюдали ритуальный покой. Однако три дамы не спешили по столь ничтожному поводу пустить в ход свои тайные силы,— они хотели прежде хорошенько осмотреться.

Вскоре они очутились перед очень живописным и очень старым охотничьим домиком, стоявшим на яркой зеленой лужайке меж двух невысоких скал, поросших лишайником, кустами и деревьями. От времени и непогоды бревна, из которых был сложен домик, потемнели, а поскольку дело шло к вечеру и на окна уже пала густая тень, трудно было разглядеть, есть кто внутри или нет.

Наметанный глаз Амариллис Лугоцвет мгновенно подмечал все мало-мальски незнакомое в привычном окружении. Вот и сейчас она сразу углядела, что по обе стороны входной двери полыхают огненные лилии, а ведь вчера их здесь не было. И тут на ее лице, затененном широкополой соломенной шляпой с лентами, в глубоко посаженных главах и в уголках тонкогубого рта мелькнула едва уловимая усмешка. Всего несколько произнесенных шепотом слов — и на глазах у двух других фей, застывших в независтливом изумлении, перед дверью домика вдруг прыснули из земли и распустились нарциссы.

— Посидим здесь немножко,— предложила Амариллис Лугоцвет, и они втроем уселись на деревянную скамью, с которой хорошо виден был охотничий домик. Чтобы не привлекать к себе внимания, все три феи были одеты как местные жительницы. Штирийские платья очень хорошо сидели на них, хотя лица китайской феи Наступающей Прохлады и персидской Пери Бану совсем не вязались с их одеждой. Зато их стройные шейки горделиво выступали из шелковых косынок с бахромой, а цвета их нарядов превосходно сочетались,— ведь Амариллис Лугоцвет приложила к этому делу свою чудодейственную руку. Сама она, с тех пор как поселилась в этих краях, носила только местный костюм, а потому ей были ведомы все его хитрости — как положить юбку красивыми сборками, как повыигрышней отделать ее узкой, но яркой тесьмой и покрасивей обшить пышные рукава блузки наитончайшими кружевами.

Не удивительно, что и все остальное в нарядах двух заезжих фей было подобрано наилучшим образом — башмаки, чулки, суконные жакеты и пестрые сумки из тесьмы. Амариллис Лугоцвет ухитрилась даже заплести их тяжелые черные волосы в косы и выложить им на голове замысловатые прически. Вид их радовал глаз, и Амариллис Лугоцвет не без гордости любовалась своим творением. К счастью, курортников, которых они могли бы удивить, было еще мало. А местные жители за все эти годы так привыкли к Амариллис Лугоцвет и ее частым гостям, — не осталось в живых уже никого, кто бы мог с точностью сказать, когда она сюда приехала, — что почти не обращали на них внимания.

Прошло совсем немного времени, и аромат нарциссов сделал свое дело — проник в охотничий домик, и его дверь вдруг распахнулась сама собой. Макс-Фердинанд, — он лежал у порога, — вскочил и, вскинув мордочку, приняв себя и чихая, вбежал вовнутрь. Три феи последовали за ним, и едва они переступили порог, как входная дверь опять захлопнулась. Они очутились в узких темных сенцах, перед полуотворенной дверью в комнату, откуда просачивался свет — луч заходящего солнца — и доносились мужские голоса. Едва лишь феи услышали эти голоса, лица их разгладились и помолодели, — лица не то чтобы старые, но отмеченные тем строгим достоинством, которое является признаком зрелых лет. На щеках заиграл румянец, а глаза расширились и заблестели, словно в них накопились белладонны. Даже с оголенных рук Амариллис Лугоцвет сбежали веснушки и мелкие морщинки, и они опять стали налитыми и белыми, как в те времена, когда за ней ухаживал Альпинокс, — но это уже совсем другая история. Тем временем нетерпеливый Макс-Фердинанд толкнул вторую дверь, и феи увидели четырех мужчин, — прервав игру и еще держа в руках карты для тарока, они, один за другим, поднимались из-за стола.

— Король Альп, — сообщила своим спутницам Амариллис Лугоцвет, прежде чем кто-либо из мужчин, спешивший подглядеть раскрытые карты соседа, успел произнести хоть слово.

Тот, кого она представила, высокий дородный мужчина в костюме горца, с белыми, как снег, волосами, поклонился и протянул ей руку.

— Какое сияние исходит от вас, почтеннейшая! — Он не мог сдержать своих чувств и обнял ее. — Альпинокс, — назвался он, когда Амариллис Лугоцвет сообщила ему имена двух других фей.

Остальные игроки тоже подошли ближе. Один был местный водяной, но сменил привычное для здешних водяных имя «Вассерман» на «фон Вассерталь», по той причине, что на берегу его озера однажды поселился некий писатель Вассерман, и водяной, из чисто престижных соображений, не желал чтобы их путали. Были там еще карлик Драконит, скалозитель с Венедигера, и Евсевий, старейший из легендарного рода гномов-перевалышей, той боковой пастушьей ветви, что отделилась от основного племени гномов-рудокопов еще в эпоху великого переселения народов и чьи старейшины подчинялись непосредственно альпийскому королю.

— Надеюсь, мы не очень помешали, — с улыбкой сказала Амариллис Лугоцвет и первым делом взглянула на Евсея, известного своим пристрастием к тароку.

— Ничо, не замай, — ответил Евсевий и даже вынул изо рта трубку, — ихний верх и так.

Фея Наступающей Прохлады и Пери Бану, не поняв его слов, испуганно вскинули брови: они не знали, что и думать об этом, как им показалось, колдовском заклятье. Но поскольку ничего плохого и неприятного не случилось, обе феи быстро успокоились, и через несколько минут Драконит и фон Вассерталь уже церемонно вели их к столу.

— Лучшего времени для встречи нельзя было и пожелать, — сказал Альпинокс,

обратись к Амариллис Лугоцвет. Он подхватил ее под руку и принялся расхаживать с ней по комнате, между столом и старинной изразцовой печью, да еще таким широким шагом, будто они взбирались на горный альпийский луг. Не выдержав, Амариллис вскоре высвободила руку и остановилась посреди комнаты, чтобы перевести дух.

— Если вы будете меня так гонять,— сказала она, запыхавшись,— мне придется поискать другое местечко для отдыха.

— Помилуйте, помилуйте, почтеннейшая...— Альпинокс рассмеялся и повел свою даму к столу, предложив ей сесть на угловую лавку, покрытую вышитыми подушками.

— Мы хотели совершить приятную прогулку, разумеется, без особых альпинистских целей, только чтобы обе мои гости могли воочию убедиться в красоте здешних мест. И все у нас шло хорошо, пока я вдруг не ушибла ногу о какой-то камень,— начала рассказывать Амариллис Лугоцвет и как бы в подтверждение своих слов сбросила под столом туфлю.

— Ага, тот самый камешек...— сказал Альпинокс, и лукавая улыбка скользнула по его суровому, обветренному лицу, собрав веером морщинки у глаз.

— Ну, это уже верх всего! — воскликнула Амариллис Лугоцвет.— Это уж поистине верх! Значит, это ваша работа? Драконит, фон Вассерталь, как вам это нравится? — Но увидев, что те двое тоже ухмыляются, перестала сердиться и заулыбалась.

— Не воображайте только, что вы меня перехитрили, мой всеведущий Альпинокс,— обратилась она к нему уже более мирным тоном.— То, что вы сами нынче оказались здесь, именно в нынешний вечер...— И она бросила взгляд на Евсевия — теперь пришел его черед ухмыляться.

— Евсевий, так, значит, это ты подстроил!..— вскричал Альпинокс, казалось, он действительно изумлен.— Признаю себя побежденным, дорогая Амариллис, перед вами я в тысячу первый раз признаю себя побежденным.

— А теперь,— сказала Амариллис Лугоцвет, с минуту посмаковав свой триумф,— а теперь я хочу спросить...— Она смущенно кашлянула.— Что, господа уже откушали?

— Помилуйте, помилуйте,— Альпинокс тоже кашлянул,— мы, конечно, вас ждали.— Поднявшись, он подошел к плите, снял с нее железные конфорки и,дохнув, раздул тлевшее в ней пламя — угли так и вспыхнули жаром. Следом за ним подошел Евсевий с пучком ивовых прутьев, на которые были насажены отменнейшие гольцы, и так умело разместил их над очагом, что они сразу начали потрескивать и брызгать соком. Потом он притащил корзинку мытой картошки, нарезал ее кружками и разложил на краю плиты. Драконит тем временем предложил присутствующим настойку горечавки в качестве аперитива, а фон Вассерталь принес охлажденное вино. Немного погодя две заезжие феи могли уже отведать первых испекшихся рыб с ломтиками румяной хрустящей картошки.

Застолье то и дело оглашалось смехом и шутками, а понемногу все пришли в наилучшее расположение духа-Мужчины отпускали комплименты феям, феи над ними подтрунивали, и надо сказать, что горечавка немало способствовала общему веселью.

Пери Бану, давно оплакавшая своего Ахмеда, принялась вовсю любезничать с обаятельным, хотя и грустно-задумчивым фон Вассерталем, а Драконит и фея Наступающей Прохлады обсуждали технику обработки яшмы. Евсевий безропотно исполнял обязанности кравчего, между тем как Альпинокс и Амариллис припоминали свои былые шалости и всякий раз от души хохотали.

— Надо бы нам встречаться почаще, как встарь,— заявил Альпинокс.

— И более тесно сотрудничать,— подхватила Амариллис.— Нашему племени нелегко приходится теперь, когда чужане во многом настолько опередили нас.

— Кому вы это говорите...— Альпинокс уныло уставился в свой бокал и затем осушил его до дна.— Я был вынужден оставить им свои владения, одно за другим, и даже этот домик мне удалось удержать за собой лишь благодаря соглашению с княгиней, которая числится его владелицей. С условием, что на июль и август дом будет/ сдаваться курортникам. «Чтобы не слишком выделяться»,— заявила княгиня.

— Ко мне тоже каждые два-три дня является кто-нибудь,— а я ведь живу совсем на отшибе,— и спрашивает, не сдам ли я комнату.

— А помочь себе ни за что не дают. Чужане теперь ни в грош не ставят ту помощь, какую мы еще в силах им оказать. Вот я недавно пытался...

— Знаю, знаю, дорогой Альпинокс, и со мной то же самое. Еще и недели не прошло, как я...

— Мы пережили, себя, почтеннейшая, вот она, печальная истина. Чужанам мы теперь не нужны, поверьте.

— Разве единственная цель нашего существования — быть полезными чужанам? — Теперь настал черед Амариллис Лугоцвет уныло уставиться в свой бокал и затем осушить его до дна.— Вообще-то вы правы, и как еще правы, дорогой Альпинокс. Прибавьте к этому всякие распри и дразги между нашими, которые мы сами поддерживаем и раздуваем тысячелетиями. Так поделом же нам.

— Как это говорят чужане, когда объединяют свои усилия? — задумчиво спросил Альпинокс.

— Кажется, в единении сила! Или что-то в этом роде,— ответила Амариллис— Но в нашем случае...

— А почему бы и нет, почему бы и нет, почтеннейшая, почему бы и нам не объединиться, прежде чем мы окончательно откажемся от своего нынешнего образа? Поскольку умереть мы не можем, во всяком случае, век наш необычайно долг, нам остается только одно — вселиться обратно в материю, в растения, камни, вещи. Но тогда-то мы и окажемся всецело во власти чужан.

Разговор их был прерван громким возгласом: «Музыку!» Обе парочки возымели желание потанцевать и попросили Альпинокса замолвить словечко перед Евсевием, но этого и не требовалось, Евсевий сам уже достал свою цитру, поставил ее на стол, и вскоре зазвучали такие залихватские мелодии, что обе чужеземные феи, еще не сойдя с места, начали, в такт музыке, покачивать бедрами и ждали только, чтобы кавалеры научили их штирийскому танцу. А те, в свою очередь, ждали, чтобы Альпинокс первым начал пляску, и хотя Амариллис Лугоцвет сперва ломалась, она все же приняла приглашение. Тогда Альпинокс,— несмотря на свой внушительный вид, он был лихим танцором,— вывел ее на середину комнаты и весело закружил. Он знал все самые затейливые фигуры этого танца, ныне уже забытые, а его дама с удовольствием подчинялась ему,— по крайней мере, когда дело касалось танца.

Когда они кончили свое выступление, фея Наступающей Прохлады, которой редко случалось наблюдать такое непринужденное веселье, а вместе с ней и Пери Бану восторженно захлопали в ладоши. Благодаря их волшебной переимчивости долго учить их не пришлось, и они понеслись по комнатам старинного домика,— все двери тем временем были распахнуты настежь,— да так бойко притопывали, словно всю свою жизнь только и делали, что стучали по полу своими изящными ножками.

Можно сказать, что и гости и хозяева веселились вовсю, и не удивительно, что шум гулянки приманил сюда всевозможный ночной народец, который давно уже кружил возле охотничьего домика. Но те, что находились внутри, заметили это, лишь когда раздался стук в окно Стучала Розалия Прозрачная, одна из последних лесных дев, какие еще водились в тех краях. За стеклом показалось ее бледное лицо, обрамленное рыжевато-белокурыми волосами. Она сделала пальцем знак, прося впустить ее

— Нет, вы только полюбуйтесь-сказала Амариллис Лугоцвет,— до чего навязчивая особа.

Альпинокс стал ее успокаивать.

— Вы всегда питали слабость к лесным девам уж признайтесь,- обиженно заметила она.

— Вы клевете на меня, почтеннейшая,- возразил Альпинокс- Не забывайте, они принадлежат к нашему племени. Даже если иногда и заводят шашни с чужанами. Это ведь случается порой и с такими, как вы.— И он бросил взгляд на Пери Бану,— как раз в эту минуту ее целовал фон Вассерталь, а она нисколько не противилась.

— Да подите вы прочь, вы просто несносны! — Амариллис Лугоцвет легонько оттолкнула Альпинокса, и он счел это поводом подняться и жестами показать Розалии, что дверь не заперта. И тогда в комнату вступила лесная дева в белых прозрачных одеждах. От всего ее существа словно веяло ночной свежестью, и разгорячившиеся танцоры почувствовали, как их коснулось холодное дуновение. Но в открытую дверь, должно быть, проникли и другие, пока еще невидимые, создания, потому что дом вдруг наполнился шушуканьем и хихиканьем, и теперь никто не был огражден от злых проказ. Амариллис Лугоцвет почувствовала, что кто-то покрывает ее лицо быстрыми влажными поцелуями, и только когда она особым заклятьем заставила проказливое создание принять зримый облик, узнала маленькую русалочку из домочадцев фон Вассерталя, которую уже встречала прежде.

А потом цитра Евсевия внезапно взлетела под потолок, и полилась дивная музыка.

— Клянусь всеми вещами и образами,— шепнула Амариллис на ухо Альпиноксу.— Тихий народец тоже здесь.

— Вы подразумеваете племя эльфов, некогда изгнанное из Альбиона? Малютки были крепко наказаны, шалить они больше не посмеют.

Но вот стали видимы наконец и эльфы со своими крошечными скрипками и флейтами, и под новую музыку ораву закружилось несколько пар.

— Они все-таки очень коварны, в этом вы меня не разубедите,— продолжала Амариллис, она никак не могла удержаться и не поносить эльфов, потому что давно имела на них зуб, а за что — это уже другая история.

— Нам надо теснее сотрудничать, почтеннейшая, нам всем — это относится и к тихому народцу, и к кому угодно еще.

— Вы меня ловите на слове, ладно. Но как же нам это осуществить?

— Собраться всем вместе и обсудить, что мы еще можем сделать.

— Ах,— вздохнула Амариллис Лугоцвет,— стоит мне только представить себе наши бесконечные споры и пререкания! Ничего из этого не получится!

— Быть может, для нас все-таки кое-что прояснится.

Между тем дева Розалия подошла к столу и так недвусмысленно воззрилась на Альпинокса, что тому ничего другого не оставалось, как пригласить ее на танец.

Пока Альпинокс кружился с лесной девой, фон Вассерталь и Пери Бану вернулись к столу.

— Дорогая Амариллис, этот праздник просто волшебный, все так своеобразно и непринужденно! — С этими словами персидская фея обхватила за шею Амариллис Лугоцвет, не выпуская в то же время руки фон Вассерталя. Потом парочка уселась за стол, вплотную друг к другу, и у Амариллис Лугоцвет зародилось подозрение, что под столом они нежно касаются друг друга ногами.

— Пока мы танцевали,— обратилась Пери Бану к Амариллис Лугоцвет,— вы тут строили какие-то планы. Все время сидели в уголке и тихо беседовали.

Амариллис Лугоцвет вздохнула — нельзя сказать, что так уж озабоченно, просто вздохнула — и рассказала об идее Альпинокса собраться всем вместе, она даже

придала этой идее большую весомость, назвав предстоящую встречу конгрессом и тем подчеркнув» что короткая встреча ничего не даст, понадобятся дни, а быть может, недели, чтобы, как она выразилась, «надавав друг другу туманов, до чего-нибудь доспориться».

— Раз сам альпийский король вносит такое предложение, то должен быть толк,— заметил грустно-задумчивый фон Вассерталь, не проявляя, впрочем, особого интереса к делу.

— Превосходная идея! — вскричала Пери Бану.— Будущим летом все мы съедемся на этом курорте, поселимся в одном большом отеле и будем совещаться. А уж какие мы станем закатывать пиры...; В самом деле, превосходная идея.

И вот уже слово «идея» облетело всех присутствующих. Оно переходило из видимых уст в невидимые и будоражило умы.

— Блестящая идея,— заметила Розалия Прозрачная, когда Альпинокс подвел ее к столу.— Вы не находите, Дорогая Амариллис?

Амариллис Лугоцвет легонько покачала головой

— Покамест все довольно туманно,— ответила она,— Даже вам подобных без хорошей подготовки не собрать.

— Знаете,— Продолжала Розалия Прозрачная,—временами, когда я задумываюсь над своей судьбой, я' чувствую такую гнетущую тоску, хочется поскорее раствориться в какой-нибудь полоске тумана. Не осталось уже ничего, на что можно было бы опереться. Большинство лесных дев рассеялось кто куда, а оставшиеся готовы на любую крайность. Ведь все так печально, вы не находите? Чужане стали совсем чужемерзкими, и уже почти не сохранилось мест, где можно порезвиться вволю.

— У каждого из нас свои депрессии,— сухо ответствовала Амариллис. Дело в том, что она терпеть не могла Прозрачную с тех самых пор, как та ни с того ни с сего явилась к ней в дом и принялась рассказывать о своих любовных похождениях, — но это уже совсем другая история.

Тем временем Драконит и фея Наступающей Прохлады, устав от танцев, тоже возвратились к столу.

— Я слышал, здесь принимаются важные решения,— обратился Драконит к Амариллис Лугоцвет.— Прежде все го надо будет выработать резолюцию, которая положит конец хищнической добыче драгоценных камней. Могу я рассчитывать, дорогой Альпинокс, что вы поддержите мое предложение?

Фея Наступающей Прохлады, с приближением утра становившаяся все более оживленной, с интересом прислушивалась и кивала головой.

— Да, да, милейший! — воскликнул Альпинокс, на которого теперь со всех сторон сыпались предложения и советы.— Мы все обсудим. В свое время.

— Такой конгресс,— включилась Амариллис Лугоцвет и с удовольствием отчеканила это слово, в конце концов оно было введено ею,— должен быть очень основательно подготовлен. Вы же видите — стоит только зародиться идее, как она сразу всех будоражит.

Пока горные и водяные духи продолжали плясать, Евсевий, с большим усердием исполнявший обязанности королевского кравчего, повесил над плитой котел с супом-гуляшом, и аромат этого острого кушанья стал приятнейшим образом щекотать ноздри гостям, успевшим проголодаться. Когда же суп наконец сварился и его можно было подавать на стол, то даже эльфы перестали играть на своих инструментах, дав себе передышку. Не потому, что им захотелось супа,— они питались исключительно росой,— но они тоже что-то пронюхали про «идею» и со свойственным их племени любопытством приблизились к столу. Некоторое время они молча прислушивались к разговорам, затем высший из них по рангу спросил, кто будет приглашен на конгресс.

— Конечно, все,— вскричал Альпинокс,— все, в чьей власти принять образ или вселиться обратно в вещи, не потеряв при этом себя, как это происходит с чужанами,— решительно все, будь то феи, гномы, горные духи, эльфы...

— Дорогой Альпинокс,— перебила Амариллис Лугоцвет,— это было бы просто бессмысленно и только повредило бы всей затее. Если мне будет дозволено высказать некоторые замечания...

— Ну, разумеется, почтеннейшая, прошу вас.

— Так вот, если уж мне дозволено высказаться, то я полагала бы более целесообразным, чтобы все существа, как-то: эльфы, гномы, горные и водяные духи, обязанные своим королям беспрекословным повиновением и живущие строго организовано, — прислали бы на конгресс лишь по одному представителю, в то время как вы, дорогой Альпинокс, и присутствующие здесь феи...— тут громко кашлянула Розалия,— а также лесные девы, по возможности, явились бы все.

— Принимается! — хором воскликнули названные, однако среди строго организованных существ поднялся тихий ропот, но никто на него не откликнулся, дабы не дать ему повода усилиться.

— Но у нас впереди еще много времени,— заявил Альпинокс,— пройдет не меньше года, пока мы сможем созвать конгресс, а посему я просил бы уважаемых гостей оставить дискуссии и отведать супу.

Этому призыву все дружно последовали, и раздавшиеся вскоре «ахи» и «охи» доказали Евсевию, что его поварское искусство получило общее признание.

Когда все насытились,— Евсевий каждому еще дал добавку,— и эльфы снова было взялись за свои инструменты, в окна проникли первые лучи солнца, напомнив всея компании, а в особенности тем, кто избегает дневного света, что пора расходиться по домам. Первыми исчезли эльфы, исчезли мгновенно, даже не попрощавшись, но горные и водяные духи тоже очень спешили. Оставшись в первоначальном составе, Альпинокс, три феи, Драконит и фон Вассерталь еще неторопливо допили свои бокалы, потом тоже поднялись и распрощались под звуки веселой «отвальной», которую Евсевий сыграл на своей вновь обретенной цитре.

Три феи решили не пользоваться ни одним из волшебных средств передвижения, а продолжить пешую прогулку вдоль озера и затем пойти по Трессенской дороге, ведущей прямо к дому феи Лугоцвет.

Макс-Фердинанд, мирно проспавший ночь в уютом уголке охотничьего домика, весело носился и прыгал впереди трех дам, обнюхивал все деревья и кусты и у каждого поднимал ножку.

Феи, которых весьма взбодрил свежий утренний воздух, резво шагали вперед и долгое время не произносили ни слова, пока Пери Бану не прервала молчание.

— Вот что я думаю: если мы пригласим на конгресс всех фей, нам понадобится уйма гостиниц, чтобы их разместить.

— Ну нет, так уж много нас не соберется,— возразила Амариллис Лугоцвет.— Не забывайте, дорогая, ведь перед нами еще стоит проблема Времени. Как вам известно, мы часто обходимся с ним весьма произвольно. Вспомните о принце Ахмеде, которому долгие годы, прожитые с вами, показались одним-единственным днем. Многих фей в течение года не удастся даже оповестить, ибо у них совсем другое исчисление Времени.

— Прежде всего фей из Китая,— заметила фея Наступающей Прохлады.— Большинство их во время Ихэтуаньского восстания решило заснуть на сто лет. Их так разбирало любопытство узнать, к чему это все приведет, что ждать они были не в силах, и тогда они решили заснуть, чтобы, пробудившись, сразу узнать, что и как. К счастью, я на это не согласилась, вот почему ваше любезное приглашение застало меня на месте, милая Амариллис.

- Вот видите, моя дорогая,— обратилась Амариллис к Пери Бану,— в чрезмерно

большом количестве мы не окажемся.

Несмотря на живительную утреннюю свежесть феи все же были нарядно утомлены, а потому не стали долее обсуждать «грандиозную» идею. Они заранее радовались хорошему кофе и покойной постели, в которой можно будет сладко доспать до обеда.

...фон Вейтерслебен! Она вытащила из открытой уже сумочки удостоверение личности и большим пальцем пригладила заусеницу на безымянном пальце правой руки.

— Восьмая комната,— сообщил ей портье и снял с доски ключ.

— С ванной?

— С ванной,— отвечал портье,— желаю приятного отдыха.

Носильщик в кепке и зеленом фартуке взял ее чемоданы, и она последовала за ним по лестнице на второй этаж, не решаясь взглянуть ему в лицо. Дети умеют плакать, еще не научившись улыбаться. Но хотя носильщику было явно тяжело, он ни разу не охнул и молча водворил на место багаж, от которого впору было бы заохать.

Софи стала рыться в поисках не слишком мелкой монеты, такой, что на ощупь казалась бы достаточно солидным вознаграждением, а у нее в сумочке была лишь случайной гостьей, с которой не жалко расстаться. И вот она нащупала эту пятимарковую монету, скорее сувенир, нежели деньги, поскольку то была валюта другой страны, и сунула ее служителю в карман куртки, торчавший над фартуком. Почти интимное прикосновение. Ладно уж, подумала Софи. Я знаю, к чему меня обязывает моя внешность. Она чувствовала, что реализовала не все свои возможности и ее судьба далеко еще не свершилась.

Этот курортный поселок был ей знаком. Она жила здесь в детстве с матерью, урожденной фон Вейтерслебен. Ее отец,— имя его никогда не произносилось,— в то время уже был легендарной фигурой со множеством лиц, ни одного из которых девочка так и не увидела. Но и те мужчины, кого ее мать имела обыкновение представлять ей по всей форме, нередко оказывались вполне приятными.

Зильбер, произносила она, когда ей приходилось где-нибудь называть себя самой, Софи Зильбер, и на ее визитных карточках, которые она подавала лишь в исключительных случаях, фамилия «фон Вейтерслебен» была зачеркнута. Под своей настоящей и полной фамилией она регистрировалась только в дорогих отелях*

В тумбочке возле кровати она обнаружила фарфоровый ночной сосуд, расписанный цветами — две хризантемы, желтая и лиловая, со стеблями крест-накрест. Рассматривая это художество она подумала, что, уезжая, быть захватит горшок с собой и дома использует в качестве кашпо для своих комнатных растений.

Софи Зильберг в роли феи Лакримозы. Она поставила на секретер вишневого дерева фотографию в незатейливой рамке. С этой карточкой ей было здесь уютней. Удачный снимок, хотя и давнишний. Тогда она казалась себе слишком молодой, чтобы играть мать восемнадцатилетней девушки, пусть и в обличье феи. Но успех заставил её об этом забыть

Она сыграла бы могущественную колдунью,— слово «ведьма» было ей не по вкусу, от него отдавало чем-то уродливым и паленым. Прежде ее любимой ролью была фея Шеристана, но она знала, что может еще себе позволить, а что нет.

Она протерла лицо ваткой, смоченной лосьоном. Распаковать вещи было для нее делом одной минуты,— за время ее бесчисленных турне у нее выработалась привычка упаковывать и распаковать чемоданы в два-три приема.

О вы, Алькионские скалы! Раскинув руки, словно для объятий, Софи подошла к окну, но из него были видны только небольшие куски пейзажа, ниже границы лесов, и блестящее пятнышко озера. Зато прямо под ее окном был сад-ресторан с фонтаном, спрятанным в скалистом гроте. Все остальное скрывали от ее глаз раскидистые кроны двух старых лип.

Комната темноватая, окнами на север. Софи слишком поздно решила ехать, а может, ей нарочно дали именно эту комнату? Чего можно требовать в сезон. Она проверила краны и стоки в ванной, бросила взгляд в окошко — оно было в половину меньше, чем в комнате, и расположено под прямым углом к окну коридора — оба эти окна почти сплошь заросли огромными сердцевидными листьями, на черенках которых висели коричневатые цветы, похожие на маленькие курительные трубки.

Было четыре часа пополудни, небо хмурилось, и у Софи не было ни малейшего желания идти полдничать. Иногда ей правилась такая погода, насыщенная ожиданием,— казалось, душный воздух мог воспламениться от огонька сигареты. Одеваясь, чтобы выйти, она обратила внимание на то, как низко летают ласточки и внизу, у столиков сада-ресторана, на лету хватают мошек, выходящих над отверстиями солонок.

Только взявшись уже за латунную дверную ручку, она заметила три огненные лилии, торчавшие из узкой вазы в форме ветки, стоявшей на низеньком столике в углу, напротив кровати. Что-то в ее памяти забило тревогу. Она подошла поближе,— может, к цветам приложена визитная карточка? Нет, ничего. Любезность администрации отеля? Она задумалась над тем, насколько велик ее банковский счет — на тот случай, если она все же неверно истолковала полученное ею приглашение. Огненные лилии, огненные лилии... Почему именно эти цветы? Годились бы ведь и махровые гвоздики, которые она видела на больших цветочных грядках у входа в отель. У нее было смутное ощущение, будто однажды она уже встречалась с огненными лилиями. Что-то вертелось у нее в голове, но никак не складывалось в связную мысль. Софи сложила зонтик, чтобы он уместился в сумке. Дорогу она знала хорошо, забыть ее было невозможно. «Куда я в свое время бегала за молоком, оттуда — вверх по склону, мимо усадьбы Бартля и дальше, до большого луга,— на краю его и стоит тот дом. А если пойти от озера, то надо миновать столярную мастерскую, подняться к песчаному карьере, там уж до луга рукой подать». Так ей указывала в письме Амариллис Лугоцвет. Она вспомнила луг и вспомнила дом, вернее, то место, где его надо искать. Она почти вспомнила и самое Амариллис Лугоцвет. Она представила себе даму неопределенного возраста в соломенной шляпе с лентами и в штирийском платье, вернее, нее было такое чувство, будто она идет следом за этой дамой, но не может разглядеть ее лицо.

Вот что было в письме: «Дорогая Софи! Вы навряд ли хорошо меня помните, и все же я надеюсь, что ты, моя дорогая Софи, какой я знала тебя много лет тому назад, непременно отыщешь в своем сердце воспоминание обо мне и моей собачке Максе-Фердинанде». У Софи сразу мелькнуло воспоминание о рыжей таксе, которая тащила поноску — газету, подметая ею улицу, но это могла быть и еще чья-то собака.

Она еще не сняла дорожного платья,— тоже привычка, прежних гастрольных времен — переодеваться только тогда, когда в этом есть прямая необходимость. С минуту она разглядывала себя в большом зеркале рядом со стойкой портье, с удовлетворением отметила, что фигура у нее вполне приличная, а так как портье на месте не было и вообще никого поблизости не было, то она подошла поближе, кончиками пальцев легонько коснулась щек, словно массируя лицо, повела туда-сюда глазами, чуть взлохматила брови, отчего они нежно закудрявились, придав большую выразительность взгляду.

«Дорогая Софи! — шепнула она отражению, и зеркало слегка затуманилось.— В день твоего приезда в пять часов я жду тебя к чаю. Обо всем остальном поговорим устно».

После этого письма она получила извещение из отеля, что ей оставлена комната. Станным образом письмо Амариллис Лугоцвет куда-то запропастилось. Часть его она знала наизусть, но не могла уже точно вспомнить, как звучало само приглашение. Однако в том, что это было приглашение, сомневаться не приходилось. Ну, самое позднее через неделю, с подачей первого счета, все станет ясно. Ей приходилось селиться в хороших отелях и при более сомнительных обстоятельствах. Недоразумение на этой почве вряд ли выведет ее из равновесия.

Воздух был неподвижен и тих, ни малейшего дуновенья. Софи это сразу почувствовала — она-то приехала сюда из города, до того наполненного ветром, что у туристов делалась головная боль.

Говорят, с той поры в этих местах многое переменялось. Софи двинулась вперед бодрым спортивным шагом. Пока что перемен не заметно, во всяком случае, здесь, возле озера. Старые дома вроде бы такие же, как прежде, их не перестраивали, только слегка подновили и, пожалуй, содержат в лучшем виде, чем в ее время. Вся душа ее восстала против такой формулировки. «Мое время теперь,— подумала она,— я никогда еще не была так уверена в себе. Эти виллы, наверное, принадлежат теперь другим владельцам, только в доме, где столярная мастерская, должно быть, живут те же люди, по крайней мере, та же семья». Подходя к ущелью, она услышала знакомый шум которого ей все это время так не хватало,— клочотанье двух рек, одна вытекала из озера, другая бежала к нему через поселок. У оконечности небольшого полуострова обе реки 30

сливались, оглашая окрестность бурливым рокотом, который еще долго отдавался у нее в ушах.

Дорога была не такой ровной, какой рисовалась ей в воображении, ее сплошь перерезали какие-то канавки и сплетения толстых корней. Там, где она поднималась в гору,, над ней местами нависали надломленные ветки, и Софи приходилось нагибаться, чтобы под ними пролезть. Круто обрывавшийся склон горы пестрел цветами — герань, желтый рогатик, пятнистый ятрышник. Когда лес расступился и Софи двинулась вдоль опушки, она то и дело наклонялась над нежными синими колокольчиками, но не рвала их. Однако и здесь, на краю луга, еще пахло прелью и грибами. Софи сорвала верхушку с молоденькой елочки и принялась ее жевать, как делала в детстве, нередко от всамделишного голода, когда ее прогулки заводили ее далеко и она пропускала время обеда.

Вдруг перед нею вырос дом на месте, где ей помнился только заброшенный сарай. Вид у дома был такой, будто стоит он здесь целую вечность. Необработанное дерево потемнело от времени и непогоды — так выглядело большинство домов местных жителей. Сам дом был невелик, но окружен хорошеньким садиком, где росли яркие деревенские цветы.

Дверь в сени была открыта настежь. На каменной ступеньке стояла пара «ходулек» — остроносых сабо с кожаным верхом. Софи сбросила с ноги туфлю и сунула ее в «ходульку», с трудом вспомнив само это слово. Бог весть сколько лет прошло с тех пор, как она в последний раз ступала по земле в такой обуви. От долгой носки дерево внутри стало гладким и скользким, и сквозь тонкий чулок Софи ощутила его прохладное прикосновение.

Сени служили здесь и верандой, там стоял деревянный стол и несколько стульев. Над скамьей в углу висел пучок сухих вербочек, на стенах в тонких деревянных рамках красовались цветные открытки,— одна из них изображала крошечную, только что родившуюся серну. Тонкая занавеска на небольшом окне

вдруг колыхнулась, словно от чьего-то легкого дыхания.

Амариллис Лугоцвет, должно быть, давно уже наблюдала за своей гостьей. Она неподвижно стояла в дверях дома, широко раскинув руки, словно только и ждала случая заключить Софи в свои объятия. Ее глубоко посаженные глаза лучились улыбкой...

— Ты ничуть не переменилась, милая Софи, ничуть не переменилась,— сказала она.

Софи почему-то испугалась и пришла в смущение. -Бог в помощь! — произнесла она обычное в этих местах приветствие, но не двинулась с места и тут только заметила, что одна ее нога все еще обута в «ходульку». -Ну да! — Софи рассмеялась.— Столько лет прошло, а я, по-вашему, ничуть не переменилась.

Когда она снова надела туфли, Амариллис взяла ее под руку и повела в дом. Снаружи было солнечно и жарко, а в коридоре ее охватил прохладный сумрак и в ноздри ударил одуряюще крепкий аромат — Софи не сразу сообразила, какой цветок его источает.

— Пойдем,— сказала Амариллис Лугоцвет.— Ты мне позволишь по-прежнему говорить тебе «ты»?

Она ввела Софи в светлую комнату с неожиданно высоким потолком,— Имеется и кухня,— она указала на притворенную дверь,— но кухней, я думаю, тебя не удивишь.

Софи ожидала увидеть обычную обстановку крестьянского дома, но, кроме массивного шкафа темного дерева с огромным железным ключом и железными петлями да кованого сундука в том же роде, ничего такого не увидела. Обе вещи были неполированные. Не вполне сознавая, что делает, она опустилась в кожаное кресло, а руки уронила на длинный и тоже неполированный стол мореного дерева. Понемногу она привыкла к странному аромату и пришла в себя. Узкий диван напротив был покрыт кашемировой тканью неярких тонов с восточным узором. Убранство комнаты было вроде бы совсем простое, и все же Софи показалось, что в нем есть какая-то роскошь, хотя она и не могла бы толком объяснить, в чем эта роскошь состоит.

Из стенного шкафчика, который Софи заметила только сейчас, Амариллис Лугоцвет достала графин простого стекла и два таких же простых граненых стаканчика и поставила на стол.

Так, значит, она действительно носит соломенную шляпу с полями. Эта шляпа настолько срослась с ее обликом что невольно напрашивалось представление, будто она и спит в шляпе. Носила она по-прежнему и штирийское платье, хотя непривычно блеклой расцветки - светло-желтый, словно линялый, корсаж поверх белой блузки с пышными рукавами, на темно-серой юбке - фартук с зеленым рисунком. Только шелковый платок с бахромой, наброшенный на плечи и схваченный на груди большой серебряной брошью, ереливался оранжево-красными тонами.

— Дорогая Софи, я очень рада, что ты пришла.— Амариллис Лугоцвет наполнила стаканчик нежно-розовой жидкостью и подала гостье, и та догадалась, что это, конечно, черносмородиновая настойка. Первый же глоток вызвал у Софи улыбку — она не обманулась в своей догадке.

— Домашняя? — спросила она, и Амариллис радостно кивнула.

— Ах, сколько всего можно было бы рассказать друг другу...— Взяв со столика коробку с гильзами, Амариллис ловкими движениями набила себе сигарету. — Ты куришь? — спросила она.

Софи взяла у нее самодельную сигарету и предложила ей взамен свои, египетские.

— Нет, спасибо,— отвечала Амариллис,— я уж очень привыкла к этой смеси, от

твоих только раскашляюсь.— Она достала из коробки еще одну гильзу и равномерно набила ее табаком, с наслаждением вдыхая его запах.

Сколько же, в сущности, пробежало лет? Софи попыталась мысленно проследить год за годом, выстроить их в ряд и примерно прикинуть число. Будучи актрисой, она отвыкла всерьез принимать движение времени. А теперь, когда ей удалось наконец получить постоянный ангажемент и с нынешней осени для нее начнется оседлая жизнь, она и вовсе не хочет думать о годах. С каждым новым сезоном она будет менять амплуа, вот и все.

— Твоя мама скончалась у меня на руках. Софи очнулась от своих мыслей.

— У тебя на руках?

Она сама удивилась, как легко перешла на «ты». О, боже, смерть матери, как давно это было и как давно она об этом не вспоминала! Это случилось здесь, в поселке. И Зильбер был при этом. Его тоже много лет нет в живых, того самого Зильбера, чье имя она носит. Она почувствовала потребность глотнуть настойки.

— Милая Софи, ее смерть была легкой, можешь мне поверить.

Невероятно, но Софи ничего не могла вспомнить. Ей стало не по себе. Не помнить, как умирала ее родная мать? По телу у нее побежали мурашки. А если такие провалы в памяти будут повторяться?

— О такой смерти можно только мечтать! — Амариллис Лугоцвет почти скрылась за облаком дыма от своей сигареты.— Итак, за тебя! — сказала она, подымая свой стаканчик.

Кто-то зацарапался в дверь, и она немедленно открылась словно была только притворена. Софи вздрогнула и уронила сигарету, нагнулась за ней, чтобы не прожечь ковер и, скользнув взглядом по полу, заметила таксу, которая приближалась к ней мелкими, но полными достоинства шажками.

— Макс-Фердинанд,— заявила Амариллис Лугоцвет,— опять ты опаздываешь.

Макс-Фердинанд завилял хвостом и трижды стукнул им Софи по ноге, потом вскочил на стул, стоявший между Амариллис и Софи у конца стола, и воззрился на них ласковыми и преданными глазами.

— Все они одинаковы,— сказала Амариллис.— Уже его прадед не имел ни малейшего понятия о времени.

Песик зевнул, словно ему надоело слушать, как обсуждают его недостатки. Он прилизал языком несколько непокорных волосков у себя на груди и скучаяще взглянул в окно.

— Так вот, дорогая Софи, мы пригласили тебя сюда,— продолжала Амариллис,— и в свое время ты все узнаешь.

Макс-Фердинанд весело взглянул на Амариллис и поставил свои отвислые уши торчком — насколько это было возможно.

— Мы? — спросила Софи.

— Очень милые люди,— ответила Амариллис Лугоцвет.— Немножко своеобразные, но в общем очень милые я доброжелательные. Ты еще с ними со всеми познакомишься. Время ведь для тебя роли не играет. Я полагаю, тебе хочется немного отдохнуть от твоих бесконечных странствий.

На столе откуда ни возьмись появилась вдруг тарелка собачьих галет.

— Извини,— сказала Амариллис,— но он становится невыносим, если его вовремя не покормить. В желудке у него часы идут точно.— И она пододвинула тарелку к собаке, а та положила на стол передние лапы и принялась за еду.

Софи встала. — Я очень долго просидела в поезде,— немного растерянно сказала она.

— Тебе надо отдохнуть,—откликнулась Амариллис Лугоцвет.— Мы еще не раз с тобою увидимся, Я очень рада твоему приезду,—Она проводила Софи до сеней.— Ложись пораньше спать и постарайся хорошенько выспаться.

На дворе за это время, как видно, прошла гроза. Цветы местами поникли, полегла трава. Как это она ничего не заметила! Дождь еще шел, хотя и мелкий. Софи пыталась открыть складной зонтик.

— С таким малюсеньким зонтиком в лесу ты вымокнешь до нитки, возьми лучше этот...— И Амариллис Лугоцвет протянула Софи большой пестрый деревенский зонт, под которым могли бы уместиться три человека.

— Итак, до скорого свидания,— сказала Софи, с удовольствием вдыхая наполненный озоном воздух. Когда она опять шла краем большого луга, ей вспомнилось, что в дни ее детства они всегда называли это место «Нарциссовым лугом».

*

«Эти огненные лилии...» — подумала она. Надо было ей спросить про них у Амариллис Лугоцвет. Не она ли подстроила, что их поставили здесь, в комнате. Если да, то на что ей этим намекают, какой хотят подать знак?

Она приняла освежающую хвойную ванну, подновила свой грим, вообще привела себя в порядок, словно для выхода на сцену, хотя сама не знала, в какой роли. Надела элегантное шелковое платье, обращавшее на себя внимание не столько расцветкой, сколько изяществом линий, к нему — нитку жемчуга и только одно кольцо. Она могла себе позволить носить красивые туфли,— ноги у нее не отекали и не были покрыты узлами вен. Вынув из сумки носовой платок, губную помаду, пудреницу, она переложила их в маленькую вечернюю сумочку стиля «модерн», металлическая защелка которой была украшена тисненым цветочным орнаментом. Первое впечатление чаще всего бывает решающим. Она проверила, хорошо ли держатся накладные ресницы, и, включив полный свет, с удовлетворением отметила, что пудра лежит ровно. Никогда нельзя знать,— бывает, что твоя судьба решается в самый неожиданный момент. Ее уже охватило то приятно щекочущее возбуждение, которое она обычно испытывала перед первым спектаклем на новом месте. А когда она спускалась по лестнице, то почувствовала себя такой окрыленной, что замурлыкала едва слышно мелодию какой-то песенки. До нее донеслось звяканье ножей и вилок и тихий шелест голосов с одной стороны, а с другой, где, по-видимому, находилась кухня, тот веселый гомон, которым сопровождается приготовление пищи.

— Госпожа фон Вейтерслебен,— произнес кельнер и повел ее через широко распахнутые двери ресторана, где из-за грозы уже горел свет, к маленькому столику, накрытому на одну персону. Софи залилась краской, сама еще не сознавая почему, и ей пришел на ум старый театральный анекдот про актера, выбежавшего на сцену в спектакле, в котором он не играл. Так примерно она чувствовала себя сейчас. И только присутствию духа, уже не раз выручавшему ее на сцене, была она обязана тем, что не споткнулась и не стянула скатерть со столика или не смахнула с него бокал. Сохраняя самообладание, она села на свое место, слегка дрожащими руками взяла меню и стала изучать список блюд. Сдержаться было ей такого напряжения, что она плохо воспринимала все происходящее вокруг, и кельнеру пришлось несколько раз переспрашивать, что она будет пить. Но, и услышав наконец его вопрос, она только и смогла выдавить из себя: «Красное вино». Кельнер с улыбкой отвесил ей поклон, словно ему было понятно ее состояние.

Софи Зильбер, урожденной фон Вейтерслебен, достаточно было одного-единственного взгляда, чтобы убедиться — чутье на этот раз ей изменило. Туалет ее был совершенно не к месту. Что значит не к месту,— прямо-таки неприличен. Ничто не могло быть для нее неприятнее. И она прокляла минуту, когда, стоя перед платяным шкафом и размышляя, что бы надеть, выбрала этот, как ей казалось привлекательный вечерний туалет.

В ресторане было гораздо больше дам, чем мужчин и хотя Софи не

сомневалась в зоркости своего взгляда она все же украдкой продолжала осматриваться. Гости сидели по три, по четыре человека за столиком, и похоже было что все они друг друга знают,- правда это впечатление было интуитивным и Софи ничем бы не могла его подтвердить.

И все дамы—это в подтверждении не нуждалось -были в штирийских платьях. Блузки и юбки с корсажами самых прихотливых цветосочетаний, но неярких тонов. Влияния моды в этих костюмах не чувствовалось, скорее наоборот — они были словно подернуты патиной, напоминавшей ту слегка обветшалую элегантность, которая считалась хорошим тоном у дворян, когда они наезжали в деревню. И все это выглядело так непринужденно, так безукоризненно опрятно и в то же время небрежно, словно те, кто носил эти вещи, не знали с ними никаких хлопот, словно именно эти платья были самыми уместными здесь — и сегодня, и всегда. И несмотря на то, что они казались слегка потертыми, как на картинах старых мастеров, не создавалось впечатления, будто они изношены на какой-то работе, просто потому, что люди, в них одетые, не походили на тех, кто занят определенной работой, хотя и такая возможность не исключалась.

Софи старалась сохранять спокойствие и не слишком явно глазеть по сторонам. Кельнер принес ей закуску, и она была рада, что может чем-то заняться. «Я похожа на человека, который ошибся адресом, но что толку... Надо доиграть сцену до конца, выдержать один этот вечер, завтра придумаем, как выйти из положения».

Только что она отложила прибор, кончив есть закуску, как на другом конце зала послышался шум, вернее, чуть слышный шорох, заставивший Софи поднять голову. Вошел высокий дородный мужчина, и глаза всех присутствующих обратились на него. Волосы у него были белые, как снег, а лицо загорелое, нос крупный, с горбинкой, и кустистые брови. Одет он был в расшитую куртку горца из зеленого сукна и длинные серые брюки из шерстяной фланели, а под белый воротник рубашки у него был пропущен шелковый платок блекло-розового цвета, завязанный в виде галстука и заколотый серебряной пряжкой. Когда он стал обходить столы, здороваясь, улыбаясь, пожимая руки там и сям, то производил впечатление радушного хозяина. Дамы, видимо, зная этого человека, представляли его одна другой. Софи обратила внимание на то, что лица некоторых дам по типу своему совершенно не соответствовали их одежде. Ей даже показалось, будто она заметила среди дам китаянку с удивительно тонкой шейкой, она-то и произнесла вслух имя вошедшего господина, и Софи услышала что-то похожее на «Альпинокс», Встречались здесь и смуглые большеглазые лица, вероятно, индийского, персидского или арабского происхождения. А вот господин Альпинокс, или как он там звался, страшно напоминал ей актёра, игравшего в народных комедиях—его фамилия так и вертелась у нее на языке. И в то время, как она из-под длинных ресниц незаметно наблюдала за обменом приветствиями, незнаемый господин остановил на ней свой взгляд и в глазах его мелькнула догадка, словно он, никогда не видевший её прежде, сразу узнал, кто перед ним. В удивлении Софи опустила глаза. «Может быть, это хозяин отеля»,- подумала она, но подобное предположение почему-то показалось ей маловероятным. Как будто такая профессия с ним никак не вязалась. К счастью, кельнер принес ей жаркое и на ближайшие четверть часа оно так заняло ее внимание, что она не интересовалась ничем, кроме того, что лежало перед ней на тарелке.

Доносившиеся до нее обрывки разговоров были так многочисленны и так разрозненны, что она не могла увязать их между собой, тем более что почти ни слова в них не понимала. Иногда ей даже казалось, что все присутствующие говорят на каком-то чужом языке, который она не в состоянии была распознать. Понемногу Софи успокоилась и могла рассмотреть зал. Он был отделан в стиле бидермейер, на стенах, оклеенных обоями в бело-золотую полоску, в рамках из гладкого золотого багета висели фотографии актеров и актрис, видимо, когда-то живших в этом отеле.

Может быть, и ее фотография будет со временем здесь висеть. Двустворчатая дверь, полуприкрытая тяжелыми бархатными портьерами, вела в парк, погруженный во тьму, которую разрезал лишь отблеск далекого уличного фонаря да ярко освещенные прямоугольники окон и дверей отеля. Софи показалось, что за стеклянными дверьми мелькают какие-то фигуры, но она никак не могла их разглядеть, словно то были призраки или тени, да в кто мог в это время слоняться по парку? Но едва только она, трезво поразмыслив, решила, что все это ей лишь померещилось, как заметила, что и господин Альпинокс устремил взгляд на дверь и взмахнул рукой, словно хотел кого-то отогнать. Странно, странно все это, вся эта компания в которой она почему-то очутилась... какое это имеет и ней отношение...

Между тем все уже кончили есть. Некоторые дамы поднимались с мест, подходили к гостям за другими столиками, болтали с ними: слышались слова, вроде «канаста», «бридж», «тарок»... Только теперь Софи смогла получше разглядеть двух других находившихся в зале мужчин, которых все время заслоняли от нее беседующие с ними дамы. Один из них был довольно молод на вид. Темные волосы доходили ему до плеч и блестели так, словно были влажные. Софи не поверила своим глазам, заметив на плечах его черной суконной куртки сверкающие капли воды. Лицо у него тоже отсвечивало матовым блеском, а большие темные глаза были опущены густыми ресницами.

Последний из трех мужчин, совсем малого роста, почти карлик, был одет в черный костюм, напоминавший платье рудокопов. Черты лица у него были резкие, словно высеченные из камня, а жидкие седые волосы, выглядывавшие из-под черной, вышитой серебром шапочки, казались жесткими, как проволока. Он разговаривал с дамой, похожей на китаянку, лица у них, в отличие от большинства других, были весьма серьезными.

Софи теперь тоже покончила с едой и, поскольку у нее не было причин задерживаться, сложила свою салфетку и засунула ее в специальный кармашек, на котором пока еще не значилось ее имя. Поднимаясь из-за стола, она еще раз бегло окинула взглядом присутствующих, и, когда глаза ее остановились на дородном седовласом господине, она не сразу их отвела; так вышло, что он тоже взглянул на нее и в знак приветствия отвесил ей поклон.

«Какая привлекательная внешность у этого господина в зеленой куртке... Необыкновенно привлекательная»,— подумала Софи, когда, уже раздевшись, в ночной рубашке в последний раз подошла к окну взглянуть, какая погода. Дождь перестал, и небо сверкало звездами. Перед тем как лечь в постель, она еще раз понюхала огненные лилии и опять принялась строить на этот счет самые невероятные предположения, но так и не додумалась ни до чего более или менее определенного.

Ночь Софи провела как-то странно,— она то и дело просыпалась, но, не очнувшись по-настоящему, через несколько минут снова засыпала. Ей снилась покойная мать, но что именно происходило во сне, помнилось смутно, снились и люди, которых она вчера видела за ужином, Ночь была полна тихих шорохов и невнятного бормотав приглушенного смеха и легкого шушуканья, казалось, по коридорам, едва касаясь ногами пола, снуют взад-вперед какие-то существа. По, задумавшись над тем, что это было, Софи не могла толком ничего вспомнить, словно ее сны и перемежавшая их явь слились неразлично. Да и нельзя сказать, что вся эта ночная возня, которую ей едва ли бы удалось вразумительно описать, мешала ей спать. Проснувшись часов в семь утра, она почувствовала себя бодрой и отдохнувшей. Привыкнув вставать попозже, она хотела снова заснуть, но ей почему-то не лежалось.

Распахнув окна, Софи со всем тщанием принялась за свой утренний туалет, при каждом движении тянулась и потягивалась и жадно впивала в себя свежий утренний

воздух. Долго стояла она перед шкафом, раздумывая, что ей сегодня надеть, но, побегав туда-сюда, из комнаты в ванную и обратно, остановила свой выбор на простеньком летнем платье из льняной ткани. В окно ей было видно, что завтрак накрыли не в зале, а в саду, и когда к восьми часам Софи наконец сошла вниз, то оказалась первой и единственной клиенткой молоденькой любезной кельнерши, которая даже испугалась столь ранней посетительницы, хотя все уже было готово.

Погода, казалось, не имела намерения портиться, все предвещало чудесный летний день. Сидя в одиночестве за кофе со свежими булочками, Софи могла неспешно сверить с действительностью свои воспоминания о здешних местах. Взгляд ее от зубчатой кромки леса скользнул вверх, к острым пикам двух высоченных гор, потом проследовал по причудливым изломам скал, задержался ненадолго на голубой глади озера и пошел блуждать по полям и лугам! Она успела уже забыть, как прекрасен ее родной край и не предполагала, что встреча с ним переполнит ей сердце такой бурной радостью. У нее перехватило дыхание, на глаза навернулись слезы.

Крепкий ароматный кофе помог ей быстро справиться с волнением. Кружочки масла, которое она стала намазывать на хрустящую булочку, поблескивали капелькам воды, а в стеклянной вазочке с джемом играли и переливались солнечные лучи. Весь отель, кроме кухни, был погружен в полнейшую тишину, из приоткрытых окон не слышалось ни звука. На кармашке для салфетки уже значилась ее фамилия, вернее, часть таковой -«Г-жа. ф. Вейтерсл.»~ на всю не хватило места.

Два воробья, усевшись на спинку стула, напротив Софи, дожидались крошек, которые останутся от ее завтрака.

Поев, она еще немного посидела, подставив лицо солнцу и раздумывая, что ей надлежит сделать для начала. Вообще-то она ждала, чтобы кто-нибудь ей сказал, зачем ее сюда пригласили и чего от нее хотят. Чего-нибудь уж непременно хотят, зря бы, конечно, приглашать не стали. Интересно, связано ли это дело с людьми, которых она видела вчера вечером? Но почему тогда никто не подошел к ее столику и хотя бы не представился? Она опять вспомнила господина в зеленой куртке, который поклонился ей на прощанье,— он тоже мелькал в ее снах. Присутствовала в них и ее мать, чью смерть она так плохо помнила. В ближайшие дни надо будет подняться в верхнюю часть курорта — взглянуть на виллу, которую ей после всего пришлось продать. Отсюда ее не видно. Цела ли она еще? Быть может, ее снесли и на ее месте красуется теперь стандартный тирольский дом с металлическими оконными рамами. Её передернуло при одной мысли об этом. Но что толку возмущаться, если уж такое случилось, ничего не поделаешь. Опять она вспомнила о вчерашнем вечере, о том, как не к месту вырядилась. Надо что-то предпринять, и немедленно. Узнать у кельнерши, где найти портниху, и сейчас же к ней отправиться. Кельнерша подробно описала дорогу, а Софи сделала вид, будто здесь ей все незнакомо, хотя с первых же слов поняла, где находится мастерская. Она существовала еще в те времена, когда Софи жила здесь, но, конечно, с тех пор либо разрослась, либо как-то изменилась. В такую рань мало кто выходил на прогулку, Софи попадались навстречу почти одни только пожилые люди, ловившие тихие утренние часы. Она направилась в сторону ущелья. Птичий гомон смешивался с рокотом сливающихся рек; ветви орешника, сплетаясь, образовали зеленый свод, сквозь который не проникали солнечные лучи. Дойдя до ущелья, Софи ненадолго остановилась, ослепленная гладью озера, сверкавшей под утренним солнцем и подернутой легкой рябью,— противоположный берег был еще затянут туманной дымкой. С моста Софи наблюдала, как стайки форелей, несмотря на сильное течение, неподвижно держатся на одном месте, чтобы через секунду, мелькнув, оказаться уже на другом. Лодки, покрашенные в красный и желтый цвет, болтались на цепях у мостков; те, что лишь недавно были: извлечены из лодочных

сараев, покачиваясь на прохладной воде, особенно жадно впивали дощатыми бортами солнечные лучи. Швейная мастерская. Софи свернула от ущелья вправо, на узкую дорогу, шедшую вдоль луга и отделенную от него старым дощатым забором.

Она прямо-таки испугалась, увидев издали множество новых домов там, где прежде их было всего два, не считая мастерской, и какое-то время проплутала, пока нашла нужный ей дом. Конечно, дом был все тот же, старый, но его надстроили, а сбоку прилепили новую веранду. Это был дом типично местной архитектуры, и пристройки ему не слишком вредили. Такие дома здесь вечно расширяли и надстраивали, казалось, самый их тип предусматривал, чтобы время от времени они в каком-то месте вспучивались. Пристройки пока еще отличались новизной, но через несколько лет дожди и ветры сделают свое дело и все сольется воедино.

Софи взошла на крыльцо, позвонила. Двери открыла молоденькая девушка.

— Что вам угодно?

— Да много чего! — ответила Софи и последовала за девушкой в мастерскую.

— Добрый день,— поздоровалась она со всеми сразу и направилась к пожилой полной даме с рыжевато-седыми волосами, которая поднялась ей навстречу. Софи ее сразу узнала. Это была старая портниха, у которой она и ее мать когда-то шили себе «дирндли» — деревенские платья с рукавами фонариком, сборчатой юбкой и четырехугольным вырезом. Портниха тоже смотрела на нее так, будто видит ее не впервые, но точно не помнит, кто перед ней. Софи могла бы ей помочь, назвав себя, но у нее не было ни малейшего желания отвечать на вопросы о том, как прожила она двадцать лет, минувшие с тех пор.

Чем могу служить? — спросила портниха, настороженно поглядывая на Софи, словно какое-то воспоминание не давало ей покоя.

— Мне нужны штирийские платья, хотя бы два и как можно скорее.

У нас есть полуфабрикаты, — ответила портниха и подвела Софи к вешалке, на которой висели в ряд разноцветные «дирндли», — При такой фигуре, как у вас, подобрать нетрудно, вы можете носить любой фасон

Софи стала перебирать тесно висевшие на вешалке платья, ткнула пальцем в одно, в другое и начала примерять. Ей доставляло удовольствие видеть себя в платьях разных цветов. Сделав наконец свой выбор и отделив два платья от остальных, она еще раз их примерила, чтобы портниха могла, где надо, подколоть и ушить.

— Судя по вашему выбору, вы знаете толк в местных костюмах,— сказала портниха, глядя на Софи с надеждой, что уж на эту удочку она попадется и раскроет свое инкогнито.— Ведь чего только не выискивают себе иной раз туристы...— Но поскольку Софи оставалась глуха ко всем попыткам вызвать ее на откровенность, спросила: — Позвольте узнать, где вы остановились? Если желаете, я велю отнести вам эти вещи по адресу.

— «Парк-отель»,— ответила Софи, не моргнув глазом.— Я была бы вам благодарна, если бы вы могли сегодня к вечеру доставить мне платья туда. Для госпожи Зильбер. Я предупрежу портье.

— Нынче многие дамы остановились в «Парк-отеле»,— каким-то странным тоном заметила портниха.

— И все одеты в штирийские платья, да такие красивые, каких я в жизни не видывала,— подхватила Софи.— Они их тоже у вас заказывали?

— Что-то не помню.— Вид у портнихи был слегка обиженный.— Я и сама удивилась, когда вчера проходила мимо и все эти дамы сидели в саду.

Софи, рассмеялась.

— Наверно, у вас есть серьезные конкуренты. И ни одна из этих дам не показалась вам знакомой? Я вот что хочу сказать: может, они бывали здесь в

прошлые годы?

— Никогда.— Портниха опустила голову и перешла почти на шепот.— Большинство из них даже иностранки. Я хотела бы знать, где они взяли эти платья.

— Если я это выясню, то дам вам знать,— ответила ей Софи шутливо-заговорщическим тоном. После чего отобрала еще несколько блузок и фартуков, расплатилась и вышла на улицу, где ослепительно ясное утро успело уже смениться ослепительно ясным днем. Теперь надо было пойти дальше, в город, чтобы приобрести серебряное ожерелье, без которого ее новый наряд был бы неполным.

Примерно в то же время, что и фея Розабельверде, Амариллис Лугоцвет была выслана из страны, где много столетий подряд феи жили в свое удовольствие. Устав от Европы, она посетила сперва Ближний, потом Дальний Восток и целый человеческий век прогостила в Роще Великого Спокойствия у своей приятельницы, феи Наступающей Прохлады. Но в Китае ей тоже надоело, и под конец своего пребывания там она стала всячески торопить Время, то и дело превращая семь лет в один день. Со свежими силами и жаждой приключений она взобралась на облако и оборудовала себе на нем временное жилье. Однако все, что она видела оттуда, вскоре начинало казаться ей слишком далеким. Сверху было трудно различить подробности. Долго носилась она по воздуху, нередко пересаживалась с облака на облако, но давняя привязанность к чужанам в конце концов возобладала в ней, и она тихим дождем пала на землю в милом ею сердцу альпийском крае.

Первое впечатление от этого края было таким сильным, что Амариллис Лугоцвет пожелала незамедлительно принять вид местной жительницы, и когда она, поглядевшись в зеркальную гладь одного из прозрачайших горных озер Штирийского Зальцкаммергута, впервые узрела себя в новом обличье, то осталась весьма довольна. Особенно понравилась ей большая шляпа из натуральной соломки с широкими лентами, и она решила отныне не появляться на людях без этой шляпы.

Вскоре она присоединилась к группе странствующих аристократов, любителей пеших прогулок, одетых в костюмы альпийских горцев, чуть понарядней обычных, и к тем, кто их сопровождал — праздным местным жителям обоего пола. Она сумела пристать к ним так незаметно, что все ее спутники были уверены, будто она идет с ними с самого начала. Целое лето путешествовала она таким образом по горам и долинам, любовалась лугами и водопадами, прославляла простую сельскую жизнь, парное молоко и душистый хлеб, который,— кстати, не без ее помощи,— всегда имелся в изобилии, а ближе к осени, когда господа, облеченные высокими званиями и титулами, должны были вернуться ко двору или просто в столицу, а юные горожанки и пастушки при расставании лили слезы, Амариллис с удивлением призналась себе, что давно уж не проводила время так весело, и она решила обосноваться в долине, показавшейся ей самой красивой из всех, провести там спокойную зиму, а будущим летом вновь присоединиться к той же самой или к другой подобной же группе.

Итак, Амариллис Лугоцвет поселилась в деревянном домике на краю зеленого луга, который отныне каждую весну цвел нарциссами. Домик, простой снаружи, уютный внутри, по своему типу ничем не отличался от домов прочих жителей долины, а посему никто и не удивился, когда он вдруг появился на этом месте. Амариллис Лугоцвет действовала всегда так ненавязчиво, что ей удавалось вкрасться в сознание чужан без всякого шума. Вскоре после того она завела себе первую таксу по кличке Макс-Фердинанд, а поскольку жила она, можно сказать, отшельницей, то чужане ей не докучали. Чего она не могла бы сказать о себе подобных.

Не успела она по-настоящему обосноваться в новом жилище, как лесная дева Розалия соизволила нанести ей первый визит. Она уже не раз, сообщила дева,

видела Амариллис, когда та совершала дальние прогулки, заводившие ее во владения лесных дев. Но она надеется на добрососедские отношения и будет очень рада, если фея не испугается трудностей восхождения и, в свою очередь, нанесет визит им, лесным девам. Они живут в большой пещере, известной среди чужан под названием «Триссельбергской дыры», и ей, фее,— а Розалия сразу распознала в ней фею,— нетрудно будет своим сверхзорким оком разглядеть, что иногда перед входом в пещеру сушится их белье.

Розалия Прозрачная была бы ослепительной красавицей, если бы не шершавая кожа, присущая всем лесным и древесным духам. Её каштановые волосы с медным отливом соперничали по цвету со свежими листьями красного бука, а платье, ниспадавшее мягкими складками, было так прозрачно, что под ним ясно обозначались кончики грудей похожие на распускающиеся почки. Болтая о том, о сем с Амариллис Лугоцвет, лесная дева поминутно прикладывалась к можжевельниковой настойке, и хозяйке пришлось подать на закуску бутерброды, чтобы алкоголь натошак не повредил желудку гостыи. А когда она еще сварила кофе, то Розалия совсем размякла и призналась ей в своем последнем увлечении — молодой деревенский парень, замечательно ловкий охотник, хотя и браконьер, она влюблена в него до безумия, равно как и он в нее.

Амариллис Лугоцвет не могла, как должно, оцепить такую откровенность,— ее колдовски зоркий взгляд давно проник в любовные шашни лесной девы; с наступлением темноты она пыталась вежливыми, но целенаправленными намеками выпроводить гостью, однако это удалось ей лишь много позже, когда луна уже стояла высоко в небе. —Лесная дева сочла себя очень оскорбленной,— подвыпившие всегда обидчивы. Так что уже в ту давнюю пору зародилась их взаимная неприязнь, вначале затаенная, а с течением времени усиленная новыми размолвками и недоразумениями. Но в тот первый раз до ссоры у них дело не дошло.

После визита лесной девы некоторое время ее никто не беспокоил. Стояла золотая осень, дни соперничали в великолепии, и Амариллис Лугоцвет в сопровождении одного только Макса-Фердинанда спускалась Трессенской дорогой к озеру, по которому ходили легкие волны и, набегая одна на другую, в причудливых изломах отражали плывущие по небу облака и облетающие деревья. Она так наслаждалась прелестью осеннего ландшафта, в такой мере довольствовалась собой, что, казалось, могла обойтись без всякого общества. Ее охватило чувство несказанного покоя, а предвкушение новых странствий будущим летом вызвало желание после первых же заморозков заснуть и превратить долгую зиму в одну беспробудную ночь, другими словами, поскорей с ней покончить.

Однако среди горных и водяных духов вскоре распространился слух о ее прибытии, и они твердо решили не вставлять новоселку своим вниманием. Однажды утром когда она пила кофе у открытого окна,— погода стояла все еще солнечная,— на подоконник вдруг опустился глухарь-мошник. Сначала он с невинным видом чистил перья, но, поняв что Амариллис не собирается его прогонять, достал из-под крыла письмо и, учтиво повертевшись на одной ноге и распутив хвост, поднес ей к самому лицу.

Уступая любопытству, которому она недолго противилась, Амариллис взяла письмо, а глухарь, исполнив поручение, тотчас улетел. По старой своей привычке она долго принюхивалась к мшисто-зеленому посланию, а Макс-Фердинанд, тоже обладавший превосходным нюхом, позволил себе громко и радостно заколотить хвостом по полу, но Амариллис раздраженно прикрикнула на собаку: она уже начала догадываться, что из ее зимней спячки ничего не выйдет и что виной тому не только письмо, но и её собственное любопытство и внезапно пробудившаяся жажда развлечений.

«Многоуважаемая и могущественная фея!» — таков был зачин письма,

выведенный незамысловатым почерком.

«Поелику я своим потайным взором не единожды лицезрел Ваш прельстительный облик, то, не имея склонности к сочинению пространных посланий, когда без труда можно свидеться и побеседовать, я взял на себя смелость, в роли, так сказать, гостеприимного хозяина здешнего края, пригласить Вашу досточтимую особу в мой скромный горный замок на непритязательный полдник. Дабы предотвратить затруднения, могущие воспоследовать от незнания Вами местности, я позволю себе в следующее воскресенье прислать за Вашей милостью небольшую, неброского вида коляску, запряженную серной, в принятое здесь для подобных встреч время, а именно — в четыре часа пополудни.

В подобающем случае радостном ожидании

почтительнейше под сим подписывается

Альпинокс, сиречь Альпийский король».

Наступило воскресенье, и, как было указано в письме, ровно в четыре часа к дому Амариллис Лугоцвет подкатила коляска, запряженная серной, и хотя предстоящий визит вызывал у нее и нетерпение, и недоверие одновременно, она облачилась в штирийское платье, как нельзя лучше подходившее по цвету к густым краскам осени и вполне подобавшее случаю. Макс-Фердинанд в полном восторге сорвался с места, вскарабкался на козлы, где сидел дух челядинец в охотничьем костюме, задавший Амариллис Лугоцвет на языке, несколько отдаленном от литературного, риторический вопрос:

— Ехать хотца?

Амариллис Лугоцвет, считавшая кучера всего только статистом в ответ лишь слегка наклонила голову, но, садясь в коляску, не пренебрегла поданной ей рукой. Не успела она как следует усестись в легком экипаже, как он покатил по скрытым от непосвященных лесным дорогам навстречу скалистым вершинам.

Да, да, думала она, Альпийский король, чувствуя, как ветви деревьев сами собой раздвигаются, чтобы не хлестнуть ее по лицу. Она вспомнила, что некогда, в стародавние времена, что-то слышала о нем, хотя и не отдавала себе отчета, по какому случаю, ну да ведь она долго жила за границей. Быть может, это брюзгливый старик, который строго блюдет границы своего царства и намерен сделать ей внушение, чтобы она не вздумала в этих границах применять свое тайное искусство. Не исключено, что он и вовсе даст ей понять, чтобы она поселилась в другом месте. Она не собиралась малодушно уступать, и пока она раздумывала обо всех вероятных противоречиях между ними, кожа на лице у нее натянулась, глаза расширились и заблестели, так что вскоре она стала выглядеть гораздо моложе и красивее, чем требовалось для зимнего домоседства.

— Мы прибыли, — объявил кучер, вовремя прервав омоложение Амариллис — она успела уже принять облик чуть ли не двадцатилетней девушки, хотя, несомненно, сохранила свой тип; надо сказать, что она не имела обыкновения его менять, возможно, это и не было в ее власти.

Местность, куда они прибыли, была скалистая, с единственным ярким пятном — зеленой альпийской лужайкой. Оглядевшись, Амариллис поняла, что находится довольно высоко в горах. Упомянутая лужайка круто обрывалась по краям, отступая перед бездонной пропастью. По другую сторону лужайки, там, где высились зубцы скал глаза Амариллис, быстро освоившись, обнаружили здание, благодаря натуральному цвету камня, почти неотличимое от ландшафта. Это, наверно, и есть замок Альпийского короля. По обе стороны от входа росли пышно распустившиеся огненные лилии, и, подойдя ближе, Амариллис своим вещим взглядом приказала возникнуть тут же нескольким нарциссам. Тем самым она предъявила свою визитную карточку и могла теперь беспрепятственно войти в замок, сопровождаемая Максом-Фердинандом, который в предвкушении удовольствия беспрерывно чихал.

— Итак, почтеннейшая, вы изволили нам представиться,— сказал Альпийский король, внезапно выросший перед нею. Они стояли в освещенном факелами зале, по стенам которого были развешаны гигантские охотничьи трофеи, добытые, конечно же, в древние времена.

Амариллис Лугоцвет удивилась столь нецеремонному приветствию,— она ожидала увидеть здесь слуг, лакеев, всякую челядь, одним словом, толпу прислуживающих духов, и никак не рассчитывала, что Альпинокс так просто предстанет перед нею собственной персоной. Она протянула ему руку для поцелуя, подняла глаза на его белоснежные волосы, оглядела его костюм горца и понемногу составила себе некоторое представление о дородном господине, который сейчас вел ее в покои своего замка.

— Красиво у вас,— это было все, что она нашлась сказать, настолько ошеломило ее полное отсутствие роскоши, которую она, естественно, ожидала в таком доме.

— Парадные покои наверху,— заметил Альпинокс, словно прочитав ее мысли.— Но ими пользуются только для официальных приемов,— добавил он с улыбкой.— Неофициальные, дружеские происходят в малой гостиной.— И, введя ее в названную комнату, он подвинул ей бархатный стул и сказал: — Воспользуемся минутой, пока не пришли остальные, и дружески побеседуем. Я надеялся сохранить в тайне ваш первый визит ко мне, но общество каким-то образом о нем пронюхало. За вами следят, почтеннейшая, поверьте.— Он впился взглядом в ее глаза, словно надеялся извлечь из них какую-то тайну.

Амариллис Лугоцвет польщенно засмеялась.

— Вот увидите, вскорости вся шатия заявится сюда. Фон Вассерталь со своими дамами, Драконит и вся его свита... Только бедняжка Розалия сидит у себя в пещере и плачет. Чужане застигли ее браконьера ночью на кладбище — он сажал бобы в глаза мертвеца. Вспомнил старое поверье: кому удастся вырастить бобы в черепае мертвеца, будет стрелять без промаха. Теперь этот жалкий и жалости достойный малый сидит в каталажке, а добруша Розалия льет горькие слезы.

— Если уж она питает такое пристрастие к чужанам зачем было выбирать непременно браконьера,— заметила Амариллис Лугоцвет, и тон ее выдавал, сколь мало приязни питает она к лесной деве.— Ведь в горах можно встретить и немало порядочных людей, путешествующих ради собственного удовольствия...

— Например, эрцгерцогов,— сказал Альпинокс, бросив на Амариллис Лугоцвет лукаво-насмешливый взгляд,— а также других титулованных особ, которым надоело смотреть, как светские дамы все лето просиживают под сенью деревьев, а потому они предпочитают протирать себе подметки здесь, на каменистых горных тропах, в особенности если в числе их спутников оказывается такая прелестная фея, как вы, сударыня.

Но Амариллис Лугоцвет не растерялась: призвав на помощь свое волшебное искусство, она сумела не допустить, чтобы лицо ей залила краска.

— Общество этих людей доставило мне большое удовольствие,— холодно отпарировала она,— если только я правильно поняла ваш намек.

Альпинокс засмеялся.

— Я и тогда уже с восхищением следил то из одной, то из другой расщелины в скале, как проворно вы взбираетесь вверх по камням и кочкам.

Амариллис Лугоцвет не пожелала развивать эту тему дальше.

— Вы часто видите с лесной девой?

— Да, ведь нас не так уж много в здешних краях, чтобы мы могли пренебрегать друг другом,— добродушно ответил Альпинокс— Кроме того, Розалия славная девушка, немного странная, правда, но мы и все странные.

— Понимаю,— сказала Амариллис Лугоцвет,— Розалия — дриада, и по своему

естеству она вам, конечно, ближе...

— Чем кто? — спросил Альпинокс, бросив на нее взгляд, который позволительно было бы назвать влюбленным.

Амариллис Лугоцвет разозлилась на себя за то, что дала ему повод для столь интимного вопроса, но бесстрашно, даже с улыбкой, закончила свою мысль:

— Чем наша сестра, довольствующаяся несколькими цветочками на лугу в качестве опознавательного знака.

— Вы изволите глубоко заблуждаться, почтеннейшая.— С этими словами он взял ее руку, лежавшую на столе, и поцеловал.

В этот миг в дверь едва слышно постучали, такой звук мог испугать и разбудить разве что Макса-Фердинанда. Дверь отворилась, вошел слуга, в котором Амариллис Лугоцвет, сама не зная почему, узнала глухаря. Одетый сейчас в платье лесоруба, он внес и поставил на стол тяжелый поднос.

— Пирог и смородинная настойка, но, может быть, вы предпочитаете кофе?

— Спасибо, спасибо,— сказала Амариллис Лугоцвет, варившая кофе по собственному рецепту и отнюдь не уверенная в том, что на кухне горного короля сумеют приготовить его должным образом.

— Ступай, Аксель,— сказал Альпинокс с ухмылкой, вызванной пытливым взглядом Амариллис Лугоцвет.

Как всякая фея, она питала пристрастие к изящным предметам домашнего обихода. Бокалы были из чистого, гладко отшлифованного горного хрусталя, оправленного в серебро. А вот поднос был из прозрачной слюды, положенной в несколько слоев и заключенной в деревянную овальную рамку с двумя серебряными ручками. Между слоями слюды полыхала распустившаяся огненная лилия, красные тона которой гармонировали с цветом смородинной настойки. Куски пирога лежали на маленьких тарелочках, также из горного хрусталя в серебре.

— За то, чтобы я виделся с вами как можно чаще,— сказал Альпинокс и поднял бокал, засверкавший и заигравший в лучах заходящего солнца.

— За то, чтоб между нами был мир да лад,— сказала Амариллис Лугоцвет и поднесла к губам бокал. Вдруг взгляд ее упал на дно бокала, и она чуть не поперхнулась, но, не выказав удивления, отпила глоток и поставила бокал на место. Альпинокс, пристально за ней наблюдавший, тоже и бровью не повел, даже на время отвернулся и стал смотреть в окно, будто заметил там что-то требующее внимательного рассмотрения. Тех нескольких секунд, пока его внимание было направлено в другую сторону, гостье вполне хватило, чтобы совершить задуманное. Немного погодя она снова поднесла к губам бокал и вот тут-то выразил полнейшее изумление.

— О, что это? Быть того не может! — воскликнула она подняв брови чуть ли не до самых полей соломенной шляпы.

Так, пустячок,— произнес Альпинокс,— на память о вашем первом визите. Я едва смею надеяться, что этот маленький сувенир придется вам по вкусу.

Силою своего вещего взгляда Амариллис Лугоцвет подняла неизвестный предмет со дна недопитого бокала — так ей удалось взять его, не замочив пальцев. Это был изящный серебряный браслет, усыпанный богемскими гранатами, он прекрасно подходил к ее наряду и не слишком бросался в глаза. Ценность его заключалась не столько в материале, сколько в искусной работе, которую, впрочем, мог оценить лишь знаток.

«Вот, значит, как,— не только палец, но и всю руку»,— подумала про себя Амариллис Лугоцвет, а вслух произнесла:

— Как это мило, дорогой Альпинокс, как мило с вашей стороны, я всегда буду бесконечно дорожить этой прелестной вещицей.

Лицо Альпинокса, на миг осветясь довольной улыбкой, вдруг вытянулось: ему

попался в пирог какой-то предмет, запеченный туда явно случайно. Какая-то мелкая штучка, не больше изюмины, однако на изюм совсем не похожая,— золотая капсула в форме ореха. Альпинокс поднес ее к глазам, чтобы получше рассмотреть.

— Маленький гостинец,— сказала Амариллис Лугоцвет, искусно скрывая свое удовлетворение тем, что ей удалось ошеломить Альпинокса.— На тот случай, если вам захочется очень сладко поспать.

Альпинокс открыл капсулу и хотел было понюхать ее содержимое, но Амариллис Лугоцвет схватила его за руку.

— Осторожно, не то вы заснете на месте. Он бережно снял ее руку со своей и поднес к губам.

— Глубоко тронут,— сказал он.— Должно быть, это легендарный амариллий. Я сумею сберечь такое сокровище.— С этими словами он спрятал капсулу в левом нагрудном кармане своей черной суконной куртки с зеленой вышивкой и несколько раз любовно погладил.

У Амариллис Лугоцвет вдруг возникло ощущение, что пора бы уже прекратить этот обмен любезностями,— она опасалась, что может возникнуть скользкая ситуация и она будет застигнута врасплох. Она неспешно, мелкими глотками допила свое вино, съела полкуска пирога, а вторую половину незаметно сунула Макс-Фердинанду, который сидел под столом и ждал подачи. Покончив с этим, она без обиняков спросила Альпинокса, не сводившего с нее глаз, не желает ли он показать ей свой замок.

— Если вас это интересует,— сказал он даже с каким-то пренебрежением,— я охотно вам все покажу.

Когда оба они поднимались с мест, он попытался опять осторожно завладеть ее рукой, однако Амариллис Лугоцвет сумела так же осторожно увернуться.

Итак, они покинули малую гостиную, где не только занавеси, но и обивка мебели была из зеленого бархата, отчего создавалось впечатление мшистой пещеры, и через распахнутую двустворчатую дверь вошли в совсем скудно обставленную комнату, одну стену которой образовала скала. Вода родника, бившего из скалы, стекала в бассейн из унтерсбергского мрамора, а у цоколя бассейна росли ослепительно-зеленые, еще не до конца распустившиеся папоротники. Амариллис Лугоцвет едва успела остановить Макса-Фердинанда: движимый естественной потребностью, песик уже поднимал ножку. Возле бассейна стояли каменный стол и каменная скамья; казалось, будто они высечены из той же скалы. Единственной данью удобству была здесь узкая вышитая подушка, но ее пестрый узор уже изрядно поблек.

— Библиотека,— сказал Альпинокс, а когда Амариллис Лугоцвет стала удивленно озиаться, словно что-то искала, он с улыбкой раздвинул занавеси из небеленого холста, закрывавшие одну из стен, не образованных скалой, но сливавшихся с нею по цвету.

— Вид книжных корешков отвлекает меня от размышлений,— пояснил Альпинокс, а его гостя тем временем старалась прочесть как можно больше названий, чтобы составить себе представление о характере Альпинокса. В одном ряду стояли «Ицзин» («Книга перемен») и основатели религиозных учений, в другом — философы чужан, правда, вид у этих книг был не слишком зачитанный. Взгляд ее то и дело натывался на корешки без названий. Она не сомневалась, что под ними скрываются магические книги, и очень хотела бы знать, есть ли среди них те, что известны ей самой.

Альпинокс так поспешно задернул занавес, скрывавший книги, словно боялся, что она узнает слишком много.

— На этой стороне находится еще моя спальня,— сказал он, но комнаты ей не показал, и у нее возникло подозрение, что туда ведет невидимая ей потайная дверь в

скале. Они опять прошли через мшисто-зеленую гостиную, а оттуда в зал, только теперь он показался ей гораздо больше. Посередине, между двумя изгибами лестницы, помещался огромный камин, и хотя сейчас в нем тлело всего несколько поленьев, зимой такая громадина наверняка могла обогреть весь замок. Только теперь Амариллис Лугоцвет заметила, что пол устлан сосновыми иголками, спрессованными в такую плотную массу, что ни одна из них не приклеилась к ее подошвам. Факелы были вставлены в укрепленные на стенах железные кольца, и в их свете некоторые древние трофеи выглядели особенно грозно.

— Прежде чем повести вас наверх,— начал Альпинокс,— я хотел бы еще показать вам комнаты по ту сторону камина...

В этот миг снаружи послышались голоса, кто-то звал кого-то, раздавался смех,— к замку подходили гости. Альпинокс досадливо пожал плечами.

— Вот видите, не дают мне побыть с вами наедине.

Двери вдруг распахнулись, словно по невидимому мановению, Макс-Фердинанд громко залаял, и гости небольшими группами стали входить в зал.

*

Зильбер. Серебро. Софи потрогала серебряное ожерелье, холодное и гладкое, не успевшее нагреться у нее на шее. И на нее нахлынули воспоминания.

Она немного прошла вдоль озера, потом присела на скамью на его высоком берегу, над самой водой, пониже дороги, и, скользнув взглядом по синеве озерной глади, подняла их к синеве гор, проследила, на минуту приставила руку к глазам, чтобы полюбоваться необычайно пестрой бабочкой, но больше ее уже ничто не отвлекало, она сидела неподвижно, словно оцепенев, во власти своей дерзновенно всколыхнувшейся памяти.

Зильбер. Старый Зильбер. Серебряные виски. Вдруг он возник перед ней из тумана, окутавшего всю ее прежнюю жизнь, и вновь принял образ, некогда такой притягательный для нее. А теперь она только всюду таскает за собой, как амулет, его фамилию.

Добрый старый Зильбер. По-настоящему старым он никогда и не был, до самой смерти. В тот день, когда он впервые взял ее с собой на прогулку, на ней было батистовое платье в маленький цветочек со складками на груди, белые гольфы и черные туфли с ремешками. Она вновь ощутила во рту вкус водянистого фруктового мороженого, увидела пятно, которое посадила на свое единственное нарядное платье. Времена были тяжелые, только что кончилась война. И Зильбер,— он незадолго перед тем вернулся из эмиграции,— пытался носовым платком, смоченным теплой водой, смыть с ее платья это пятно.

День был такой же ясный, как нынче, солнце било ей прямо в глаза, и, не выдержав его ослепительного блеска, она опустила взгляд на воду, но в легкой зыби яркие лучи играли еще злее, и тогда она невольно закрыла глаза, и из-под ресниц у нее выкатились две слезинки. Зильбер погладил ее по лицу, он хотел ее утешить, думал, она плачет из-за пятна, а она-то о нем совсем уже позабыла. Когда они вернулись домой,— Зильбер, как обычно, был приглашен к ним на обед,— он поцеловал ее матери руку и занял место за столом между нею и Софи, чтоб с соблюдением должных приличий насытиться пищей, которой, по сути дела, они были обязаны ему. С того самого дня, когда Зильбер впервые коснулся ее лица, и матери при этом не было, а значит, ласка предназначалась всецело ей и не имели целью задобрить эту женщину, бывшую ее матерью,— с того самого дня Софи стала искать телесной близости с ним, да с таким пылким желанием, которое не соответствовало ни ее, ни его возрасту.

Зильбер это замечал, но не придавал значения, долго не придавал значения. И вот когда после длительной внутренней подготовки она решилась сделать попытку — это произошло в тот же день,— уронила кольцо для салфетки, сразу юркнула за ник

под стол и, вылезая обратно, как бы в поисках равновесия, оперлась на руку Зильбера — он самым вежливым образом ей помог, обеими руками ее приподнял, как поднимают ребенка, — а она и была еще ребенком, — усадил на место и увещевал ее мать не бранить девочку за неловкость. Так он словно бы обнес себя частоколом, что лишь усилило в ней жажду соприкосновения с ним.

Им бы давно пришлось продать дом, если бы Зильбер, старый друг ее матери, не снял у них верхний этаж за такую сумму, которая позволяла ей с матерью прилично существовать.

С тех пор как Софи себя помнила, «Зильбер был неизменным поклонником ее матери. Насколько ей было известно, еще до эмиграции. Между тем в доме появлялись и другие мужчины, лучше или хуже Зильбера. Ее успокаивало сознание, что Зильбер ей не отец, хотя иногда ей даже хотелось, чтобы он им был

С того дня, как он в первый раз взял ее с собой на прогулку, она стала наблюдать за ним и матерью, следила за каждым их движением, даже самым безобидным, а когда мать поднималась на верхнюю веранду, чтобы сыграть с Зильбером в шахматы, Софи только и оставалось под каким-нибудь благовидным предлогом убежать к себе в комнату.

Она бросалась на кровать и накрывалась одеялом с головой, чтобы не поддаваться искушению подсматривать за тенью, падавшей с веранды на лужайку, и таким способом узнать, долго ли длились партии и сколько раз за это время наверху целовались. Но всегда получалось так, что она очень скоро засыпала, словно подпав волшебным чарам, и даже не слышала, как возвращалась мать. Уже позднее Софи как-то с улыбкой подумала, что вечером мать и не возвращалась, она спускалась только утром, когда это уже никому не бросалось в глаза, — ведь они обычно завтракали все вместе на верхней веранде.

Амелия фон Вейтерслебен была красивая женщина, красивая и самоуверенная, вывести ее из себя, по ее собственным словам, могли только мелочные житейские заботы, например, когда в доме не было денег и она посылала Софи к лавочнику, чтобы взять у него провизии в долг

Но и тут на помощь неизменно приходил Зильбер, он безмолвно оплачивал все счета, никогда не упоминал об этом. Он же помогал Софи готовить уроки ибо ее мать, которая свободно цитировала Гете, не желала обременять себя школьной премудростью. Он почти всегда бывал рядом, но все-таки не всегда.

И когда Зильбера не оказывалось рядом, Софи была вынуждена обходиться собственными силами. Чем раньше становишься взрослой, тем лучше, говаривала мать и не мешала дочери взрослеть, ибо ее всегда больше занимало как, нежели что. Амелия фон Вейтерслебен прекрасно знала, как ей подобает жить, но нимало не заботилась о том, что необходимо для привычного ей образа жизни. Ей всякий раз удавалось убедить других людей в том, что иначе она жить не может, и они чувствовали себя обязанными оказать ей поддержку. И прежде всех Зильбер, не изменявший этой добровольно взятой на себя обязанности до тех пор, пока ее мать не умерла.

Два разных человека представлялись Софи, когда она думала о Зильбере. Зильбер ее детства, никогда не позволявший себе отвечать на ее прикосновения и в то же время совершенно освободивший ее от ответственности за собственную жизнь. Зильбер, который лишь изредка задерживал ее руку в своей, до тех пор пока она не уступала неодолимому желанию поиграть его пальцами, — тогда он сразу отпускал ее, но не потому, что не расположен был к игре, а потому, что считал себя связанным долгом перед ее матерью. Зильбер, который иногда все же допускал, чтобы Софи под каким-нибудь предлогом кинулась к нему на грудь и прижалась лицом к его шее. Он допускал это, дабы проверить себя, — приняв дерзкий вызов, устоять, а может, и ради минутного удовольствия. Ибо Софи и тогда уже отчетливо сознавала, что не

поддаться ее недвусмысленному призыву и не обнять ее стоит ему огромных усилий. Сама же Софи, напротив, чувствуя, что он в известной мере дает ей волю, пыталась зайти еще дальше, пока Зильбер снова не ставил перед ней неодолимый барьер.

Софи полностью вошла в роль завоевательницы, эдакой «девы-вамп», которую могла играть беспрепятственно благодаря долготерпению Зильбера, тем паче что в глубине души была уверена, что с ней ничего не случится, что она может сколько угодно выступать в этой своей любимой роли, решительно ничем не рискуя, хотя и не получая тот удовлетворения, которое дает сознание победы.

Наступило время, когда Софи до того сжилась с ролью соблазнительницы, что, к великому изумлению матери, ожидавшей от нее лучших манер, начала расхаживать по дому в расстегнутой блузке, с распущенными длинными волосами и не упускала случая поставить ногу на стул, чтобы поправить носки или гольфы.

Мать вначале с подозрением следила за ее выходками, потом приписала их переходному возрасту, но все же неукоснительно делала Софи замечания, когда для того был повод. Видимо, из педагогических соображений она иногда выговаривала дочери в присутствии Зильбера, но странное дело: вместо того чтобы задеть Софи за живое, эти материнские нотации становились для нее лишь элементом дразнящей игры. Уловив минуту, когда мать на нее не смотрела, она бросала на Зильбера взгляд, означавший: вот видите, до чего дошло дело.

Она жила в состоянии какого-то самоотчуждения, какого-то безотчетного порыва; и временами,— как казалось ее матери, без всякой причины,— вдруг заливалась слезами от переполнявшего ее необъяснимого чувства. А иногда это чувство, наоборот, становилось таким плотским, что она убегала в свою комнату, сбрасывала с себя одежду и голая бросалась в раскрытую постель, животом вниз, чтобы всем телом ощутить прохладу льняных простынь. Иногда это «лежанье всем телом», как про себя называла эти броски Софи, успокаивало ее настолько, что она засыпала и видела загадочные сны, где во множестве странных образов неизменно присутствовал. Зильбер.

Однажды, когда мать лежала с ангиной и Софи была уверена, что она не сможет не только пойти наверх к Зильберу играть в шахматы, но и вообще подняться с постели, девочка отважилась завести свою игру так далеко, что чуть было не оборвала ее совсем. Была, наверно, уже полночь, когда она, «лежа всем телом», вдруг проснулась и, скорее возбужденная, нежели успокоенная сонными видениями, приподнялась в кровати и, пробыв недолго в таком полулежащем положении, решила пойти к Зильберу и посмотреть, что будет.

.Ода надела тонкую ночную рубашку и даже не накинула на себя халат,— ей было совсем не холодно. Лестницу освещал только отблеск уличного фонаря вблизи дома и еще не полная луна, и Софи, побоявшись зажечь свет, осторожно ступая, стала красться вверх по лестнице. Дверь в комнаты второго этажа, как обычно, была незаперта, она даже не скрипнула, — мать Софи больше всего на свете ненавидела скрипящие двери,—когда Софи неслышно отворила ее и, очутившись в так называемой гостиной, откуда можно было пройти прямо — на веранду, налево — в библиотеку и кабинет Зильбера, направо же — в его спальню, с минуту неподвижно стояла на цыпочках и вдыхала легкий запах Зильберова одеколona, смешанный с ароматом египетских сигарет, которые он курил, и заметный только тому, кто его давно знал.

Потом она с неистощимым терпеньем, как можно бесшумней, крутила ручку у двери в Зильберову спальню, пока не заметила, что дверь эта только притворена. От такой неожиданности сердце у нее заколотилось еще сильнее, и она на секунду остановилась, чтобы освоиться с темнотой,— в эту комнату свет уличного фонаря не проникал. Когда она могла уже довольно отчетливо различить кровать и, как ей показалось, даже голову Зильбера на высоких подушках, то, затаив дыхание,

двинулась в том направлении. Громкое биение собственного сердца мешало ей прислушаться к дыханию Зильбера, и, подойдя вплотную к его кровати, она вдруг испугалась собственной смелости. Софи понимала, что собирается совершить непоправимое, но теперь, когда она зашла уже так далеко, никакие здравые суждения не могли удержать ее от следующего шага. Она стала ощупывать руками одеяло, сама еще толком не зная, что хочет или что должна сделать, если руки ее в самом деле натолкнутся на Зильбера.

Вдруг раздался его голос, совсем с другой стороны — от окна, где он, вероятно, стоял или сидел.

— Поди сюда,— позвал он. И этот голос, отнюдь не заспанный,— видимо, Зильбер наблюдал за ней с самого начала,— привел ее в такой ужас, что она ничком повалилась на пустую кровать, готовая принять смерть за свой опрометчивый поступок.— Поди сюда,— сказал он еще раз, и в его тоне прозвучала такая покровительственная нежность взрослого к ребенку, что она почувствовала одновременно и страх перед ним, и надежду.

— А где... где вы? — наконец отважилась она спросить и тогда силуэт Зильбера, сделавшего шаг вперед, четко обрисовался на фоне окна, которое становилось все более различимым.

Софи двинулась к нему и снова подумала о смерти, но она больше не казалась ей наказанием.

— Я хотела только...— пробормотала она, неуверенно ступая в темноте и понемногу приближаясь к силуэту Зильбера. Но не нашла, что сказать дальше, а потому направилась прямо к нему, пока его руки не легли ей на плечи и не удержали ее на некотором расстоянии, словно он хотел избежать слишком близкого соприкосновения.

— Больше никогда этого не делай,— произнес он, и Софи показалось, что его седые волосы излучают свет.

Софи знала, что стоит ей сделать одно-единственное, чуть заметное движение, как он примет ее в свои объятия и прижмет к себе, о чем она давно мечтала. Но она не решилась: ее остановила смутная догадка о том, к чему это может привести.

— Ступай теперь,— мягко сказал Зильбер,— а то еще простудишься.

Софи послушно кивнула и безропотно позволила ему еще крепче взять себя за плечи и подтолкнуть к двери.

— Зажечь тебе свет на лестнице? — спросил Зильбер, когда они шли через гостиную.

Софи покачала головой.

— Спокойной ночи.— Он поцеловал ее в лоб,— Смотри не упади.

Софи хотела только поскорей добраться до своей комнаты, не разбудив мать каким-нибудь неловким движением. Это ей удалось. Когда она опять лежала в своей постели, кровь всколыхнулась в ней горячей волной, но она старалась больше об этом не думать. Как будто отныне навсегда исключала возможность довести игру до конца.

*

Время близилось к обеду, когда поток воспоминаний, внезапно захлестнувший Софи, вновь вынес ее на берег озера, где она все еще сидела, не двигаясь с места. От "полноты чувства к давно умершему Зильберу у нее слегка закружилась голова. «Боже мой,- подумала она -как же я могла так долго обо всем этом не вспоминать». И ей показалось, будто она даже помнит, как сидела однажды с Зильбером на этой скамейке.

На свежем воздухе Софи вскоре ощутила голод: Она полагала, что если сейчас же вернется в отель и приведет себя в порядок, то как раз успеет к обеду. Под словом «успеет» она подразумевала, что за обедом, наверное, соберется опять вся

компания — те странные господа и дамы, что вчера с нею ужинали.

Когда Софи подошла к отелю, в саду сидело лишь несколько курортников из ближних пансионов, столики, накрытые для постояльцев гостиницы, были еще не заняты. Она поднялась к себе в комнату, сняла серебряное ожерелье, которое надела, только чтобы к нему привыкнуть,— оно совсем не подходило к ее платью,— и помыла руки.

Она так долго просидела на солнце, что лицо у нее порозовело и можно было вполне обойтись без румян. Софи протерла одеколоном шею и руки до плеч, то и дело поглядывая вниз, в сад, понюхала огненные лилии в вазе, ничуть не утратившие своей свежести, и так как в саду все еще было безлюдно, покрыла лаком облупившиеся ногти, помахала руками, словно крыльями, чтобы высушить лак, и, не выдержав сосанья под ложечкой, спустилась вниз, но не встретила по дороге никого из постояльцев.

Ее столик стоял в приятной полутени, на таком месте, откуда она могла без труда обозреть весь сад, но там все еще не произошло ничего такого, что могло бы привлечь ее внимание.

Когда кельнер, тот же, что подавал вчера, налил ей бульона с омлетом, она попыталась безобидным вопросом пробить броню его молчания. Сделав вид, будто не замечает накрытых столов, она спросила:

— А остальные гости, что, уехали на экскурсию? Кельнер улыбнулся.

— Эти дамы долго спят, завтрак им подают в комнату. Так что обедать они приходят гораздо позже.

Чтобы не выдать своего любопытства, Софи ничего не сказала по этому поводу, только попросила кельнера не давать ей ко второму картошки.

— Понимаете,— пустилась она в объяснения,— ешь ее, ни о чем не думаешь, а потом боишься стать на весы.

— Ваша матушка тоже во многом себе отказывала ради фигуры, она строго следила за тем, чтобы не полнеть. Но перед бульоном с омлетом и она не могла устоять, только ела его чаще всего, когда приходила сюда вместе с Зильбером,— мол, из-за него.

Зильбер. Софи невольно вернулась к мыслям о нем. Но теперь она думала о другом Зильбере, о Зильбере тех времен, когда ее матери уже не было в живых. По его совету она продала виллу, которая все больше превращалась в обыкновенный дом, и переехала в столицу. Ему она была обязана тем, что дом удалось продать не слишком дешево. Зильбера в последние годы постиг ряд финансовых неудач, иначе он не позволил бы ей продавать виллу. А она, со своей стороны, не хотела допустить, чтобы он отдал последние деньги на ее образование. Пока Зильбер был жив, он распоряжался ее имуществом. После его смерти она быстро все растратила. Она настояла на том, чтобы снять себе комнату, хотя Зильбер предложил ей воспользоваться частью его просторной квартиры. Впоследствии она унаследовала ее всю. Это было ее единственное достояние. Теперь, когда у нее есть постоянный ангажемент, она сможет наконец поселиться в этой квартире.

Когда они переехали в столицу, в их отношениях все переменилось. Теперь не она, а Зильбер искал сближения. Но Зильбер оставался самим собой. Он хотел, чтобы она пришла к нему первая. Из дня в день, с часу на час он ждал, пока она не изъявит желание, готовность упасть в его объятия. А она ждала, пока он просто придет и возьмет ее. Быть может, она даже ожидала от него предложения или, но крайней мере, объяснения в любви. Хотя и знала, что испугается этого. Теперь, когда ей уже ничто не мешало броситься ему на шею — ни страх перед матерью, ни угрызения совести, она почему-то больше не испытывала такого желания. И она стала держать себя с Зильбером более по-детски, нежели в детстве.

Перемена в ее чувствах к Зильберу только отчасти объяснялась внешними

обстоятельствами — новым окружением в актерском училище, обществом молодых коллег. Причина крылась скорее в изменившейся ситуации. Пришло время, когда она сама должна была проявить решимость. От нее зависело, осуществит или не осуществит она мечту своих детских лет. И она хотела ее осуществить. Хотела изведать объятия Зильбера. Она была уверена, что однажды, один-единственный раз бросит ему вызов. И тогда чары спадут. Она будет свободна, свободна и от Зильбера тоже, как бы сильно он ее ни любил. Считаться с ним она больше не станет. Понемногу в ее сознании угнездилась мысль о разнице в годах — более сорока лет отделяло их друг от друга.

Ах Зильбер! Она любила и все-таки не любила его. В отроческие годы он занял в ее жизни так много места, что ей казалось немыслимым не вырваться от него теперь. Пока это их единственное сближение не состоялось, все еще висело в воздухе.

Зильбер немало страдал от ее колебаний, хотя, казалось, не сомневался в том, что однажды она придет, не сомневался даже, когда, пользуясь каким-нибудь случаем, обнимал ее за плечи, а она решительно отстранялась. Он понимает, говорил он, ее стремление к самостоятельности, к толике свободы, которая подобаает ее юности. И что удивительно — он тоже начал говорить о разнице в годах. Он по-прежнему опекал ее, давал советы и помогал материально, насколько это было в его силах и насколько она ему позволяла.

Он выводил ее в свет, когда это было угодно ей, — в театр или в ресторан. Теперь пришел ее черед что-то разрешать или на что-то соглашаться. И ощущение его зависимости от нее подняло Софи на такую высоту, что Зильбер даже испугался: будто из рук у него вдруг вырвалась вещь, которую он до того крепко и долго держал.

Так прошло более года. Ожидание с одной стороны и выдержка с другой все больше походили на соблюдение какого-то ритуала со строго определенными правилами, которые становились все более тягостными. Это состояние перемежалось маленькими компромиссами, например, когда они, здороваясь или прощаясь, целовали друг друга в щеки или когда Зильбер подносил к губам руку Софи, что она принимала с невозмутимостью зрелой дамы.

На квартире у Зильбера Софи появлялась все реже. Обычно они встречались в каком-нибудь кафе, оттуда шли в другое кафе или в оперу. Потом Софи позволяла Зильберу проводить ее домой, но к себе не приглашала — ни разу даже не показала ему свою комнату. Зильбер скрепя сердце принимал это как должное, как стремление обереечь то, что он с улыбкой называл ее личной жизнью. Она еще слишком юна, думал он, чтобы поступиться этой жизнью ради него.

Софи никогда толком не знала, чем занимался Зильбер, когда жил не у них, и теперь у нее тоже было самое туманное представление о том, как он добывает средства к жизни. Ей было известно только, что он коммерсант. Но, по-видимому, в последние годы дела его шли неважно, потому что он начал во многом себе отказывать, и когда бы она ни позвонила ему по телефону или ни зашла сама, он неизменно оказывался дома. Чаще всего сидел за книгой или с лупой в руках копался в своей коллекции окаменелостей, куда нередко разрешал заглядывать Софи в ее детские годы. Многие из этих камней он собрал в горах, у подножья которых жили Софи с матерью, и ей вспоминались их прогулки втроем, откуда Зильбер возвращался с рюкзаком, полным камней. Когда она была еще маленькой, эта его страсть ее раздражала: если он считал, что в какой-нибудь груде обыкновенных камней может найтись нечто стоящее, ей приказывали терпеливо ждать, пока он всю эту груду не переберёт.

Его нынешняя готовность всякий раз, когда бы ни пришла Софи, оторваться от своих минералов и всецело посвятить себя ей, навела ее на мысль о том, какое большое место заняла она в его жизни. Зильбер старался это скрывать, но Софи

все яснее чувствовала, что он живет уже только ею. И она с ужасом представила себе, как он сидит все время дома и ждет, чтобы она позвала его, чтобы она попросила его сделать то, что казалось ему теперь единственно важным. Словно бы все силы, какие еще у него оставались, он сосредоточил на ней, отказавшись от иных дел и забот. И не то чтобы в последнее время он особенно сдал, он даже не так уж и состарился. Только похудел, и глаза его мерцали тихим огнем, позволяя предполагать что скоро в них вспыхнет яркое пламя.

И все-таки он был прежним Зильбером: вставал с места, чтобы пододвинуть ей стул или набросить на плечи жакет, и все это делал с такой естественностью, которую Софи могла оценить лишь в тех случаях, когда незадолго перед тем или вскоре после того встречалась с другими людьми, отнюдь не отличавшимися ненавязчивой заботой Зильбера.

Однажды на кухне его домоправительница сказала Софи, что он часами бродит по городу. Она определяет это по ботинкам. Зато, если кто-то хочет переговорить с ним по делу, он отказывается, каждый раз под новым предлогом. «Ума не приложу, чем это может кончиться»,— говорила старая женщина, чистя овощи для обеда.

Опустив глаза, Софи поставила поднос с грязной посудой. Она непременно хотела, как в прежние времена, сама убирать со стола после завтрака, хотя Зильбер и пытался снова и снова внушить ей, что она здесь гостья.

— Должно быть, вы очень его любите,— упорно продолжала домоправительница,— раз все еще приходите навещать. Наверно, давно с ним знакомы?

— С детских лет,— ответила Софи, сделав ударение на слове «детских». Она поняла, к чему клонит старуха, по всей видимости знавшая о Зильбере многое, хотя трудно было поверить, чтобы он ей что-нибудь рассказывал о себе.

Потом потянулись недели, когда она перед каждой их встречей решала: сегодня. Она рисовала себе, как тихо, сзади, подойдет к нему, обнимет, а он схватит ее за руки, повернет и притянет к себе, и она спрячет голову у него на груди. И произойдет все то, чего она так жаждала девочкой, но в то же время и нечто большее. Она узнает наконец, кто такой Зильбер на самом деле, познает его раз и навсегда.

Но подобно тому, как Софи в то времена, когда он избавил ее от всякой ответственности за себя, при всем своем вызывающем поведении, отступала перед последним шагом, сознавая, что на этом для нее все кончится, так и Зильберу неизменно удавалось оттянуть последний решающий миг, ибо и он, по-видимому, знал, что после этого у него не останется уже ничего, кроме воспоминаний, и он окончательно потеряет ту, кого так долго и верно любил и, быть может, продолжал любить в лице Софи,— ее мать.

Когда это действительно произошло, оказалось: для того чтобы сломать ритуал ожидания и выдержки и навсегда его отменить, одного непредвиденного случая было мало. Преднамеренного тут тоже ничего не было — и Зильбер и Софи могли придумать что-нибудь похитрее, нежели потерянный ключ от комнаты.

Они были на концерте старинной музыки, а потом еще зашли в ресторан, легко поужинали и выпили красного вина. Зильбер, как обычно, провожал ее домой пешком, идти было недалеко, и Софи тоже, как всегда, взяла его под руку. Красное вино приятно взбудоражила ее, и она с восторгом рассуждала о только что слышанной музыке.

Ключ от своей комнаты она, должно быть, выронила в гардеробе, но идти его искать было уже поздно. Веселая, в приподнятом настроении, она приняла предложение Зильбера переночевать у него в одной из свободных комнат.

И вот когда они уже вошли в его квартиру, произошел второй непредвиденный случай. Помогая ей в передней снять пальто, Зильбер споткнулся о зонтик,

выскользнувший из подставки и, падая, потянул за собой Софи, но она удержалась за висевшее на вешалке пальто, и дело кончилось тем, что Зильбер оказался перед ней на коленях,— он держал ее за руку, а она пыталась вытянуть свою руку и заодно поднять его с колен, что ей удалось. Однако Зильбер, словно бы извиняясь за свое падение, схватил ее за плечи, точно так же, как в ту ночь, когда она прокралась к нему в спальню. Во власти воспоминаний, Софи обвила руками его шею и прижалась лицом к груди.

Софи услышала, что он произносит ее имя. Оно прозвучало, как подавленный крик, не победный, а скорее боязливый и полный такой мольбы, что Софи испытала прилив торжества, и сила этого торжества потрясла ее самое.

Тогда Зильбер взял ее на руки и в темноте через все комнаты пронес к себе в спальню, где положил на кровать так бережно, что ей показалось, будто он никогда не посмеет к ней прикоснуться.

Раздеться ей пришлось самой, в комнате, освещенной лишь отблеском уличных фонарей, и пока она снимала с себя белье, он, словно слепой, ощупывал обнажавшиеся части ее тела, будто от прикосновения к ее наготы она открывалась ему совсем другой.

И вот она опять любила его, хотя представляла себе все совсем иначе, любила с той же силой желая, с какой домогалась его ребенком, любила так горячо, что ради этой любви снова стала играть в соблазнительницу, начала сама его раздевать, словно ей не терпелось поскорее «лечь всем телом» и накрыть его собой. Она обвилась вокруг него как будто без этого их соприкосновение было бы неполным как будто ей непременно надо было испытать все возможности соединения, и не Зильбер целовал ее, а она целовала его сама. Все томление ее юных лет сказалось в той решимости, с какою она побуждала его слиться с нею и не отпускать. Он победил ее, вновь превратив в ту девочку, которая любила и желала его, и она хотела отомстить ему за эту победу.

Услышав его короткое, хриплое дыхание, она вдруг почувствовала, что победила тоже,— страсть, свободная от всякого стыда, не отягченная ответственностью, овладела ею, и она впиалась в тело Зильбера ногтями, зубами, чтобы заставить его кричать, как кричала сама. А потом, сморенная усталостью, которой уступила с тем же бесстыдством, что и страсти, заснула, даже ни разу его не поцеловав.

Когда она проснулась, было уже светло,— не вполне, но достаточно, чтобы она могла рассмотреть комнату и ее убранство. Она все еще чувствовала себя усталой и хотела заснуть опять, как вдруг заметила, что Зильбера с ней рядом нет. Она предположила, что ему не спалось и он вышел. Софи приподнялась, подумывая, не пойти ли ей на кухню за стаканом воды, и в этот миг увидела его. Он лежал, скрючившись, как эмбрион, на звериной шкуре возле кровати. И хотя Софи не видела его глаз, она поняла, что он мертв.

Отношения, которые Амарилис Лугоцвет поддерживала с чередой поколений фон Вейтерслебен, отношения самого различного свойства, завязались еще в те времена, когда она только поселилась в Штирийском Зальцкаммергуте. Завязались они, собственно, потому, что Эйфем, а попросту — Фифи фон Вейтерслебен после смерти родителей осталась совсем одна, но она не считала свое положение таким уж бедственным. Она решила отныне самостоятельно распоряжаться имуществом и честью семьи, доставшимися ей по наследству, а в брак не вступать, однако это решение не помешало ей произвести на свет ребенка. Тем, что подобное событие не вызвало большого скандала, она была обязана не столько обычаям своего сословия, сколько нравам Штирийского Зальцкаммергута, где рождение детей испокон века считалось скорее делом женщины, нежели супружеской четы. То обстоятельство, что и родители ее почти никогда не являлись ко двору и весьма

редко показывались в свете, привело к тому, что семейство фон Вейтерслебен вычеркнули из календаря балов и светских увеселений, а значит, потеряли из виду, выбросили из головы, проще говоря — забыли.

Стало быть, Эйфеме и положила начало сохранившейся по сей день традиции дам фон Вейтерслебен передавать свое родовое имя по женской линии и не надевать на себя ярмо брака. Станным образом от этих неподъермных связей рождалась в каждом поколении только одна дочь и она, в свою очередь, передавала имя дальше, своей дочери. Так что честь семьи, пусть на свой манер, успешно соблюдалась и поныне.

Что касается сохранности имущества, то в этом деле дамы фон Вейтерслебен преуспели куда меньше, и объяснялось это не столько отсутствием у них должного понятия, сколько отсутствием интереса. Причиной их материального упадка было не мотовство и не страсть к игре, нередко свойственные старинным фамилиям, а неспособность умножить уже имеющееся достояние новыми приобретениями. И посему, несмотря на всю умеренность в расходах, они постепенно превращались из людей имущих в людей неимущих, последствия чего всецело ощутила на себе Софи Зильбер, как предпочитала именовать себя последняя пока что представительница рода фон Вейтерслебен.

Своенравная Эйфеме, положившая начало женской линии фон Вейтерслебен, пренебрегла, в числе прочих, и тем древним обычаем, который требует, чтобы первая вода от купанья новорожденного младенца женского пола была выплеснута под грушевое дерево. Никому это не бросилось в глаза, да и в первые три года жизни ребенка не принесло никакого урона. Однако когда Константина, то бишь Титина фон Вейтерслебен вступила в четвертый год своего существования, случилось нечто в тех краях небывалое, и местных духов-хранителей, не предупрежденных в свое время грушевой дриадой, весть о происшедшем, не сразу достигшая их слуха, застала врасплох. Титина фон Вейтерслебен была похищена племенем эльфов, изгнанным из Альбиона в Штирийский Зальцкаммергут.

Джордж Макдональд подробно описал в сказке «Карасойн» историю этого племени: родом из Шотландии, оно еще в давние времена было изгнано в Девоншир за похищение детей, а за повторные преступления того же рода изгонялось все дальше, пока в конце концов не очутилось в этих местах. Тяжесть кары заключалась в том, что каждое новое место изгнания оказывалось прекраснее прежнего, и оттого эльфы испытывали особенно острую тоску по родине. Джордж Макдональд верно отметил, каким тщеславным в злобным было это племя эльфов, и прежде всего их королева, которая никак не могла отучиться воровать детей. При этом у «тихого народца», как их звали обычно, часто не бывало никакого злого умысла, по крайней мере, так было в случае с девочкой фон Вейтерслебен (в истории с сыном Колина речь шла о мести). Красота и прелесть крошки Титины так очаровала эльфов, что они не могли устоять. К тому же перспектива нового изгнания их больше не пугала, ибо они сумели смягчить себе его горечь, постепенно приспособившись к кочевой жизни, хотя и чувствовали себя по-прежнему истыми шотландцами. Судьба смиростивилась над ними в том смысле, что в местах, куда их изгоняли, всегда находились озера и реки — то есть вода, которую они так любили, и это помогало им скорее освоиться. Да и горы, покрытые лесами, приходились им весьма по душе, хоть они и сетовали вечно на то, что леса и горы эти не шотландские.

Штирийский Зальцкаммергут расположен, правда, намного дальше от Шотландии, чем Девоншир, но он обладал тем преимуществом для «тихого, народца», что произрастающие там цветы были по большей части еще необитаемы и не всякий цветок имел своего покровителя, так что, в отличие от Девоншира, где это зависело целиком от случая, здесь каждый эльф мог сам выбрать цветок, в коем

желал бы поселиться. Хотя многие здешние цветы были им незнакомы и в каждом отдельном случае приходилось еще учиться их обихаживать, цветы разрослись пышнее, чем прежде, и очень радовались тем мелким, обычным для эльфов услугам, которые те им оказывали,— когда, например, они подталкивали в чашечку цветка каплю росы или удаляли из него насекомых. У этого племени эльфов были свои излюбленные цветы — те, что росли поблизости от воды или на влажной почве. От таких цветов было рукой подать до эльфовых купален, да и флот их, который некогда проплыл по ручью через дом Колина (Колин отвел русло ручья от хлева, где вода загрязнялась и пустил его на летнее время прямо через отцовскую хижину чтобы засыпать под его мелодичный шум. Однажды лунной ночью он увидел плывущий мимо его кровати флот эльфов.), стоял на якоре в озерце, которое вливалось в большое озеро среди зеленых лугов. Правда, озерцо это наполнялось водой и становилось похоже на настоящее озеро лишь в половодье или после таянья снегов, так что плавать по нему они не могли. Вынесенный им приговор запрещал их флоту заходить в большое озеро. Однако в ту весну выпало много дождей, и маленькому озеру пока что не грозила опасность обмелеть, вот почему эльфы всячески старались использовать оставшееся время.

Однажды, совершая свое ночное странствие, вернее — полночный облет, эльфы попали на горный луг, поросший нарциссами в полном цвету. Красота и благоухание нежных белых звездочек привели племя эльфов в такой восторг, что они тут же на месте завели веселый хоровод и почувствовали себя прямо-таки счастливыми, насколько это было возможно вдали от Шотландии. Однако под утро, когда, вволю наплясавшись, усталые эльфы хотели забраться в цветы и поспать, из этой затеи ничего не вышло. Казалось, нарциссы обладают волшебной силой отторжения, и даже перед королевой эльфов ни одна их чашечка не раскрылась. Сперва эльфы растерялись и опечалились, а потом очень рассердились и порешили в ближайшую ночь вернуться сюда и узнать, какая здесь кроется тайна.

Амариллис Лугоцвет, которая, как уже было сказано, поселилась в тех местах незадолго до описываемых событий, всевозможными окольными путями дозналась, что не то мать, не то бабушка Эйфемии фон Вейтерслебен происходила из рода фей, вернее, была дочерью феи (если бы она только знала, какой!) и некоего чужанина и в свое время безо всякого шума вышла замуж за одного из фон Вейтерслебенов. Исполненная любопытства, какие диковинные превращения могла претерпеть кровь феи в человеческом теле, теле Эйфемии фон Вейтерслебен, Амариллис Лугоцвет однажды пополудни отправилась в довольно-таки далекое путешествие — сначала вниз, в деревню, потом снова вверх, по горным склонам,— дабы без официальных предуведомлений, диктуемых благопристойностью, нанести визит Эйфемии фон Вейтерслебен.

Даже она, фея, ничего не проведала о похищении Титины и потому, неожиданно для себя, нашла Эйфемии мятущейся и ожесточенной, готовой на любую крайность, а та, увидев перед собой приветливое лицо Амариллис, без дальних слов кинулась к ней на грудь.

Амариллис Лугоцвет, зная, что надо делать в подобных случаях, незаметно омочила палец в растворе амариллии, который всегда держала при себе, и осторожно провела им по лбу Эйфемии, отчего та сразу немного успокоилась и принялась рассказывать о похищении и его возможных причинах. Рассказ этот сам по себе ничего бы не раскрыл Амариллис, однако ее тайные познания, а также давнее знакомство с некоторыми шотландскими феями вскоре навели ее на верную мысль, что кража ребенка могла быть лишь делом рук того опального племени эльфов, которое всеми правдами и неправдами пыталось проникнуть в ее нарциссы и которому она уже по одной этой причине не доверяла.

Немного успокоившись, Эйфемии впервые с того дня, когда была похищена ее

девочка, ощутила желание поесть, и тогда обе дамы приказали подать им обильный завтрак, за которым еще подкрепились несколькими рюмочками можжевелевой водки.

После второй рюмки Амариллис Лугоцвет прозрачно намекнула, кто она такая, разумеется, взяв с Эйфемии слово молчать, а Эйфемии, уже способная рассуждать спокойно и здраво, поведала Амариллис о слухах касательно родственных связей ее семьи с феей, о чем та знала и сама. Они стали вместе искать и обсуждать возможные способы освобождения Титины, что оказалось делом трудным, ибо даже Амариллис Лугоцвет слишком плохо знала обычаи и нравы изгнанного племени эльфов. Однако обе сошлись на том, что любую попытку следует предпринимать в тиши и с предельной осторожностью, ибо необдуманными действиями крошке Титине можно только повредить. Амариллис Лугоцвет попросила несколько дней на размышление; она хотела обсудить план действий с другими долговечными существами, жившими в округе, и, в случае надобности, обратиться к ним за помощью и поддержкой.

Поняв, что отныне ее дело в верных руках, Эйфемии опять обрела привычную самоуверенность, осознала свою роль гостеприимной хозяйки и решила показать Амариллис Лугоцвет дом, сад и службы. Небольшая вилла стояла на крутом склоне, чуть ниже леса, и с ее застекленной веранды открывался великолепный вид на поселок и озеро, видны были и горы, и даже глетчер отсюда представлялся взору одной из самых живописных своих сторон. Примыкавшую к вилле небольшую ферму Эйфемии сдала в аренду крестьянину, и его работница заодно кормила нескольких кур, еще бродивших по саду виллы,— их свежие яйца шли семейству фон Вейтерслебен на завтрак.

У Эйфемии были свои любимые животные — попечение о них она бы никому не уступила,— собаки, маленькие длинношерстные таксы, она их специально разводила, и благодаря красивой шерсти и незаурядной понятливости они пользовались доброй славой в ближней и дальней округе. Амариллис Лугоцвет была так растрогана видом таксы, кормившей шестерых щенят, что Эйфемии предложила ей выбрать одного из них и взять с собой. Так Амариллис Лугоцвет обрела своего первого Макса-Фердинанда.

Еще раз заверив Эйфемии в своей поддержке и сказав ей несколько слов в утешение, Амариллис Лугоцвет отправилась в обратный путь,— начинало уже смеркаться. Макса-Фердинанда она посадила в свою сумку из тесьмы и так, в сумке, взяла на руки; хотя он еще время от времени тихонько скулил, разлука с матерью, видимо, далась ему легче, чем обычно дается щенятам, что Амариллис Лугоцвет истолковала как первое изъяснение симпатии. С наслаждением впивая свежий вечерний воздух, Амариллис Лугоцвет торопливым шагом спускалась в деревню и раздумывала о племени эльфов и о возможности как-то к нему подступить. Она прикидывала также, кого бы ей попросить о помощи. На ум ей пришел Альпинокс; правда, степень его могущества была ей пока не вполне ясна, но он показался ей подходящим. Она еще раз перебрала в уме все, что до сих пор знала или слышала об эльфах,— но сути дела, не так уж много,— но чем дольше она вертела и переворачивала в голове эти сведения, тем яснее становилось для нее одно — эльфы больше любят воду, чем горы, из чего она заключила, что Альпинокс не тот помощник, который ей нужен.

Погруженная в размышления, она шагала вперед, и ноги ее сами выбрали ту дорогу, что частью шла по берегу озера, а не ту, что круто поднималась к вершине. Опомнилась она, когда была уже возле ущелья. Остановившись на минуту, она перегнулась через перила моста и стала пытливо всматриваться в поток. Вдруг она почувствовала в левой ноге легкое щекотанье и так испугалась, что чуть было не выронила сумку с Максом-Фердинандом. Сразу вслед за тем раздался серебристый

смех, казалось, он звучал из-под моста, и, нагнувшись чуть ниже, Амариллис Лугоцвет заметила русалочку из домочадцев фон Вассерталя—местного водяного. Она подавила испуг и досаду на неуместную шутку и, в буквальном смысле слова ухватилась за подвернувшийся случай, за волосы вытащила русалочку из-под перил.

—Тебе должно быть, больше делать нечего, как только пугать почтенных людей,—добродушно-ворчливо сказала она русалочке, с которой текла вода, и посадила ее перед собой на перила. Русалочка, толком еще не зная, на кого напала, скривила рот в плаксивой гримасе, но гримасу тотчас сменила улыбка, как только взошедшая луна осветила лицо Амариллис,— оно казалось вполне приветливым.

— Но ты можешь загладить свою вину,— продолжала Амариллис Лугоцвет,— я хотела бы, чтоб ты попросила господина фон Вассерталя меня принять. Когда — это, разумеется, зависит от него, но пусть он не слишком долго спит, дело не терпит отлагательства, хотя и требует размышления.

— Конечно, с удовольствием,— пискнула русалочка и хотела уже скользнуть с перил обратно в воду, но Амариллис Лугоцвет протянула руку и успела в последнюю минуту схватиться за тонкую ткань из водорослей, из которой было сделано ее платье.

— А ты разве знаешь, кто я? — спросила она.— Кого же должен принять господин фон Вассерталя?

Русалочка выпучила на нее круглые лягушачьи глаза — большим умом они не светились. Амариллис Лугоцвет тихонько вздохнула,— у нее зародилось опасение, что русалочка вообще не способна запомнить ее имя, поэтому она сказала просто:

— Я фея Нарциссов, повтори-ка!

— Я фея Нарциссов,— прошептала русалочка, опустив голову, и Амариллис Лугоцвет вздохнула во второй раз.

— Послушай,— медленно проговорила она, чеканя слова,— Не ты фея Нарциссов, а я. Ты передашь господину фон Вассерталю, чтобы он оказал такую любезность и принял у себя фею Нарциссов, поняла?

— Поняла,— ответила русалочка и на сей раз действительно юркнула в воду. Уплывая прочь с легким плеском, она еще несколько раз повторила: «фея Нарциссов».

Амариллис Лугоцвет с улыбкой покачала головой и вздохнула в третий раз, именно в эту минуту она почувствовала, что сумка вдруг намокла. Несмотря на такой грех, она с любовью прижала Макса-Фердинанда к себе и поспешила домой.

Уже наступила ночь, и Амариллис Лугоцвет скорее летела над землей, чем ступала по ней, поднимаясь на седловину между горами. Когда она подходила к своему дому, то заметила, что по нарциссовому лугу скользят какие-то странные блики света,— это ее насторожило. Добравшись до дома, она выпустила из сумки барахтавшегося Макса-Фердинанда, дала ему попить теплого молочка, а потом понюхать слабый раствор амариллия, после чего он, зевая, позволил уложить себя в корзинку и тотчас заснул. Амариллис Лугоцвет погасила свечи и бесшумно прокралась из дома на край луга поглядеть, что там творится. Она спряталась за пышным кустом бузины, на таком месте, откуда ей виден был весь луг. Ее предположение оказалось верным. Эльфы явились опять и теперь плясали на лугу под звуки чарующей, хотя и немного однотонной мелодии, обаянию которой она и сама противостояла с трудом. Да и весь облик эльфов, легко порхавших над землей, показался ей таким прелестным, что сердце ее готово было размякнуть, и она едва не забыла, в каком преступлении они повинны. Вскоро два человечка, одетые во все зеленое, подошли вплотную к бузиному кусту и, беседуя, стали прогуливаться перед ним туда-сюда, не замечая Амариллис Лугоцвет.

— Какие странные цветы,— сказал один из них, пригубив от капли росы, которую держал в листке, свернутом в виде рюмочки.— Наверно, у них есть покровитель.

— И поэтому они закрываются перед нами? — спросил второй, тот, кто без конца наматывал себе на палец волоконец стебля и сматывая обратно, должно быть, у него была такая привычка.

— Здесь нет других эльфов, кроме нас. А кому же еще могут принадлежать цветы, как не эльфам?

Услышав эти слова, Амариллис Лугоцвет презрительно опустила уголки рта и тихонько покачала головой.

— За этим кроются злые чары,— продолжал второй,— и, кажется, против них мы бессильны.

— Говоря откровенно,— заговорил опять первый, тот, что пил росу из рюмочки,— для меня они становятся непереносимы. Их одуряющий запах на другой день неизменно вызывает головную боль. Если бы королеву не обуревало во что бы то ни стало найти противочары... лично я отплыл бы с нашим флотом на большое озеро.

— Только бы нам получить на это разрешение,— с надеждой произнес второй. — Да что там разрешение, надо бы взять и попробовать. Говорят, здешний водяной — мечтатель и неженка. Он устраивает себе всякие увеселения, ничуть не думая о нас. А кто, кроме него, может нам запретить?

— Ах как прекрасно было бы плыть по залитой лунным сиянием водной шири и не бояться, что весла, того и гляди запутаются в камышах или водорослях! Да и паруса не будут висеть, словно тряпки. Надо попытаться уговорить королеву.

— Это не так уж трудно. При ее склонности ко всяким отчаянным выходкам такое приключение совершенно в ее вкусе

— Особенно, если сняться с якоря в ближайшее полнолуние. Уверен, она не сможет устоять.

Тут к ним приблизилась еще одна крохотная фигурка, и Амариллис Лугоцвет услышала, как третий эльф спросил:

— Вы к ребенку заглядывали?

— Мы как раз туда идем,— отвечали первые два.— Имеем же мы право немного отдохнуть. Ребенок в надежном месте...

— Присматривать за ребенком — ваша прямая обязанность,— несколько раздраженным тоном возразил третий.

— Да мы же идем, идем...

Затейливыми прыжками они проскакали сквозь ряды танцующих, и вскоре Амариллис Лугоцвет потеряла их из виду. Ей не терпелось шмыгнуть за ними следом,— у нее не было сомнений, что под «ребенком» подразумевался не кто иной, как Титина,— однако на глазах у такого множества эльфов она сочла подобную затею рискованной. Да и сделайся она невидимкой, ей бы это не помогло,— эльфы почуяли бы ее присутствие по колебанию воздуха, которое она, пусть невидимая, производила бы своими шагами. Так что, бросив последний взгляд на прелестную картину в лунном сиянии, с головой, полной забот, она прокралась к себе в дом, где все еще мирно спал Макс-Фердинанд.

На следующее утро, выглянув в окно, она заметила под ним влажное от росы письмо, в котором зелеными перламутровыми чернилами сообщалось, что фон Вассерталь заранее радуется ее визиту. Ежели ей благоугодно пожаловать сегодня, то он ее ждет ко второму завтраку. К двенадцати часам дня ей надлежит прийти к рыбацкой хижине возле Холодного Ключа, где ее будет ждать Лаквина — русалка, более надежная, нежели малышка из ущелья.

Утро Амариллис Лугоцвет посвятила всецело Макс-Фердинанду, который бодро отправился на разведку и бегал сперва по дому, потом по саду, чтобы познакомиться со своим новым окружением. Когда к полудню, устав, как собака, он сам залез в свою корзинку, она предусмотрительно дала ему опять понюхать

амариллис, чтобы он не проснулся раньше времени и не счел себя одиноким и покинутым.

После этого Амариллис Лугоцвет уселась перед зеркалом в резной деревянной раме и до тех пор заклинала себя принять наилучший вид, покамест к ней не пришла уверенность, что если теперь фон Вассерталь и не падет перед нею ниц от восторга, то, во всяком случае, удостоит своей благосклонности.

Погода стояла ослепительно ясная, и для этого времени года было слишком жарко, когда Амариллис Лугоцвет, перейдя через седловину, спустилась к озеру и невдалеке от ущелья вытащила свою маленькую лодку из сарая столяра, где она хранилась. Широкая соломенная шляпа, отделанная тесьмой, защищала ее лицо от полуденного солнца, а с озера, несмотря на жару, веяло прохладой, что было ей очень приятно. Она гребла прямо к противоположному берегу, пока не подплыла к рыбацкой хижине у Холодного Ключа, где привязала лодку, вышла из нее и присела на берегу холодного горного ручья, которому это место было обязано своим названием. Несколько елей и пышно разросшиеся кусты давали достаточно тени, и она могла бы сидеть и наслаждаться покоем, однако яркий полуденный свет и вид безоблачного неба так утомили ее, что голова стала клониться долу и Амариллис была вынуждена схватиться рукой за нижние бревна хижины лодочника. Вокруг царил тишина знойного полудня, такая глубокая, словно не только солнце остановилось в зените, но и каждая вещь, и каждое живое существо замерло на отведенном ему месте. Амариллис пыталась еще раз продумать, что она скажет фон Вассерталю, но, казалось, ее мысли замерли так же, как рука, на которой неподвижно сидела муха, сидела; словно заколдованная, и даже не чистила крылышки. Она услышала вдали первый удар колокола, возвещавшего полдень, но он так же остался единственным и заглох, будто подвижное время тоже остановилось в своем движении.

Амариллис Лугоцвет не могла вспомнить, каким образом она очутилась вдруг рядом с красивой и рослой наядой Лаквиной, которая шла вместе с ней по зеленой галерее, образованной сомкнувшимися над головой кустами, солнце проникая сюда, золотило листья, колеблемые легким ветерком. Чем дальше они шли, тем явственней бледнела зелень галереи, становясь все более голубой словно вела в иное расположенное с другой стороны небо. Амариллис Лугоцвет больше всего изумлялась тому, что в этой чуждой стихии могла двигаться так же свободно, как на земле, и хотя она всеми фибрами ощущала воду, дыхание ее нисколько не было затруднено. Ей казалось невероятным, что она вот так, запросто, шагает по дну озера и всю ее обволакивает и ласкает мягкая голубизна, столь же прозрачная, как воздух, по которому ей не раз случалось плыть на облаке. К тому же глубь озера всегда представлялась ей куда более прохладной, совсем холодной, но похоже, что у воды оказалась температура ее тела, и это было приятно. Понаблюдав немного за Лаквиной, которая плыла рядом с ней и продвигалась вперед короткими толчками хвостового плавника, так что создавалось впечатление, будто она ходит, Амариллис Лугоцвет, в свою очередь, попыталась оторваться от грунта и двигаться, плавно перебирая ногами. Лаквина была довольна, что ее спутница тоже предпочитает плыть: этот способ передвижения быстрее приближал их к цели, а самой Амариллис Лугоцвет он доставлял такое удовольствие, что, когда они очутились у входа во дворец фон Вассерталя, она даже огорчилась.

Ее глаза не сразу освоились с особенностями видения под водой, все вещи были и прозрачны, и вместе с тем многослойны, вот почему она увидела сразу не только внешний облик дворца, но, как ей почудилось, и все его внутренние покои, а это окончательно сбilo ее с толку.

Лаквина заметила ее растерянность и посоветовала не слишком напрягать зрение под водой. Надо полностью сосредоточиться на том, что именно хочет она

разглядеть: наружную оболочку предмета, его видимые очертания, или то, что скрыто внутри, под ними. Выбор она должна сделать сама. Когда она немного попривыкнет, ей будет легче. Если же она не последует этому совету, то, как существо, не обитающее постоянно в воде, она рискует вскорости лишиться рассудка.

Амариллис Лугоцвет старалась делать так, как советовала Лаквина, насколько это было в ее силах. Поэтому она сосредоточила свой взгляд на внешнем облике дворца фон Вассерталь и в самом деле через несколько минут различила его очертания: он как будто бы напоминал шатер, но вместе с тем своим легким ячеистым строением походил на определенный тип рыбацкой снасти, а именно — на перевернутую вершу. К тому же ей казалось, что очертания дворца — ей даже в голову не приходило называть их стенами — не стоят неподвижно, а от легкого течения колышутся туда-сюда. Несмотря на свою коническую форму, дворец выглядел очень поместительным, а перед ним тянулись вверх водоросли с тонкими гибкими стеблями и маленькими листочками.

— Теперь,— сказала Лаквина, все еще державшая за руку Амариллис Лугоцвет,— направьте, пожалуйста, свой взор в зал, где вас ожидает господин фон Вассерталь.

Амариллис Лугоцвет послушно сузила поле своего зрения и тогда увидела обширный зал, переливавшийся перламутровым блеском,— он походил на внутренность большой раковины. Там перед накрытым столом стоял фон Вассерталь и ждал свою гостью. Он улыбнулся ей и сделал руной плавный жест, приглашая войти.

— Вот мы и вошли,— объявила Лаквина, и это в самом деле было так.

Амариллис Лугоцвет изумилась, о какой легкостью они вдруг очутились внутри дворца, она не заметила, чтобы сознательно перешагнула порог или прошла сквозь стену.

— Досточтимая фея Нарциссов,— произнес фон Вассерталь, в знак приветствия целуя ей руку,— я очень рад возможности принять вас в своем естественном окружении.

В отличие от двух-трех случаев, когда ей довелось видеть его наверху, на земле, сейчас он был одет в широкий и длинный зеленый балахон из плетеных водорослей, который оставлял ему руки открытыми и доходил до пят. Одевание простое, но оно лучше сочеталось с его черными, длинными, до плеч, волосами, нежели тот костюм, что он носил па суше. Украшений па нем почти не было — один браслет и одно кольцо, и то и другое на золотисто-коричневого черепашьего панциря.

— Благодарю вас, что вы так быстро откликнулись на мою просьбу,— сказала Амариллис Лугоцвет, чувствуя себя не совсем уютно из-за непривычных зрительных упражнений.

— Надеюсь, вам придутся по вкусу кушанья в моем доме,— продолжал фон Вассерталь, подводя Амариллис Лугоцвет к накрытому столу, которым служил уплощенный сверху толстый ствол коралла, выросший, должно быть, в одном из океанов.

Фон Вассерталь познакомил ее с Пешинной, красивой рыжеволосой русалкой, которая с большим изяществом раскладывала на столе приборы.

— Она пользуется моей особой благосклонностью,— сообщил фон Вассерталь, словно этими словами оказывал русалке еще большую милость.

Пешина закрыла глаза, и Амариллис заметила, что руки у нее слегка дрожат. Русалка тоже была в длинном струящемся одеянии из плетеных водорослей, в каких здесь, по-видимому, ходили все, и тоже почти безо всяких украшений, не считая огромной неоправленной жемчужины, которая висела у нее на шее на тонком золотом шнурке.

— Садитесь, пожалуйста,— обратилась к гостье Пешина, а фон Вассерталь

повел Амариллис Лугоцвет к столу и предложил ей сесть на тростниковую корзину, которая не походила на стул и не имела ножек, но зато была как бы подвешена к потолку. Амариллис села между фон Вассерталем и Пешинной,— они воспользовались такими же висячими корзинами,— и порадовалась удобству этой незамысловатой мебели.

— Вы, надеюсь, выпьете с нами рюмочку айровой настойки вместо аперитива? — осведомился фон Вассерталь, а когда Амариллис Лугоцвет утвердительно кивнула, Пешине понадобилось только поднять руку, чтобы возле них мгновенно очутилась русалка с серебряным подносом, на котором стояли бокальчики, выточенные из лунного камня и сверху почти закрытые, за исключением маленького отверстия для питья.

— Подарок Драконита,— с улыбкой заметил фон Вассерталь,— он полагает, что этот камень как нельзя лучше подходит к убранству моего дома.

Амариллис Лугоцвет восхищенно кивнула и в то время, как она подносила к губам бокал, осмелилась так перестроить свой взгляд, чтобы высмотреть, откуда появилась русалка с подносом. И тотчас глазам ее представилась обширная дворцовая кухня, где ряды маленьких и больших русалок усердно занимались делом — помешивали что-то в котлах, окунали нарезанную кусками рыбу во всевозможные соусы и маринады, нарезали всевозможные овощи и фрукты и раскладывали их по большим красивым блюдам, руководствуясь прямо-таки художественными соображениями. Ей бросилось в глаза, что на этой кухне нет плиты, и у нее чуть было не сорвался с языка опрометчивый и глупый вопрос, однако фон Вассерталь, заметивший, как переменялось направление ее взгляда, успел сказать:

— Досточтимая фея Нарциссов, наши кушанья ведь очень легко усваиваются, на сей счет вы можете быть совершенно спокойны.

Амариллис Лугоцвет слегка покраснела: ей казалось, что с той минуты, как она вступила в чуждую стихию, ей совершенно отказали и ее волшебное искусство, и ее обычно столь зоркий взгляд. Теперь оставалось надеяться лишь на доброе расположение к ней фон Вассерталя, в противном случае здесь, на дне, она не сумела бы себя защитить.

— Кстати, о подарках,— нашла она вдруг,— быть может, к вашему убранству подойдет и эта маленькая вещица.

Она достала из сумки затейливый резной ларчик слоновой кости и протянула его фон Вассерталю. Тот с удивленным видом его открыл, но удивление еще возросло, когда внутри он нашел лишь небрежно скомканные бумажки. Однако, когда он, вежливости ради, вынул один бумажный комочек, тот вдруг зацвел у него в руках прекраснейшими цветами, в воде они быстро распустились, обретая истинно нарциссовое великолепие, и стали легонько покачиваться из стороны в сторону. При этом зрелище Пешина испустила возглас восторга, а удивление на лице фон Вассерталя сменилось восхищением.

После того как ее подарок произвел такое сильное впечатление, Амариллис Лугоцвет почувствовала гораздо больше уверенности в успехе своей миссии и со спокойной душой посвятила все свое внимание искусно приготовленной трапезе, которая подавалась малюсенькими порциями, но состояла из бесчисленных перемен. Большие блюда, те самые, что ее взгляд обнаружил на кухне, казалось, нужны были только для того, чтобы попотчевать присутствующих тем или иным лакомым кусочком — диковинной овощью или же листиком какого-нибудь особенного салата, и чаще всего уносились обратно на кухню почти такими же полными, какими оттуда явились. Второй взгляд, который Амариллис Лугоцвет исподтишка бросила на кухню, убедил ее в том, что эти блюда пользуются там большим спросом. Ибо едва лишь они возвращались на кухню, как ими завладевала толпа русалочьих детишек, но каждый из них, хоть и спешил урвать кусочек, все же тщательно выбирал его,

стараясь не нарушить выложенный узор. То была целая эстетика еды, несказанно удивившая Амариллис Лугоцвет.

Пожалуй, на столе перебивало всего понемножку, и хотя Амариллис Лугоцвет уже потеряла счет отведенным ею кушаньям, она не чувствовала себя ни объевшейся, ни даже очень сытой. Ракушки были размещены так, что изображали восходящее солнце, крохотные рачки украшены знаками Зодиака, кускам рыбы приданы очертания именно той рыбы, из которой они вырезаны, и даже ломтики овощей и фруктов своей формой всякий раз что-нибудь напоминали. Трапеза, тешившая одновременно желудок, ум и взор. Амариллис Лугоцвет многое отдала бы за то, чтобы узнать, каким путем раздобыл фон Вассерталь все эти яства,— по ее разумению, многие из них были доставлены сюда издалека, из морей и океанов. Фон Вассерталь вежливо и ловко уклонился от ответа на ее осторожный вопрос,— это, мол, секрет его дома, который он желал бы сохранить для себя, ибо ей он все равно без надобности.

Когда они покончили наконец с едой и русалки убрали все тарелки и блюда, на столе, вместо кофе, появился сладкий ароматный напиток, напоминавший густое десертное вино, но вином его все же назвать было нельзя. Амариллис Лугоцвет сочла, что пришло время объяснить причину и цель своего визита.

— А вы уверены, что эти слова эльфов — мечтатель и неженка — относились именно ко мне? — спросил фон Вассерталь, выслушав ее рассказ. Амариллис поведала ему все, начиная с Эйфемии фон Вейтерслебен и похищения ее дочери Титины, вплоть до своего ночного подглядывания за эльфами на нарциссовом лугу, не умолчала она и о крови феи, текущей в жилах дам фон Вейтерслебен.

Так мне, во всяком случае, показалось,—ответила она фон Вассерталю, и у нее закралось подозрение, что эти слова эльфов обидели его сильнее, чем их намерение нарушить запрет и пуститься в плавание по его озеру.

— Ладно,— продолжал фон Вассерталь, даже не повысив голос, дабы не выдать своей обиды,— мы им испортим эту увеселительную прогулку, насолим им и без морской воды. В ближайшее полнолуние, говорите? Так ведь оно наступит через несколько дней.

Амариллис Лугоцвет кивнула.

— А как насчет освобождения Титины?

— Если они не вернут ее добровольно, я захвачу их маленькую королеву и буду держать ее здесь, на дне, до тех пор, пока остальные не отдадут нам ребенка.

— Хоть бы знать, насколько велики их тайные силы,— выразила своя сомнения Амариллис Лугоцвет, и даже на лице Пешины появилось выражение озабоченности.

— Это меня не беспокоит, в воде им никакие силы не помогут. Я прикажу расставить сети.— Лицо фон Вассерталя приняло сосредоточенное выражение, ясно было, что он до тонкостей обдумывает план действий.— Они стоят на якоре в Остерзее,— задумчиво продолжал он,— воды там маловато, им придется шестью прогонять суда через узкий соединительный канал. Надо будет за ними последить, мы должны быть в курсе дела. Потом мы дадим им без помех достичь большой воды, чтобы не вызвать у них никаких подозрений. Чем дальше они зайдут в озеро, тем легче нам будет с ними сладить. А вас, досточтимая фея Нарциссов, я просил бы ждать в лодке возле хижины перевозчика и по знаку, который подаст вам Лаквина, тоже грести на середину озера, дабы вы могли сразу же забрать ребенка. Девочке нельзя долго оставаться в воде, не то еще, чего доброго, какая-нибудь русалка не выдержит искушения.

Фон Вассерталь усмехнулся, а Пешина опустила голову.

— Я буду наготове,— оказала Амариллис Лугоцвет и примирительно улыбнулась. Похоже было, что фон Вассерталь не склонен продолжать разговор на эту тему. Он еще раз наполнил ее бокал, и, осушив его, Амариллис Лугоцвет

почувствовала себя такой усталой, что глаза у нее стали слипаться и она с трудом их открывала.

Когда она пришла в себя, было уже далеко за полдень солнце пригревало мягко и ласково, хотя тени кустов и деревьев заметно удлиннились. Она лежала на дне своей лодки и слышала, как легкие волны плещутся в ее деревянные борта. И, прислушиваясь к этой мелодии, она чувствовала, что к ней вновь возвращаются все ее тайные силы. Ее платье на ощупь было сухим и плотным, и она радовалась, что очутилась опять в родной стихии. Чем дольше думала она о своем пребывании в озере, тем больше поражалась всему увиденному, а фон Вассерталь казался ей самым красивым мужчиной, какого она когда-либо встречала. Вспоминая о нем, она всякий раз ощущала легкий укол в сердце,— этому чувству суждено было не покидать ее и впредь, однако она умела так глубоко схоронить его, что о нем никто никогда не проведал, меньше всего сам фон Вассерталь. И когда бы ей ни довелось встретить его впоследствии, она держалась с ним столь непринужденно, что даже Розалия Прозрачная, обладавшая особенно тонким чутьем на скрытые волнения сердца, не возымела и тени подозрения.

Отвязав лодку, она сперва пустила ее по воле волн, потом, отплыв уже довольно далеко, села на весла, но прежде чем взяться за них, пыталась разглядеть дно озера. Она надеялась увидеть еще раз дворец фон Вассерталя, но вокруг была лишь непрозрачная черная вода. Вот тут она пожалела об утрате того удивительного свойства зрения, которым была наделена во владениях фон Вассерталя.

Два дня спустя настало полнолуние. Согласно уговору, Амариллис Лугоцвет с наступлением ночи подогнала свою лодку к домику перевозчика и стала поджидать Лаквину. Она очень сожалела о том, что в иной стихии ее вещей взгляд ей отказывал. Как бы ей хотелось внимательно понаблюдать за теми приготовлениями, которые делал сейчас фон Вассерталь, чтобы застать эльфов врасплох. А так она лишь заметила легкое мерцание — это их флот прошел по каналу в большое озеро и плыл на середину, как ей казалось, нестерпимо медленно.

Ей скоро надоело вглядываться во мглу, она бросила это занятие, сидела просто так, овеваемая ласковым ночным воздухом, которому близость воды придавала приятную свежесть, и старалась не думать о фон Вассертале, а только о деле.

Ее грезы наяву готовы были уже превратиться в сновидения, когда, внезапно вздрогнув, она заметила пролетевший над нею сонм эльфов,— они держали путь к Нарциссовому лугу. Вскоре лодку качало: в борта ее одна за другой ударили тяжелые волны — их поднял флот, бороздивший большое озеро, и они докатились до берега. Амариллис не знала, что и думать, она терялась в догадках, пока из воды не высунулась вдруг чья-то голова и чья-то влажная рука не легла на ее руку, которой она, испугавшись качки, схватилась за край лодки. Но это была не Лаквина, та уже вынырнула из воды целиком, а сам фон Вассерталь.

— Где ребенок? — требовательно спросила Амариллис Лугоцвет, вовремя успев унять заколотившееся сердце.

— Королева в наших руках,— ответил фон Вассерталь, еще немного запыхавшись,— но ребенка при них не было.

— Что за ерунда,— сказала Амариллис Лугоцвет,— ведь я только что видела эльфов. Они, наверно, полетели к Нарциссовому лугу.

— Пойдемте.— Фон Вассерталь уже стоял на берегу.— Надо немедленно вступить с ними в переговоры. Вы разрешите мне остаться в таком виде? — И он указал на свое зеленое одеяние.

Амариллис Лугоцвет вышла из лодки, фон Вассерталь галантно предложил ей руку, и она снова ее коснулась.

— Ну конечно,— ответила она,— это одеяние вам очень к лицу.

Они оба стояли теперь на берегу. Амариллис Лугоцвет пустила в ход свои волшебные чары и приказала, чтобы перед ней тотчас же явилась маленькая прочная коляска на хороших рессорах, запряженная резвым, не знающим усталости сивым коньком.

— Уж не обессудьте,— сказала она как бы между прочим,— вообще-то ради своих ночных прогулок я себе такую роскошь не позволяю, но думаю, это будет в интересах дела, если мы как можно скорее доберемся до Нарциссового луга.

Фон Вассерталь улыбнулся — обрадовано и даже восхищенно.

— Я вам очень благодарен,— сказал он, садясь вместе с ней в коляску,— на суше я буду благодарен вам за любую помощь.

Не успели они и глазом моргнуть, как Амариллис Лугоцвет остановила конька. Они немного не доехали до Нарциссового луга, но важно было, чтобы эльфы не заметили их прибытия.

— Пойдемте,— обратилась она к фон Вассерталю, с чьего одеяния все еще текла вода,— я знаю тут один куст бузины, из-за которого мы можем какое-то время наблюдать за ними и слушать, оставаясь незамеченными.

Вскоре после того, как они заняли место в укрытии, эльфы, пребывавшие в полном смятении, тоже уселись в кружок и принялись совещаться. Говорили они бестолково, перебивая друг друга,— похоже было, что держать речь перед собранием для них непривычно, это умела только их королева. «Они захватили королеву,— раздавалось со всех сторон,— что же нам теперь делать?»

— А у нас ребенок,— сказал один из них, видимо, соображавший быстрее других.— Им нужен ребенок, а вовсе не королева.

— А наш флот, наш прекрасный, гордый флот? — заговорили опять все разом.

— Мы вернем себе и королеву, и флот, если поведем дело с умом. До тех пор, пока мы прячем ребенка в надежном месте, они будут готовы на все.

— А это еще как сказать,— громко произнес фон Вассерталь, появляясь вместе с Амариллис Лугоцвет перед испуганными эльфами.— Нам нужен ребенок,— продолжал фон Вассерталь,— вам — ваша королева. Пока все верно. Но вы заинтересованы еще и в том, чтобы получить обратно свой флот, а я — в том, чтобы вы соблюдали запрет и не плавали по большому озеру. Так где же равновесие наших интересов? Как видите, речь идет не о простом обмене, от которого вы можете еще что-то выгадать, если поведете дело с умом. Но я хочу сделать вам великодушное предложение. Вы вернете ребенка в обмен на королеву...

— А наш флот? — спросил эльф, взявший на себя роль предводителя.

— Об этом я еще подумаю,— ответил фон Вассерталь.— Поскольку в моей власти во всякий час и без всякого труда помешать вам плавать по большому озеру, то мне неясно, ради чего я должен отдать вам ваш флот.

Эльфы ненадолго умолкли, потом опять в панике затараторили, перебивая друг друга, пока предводитель не заставил их утихнуть.

— Прибавьте к этому,— вмешалась в разговор Амариллис Лугоцвет,— что я своей властью могу не только закрыть от вас чашечки нарциссов, но и вообще запретить вам пребывание на этом лугу.

— Так, значит, это вы,— вскипел предводитель эльфов — это вы отказываете нам, изгнанникам, в такой маленькой радости...— Он не договорил. Должно быть, понял, что взял неподобающий тон.

Амариллис Лугоцвет отвечала ему спокойно, без тени растроганности:

— Как бы вы это ни называли — недоброжелательством, враждебностью, жадностью, но, выбирая для танцев луг, принадлежащий иному существу, вы могли бы сначала спросить разрешения.

— Откуда нам было знать, что именно этот луг и цветы на нем принадлежат

могущественной фее? — Теперь-то предводитель эльфов признал в Амариллис Лугоцвет фею и заговорил тоном ниже, как будто ему стало стыдно.

— Вы бы узнали это без труда, если бы вам пришло в голову спросить...

Эльфы опять стали переговариваться, на этот раз шепотом. И предводитель их, казалось, тоже не мог уже придумать ничего путного. Тогда Амариллис Лугоцвет предложила, чтобы эльфы посовещались. Через час она и фон Вассерталя вернутся сюда, и тогда эльфы должны будут им сказать, как они намерены поступить. Предводитель эльфов бросил на нее взгляд, исполненный чуть ли не благодарности, а фон Вассерталя предложил ей руку, которая на ощупь была уже совсем сухой.

Когда они немного отошли от Нарциссового луга, Амариллис Лугоцвет пригласила фон Вассерталя провести этот час у нее, на что он охотно согласился. Уже подходя к дому, они услышали, как скулит Макс-Фердинанд, а когда Амариллис Лугоцвет открыла дверь, он стал прыгать, стараясь допрыгнуть до ее лица, и напустил лужицу в сенях, а на фон Вассерталя, желавшего его погладить, визгливо заворчал. Амариллис взяла его на руки, погладила и успокоила настолько, что он опять улегся в свою корзинку, не обращая больше никакого внимания на фон Вассерталя, а тот меж тем, повинаясь указанию Амариллис, сел в кожанов кресло. В это мгновение она пожалела, что не владеет одним из тех заоблачных замков, в которых так любят жить феи. Она уже много лет воздерживалась от всякой роскоши и своим скромным домом была вполне довольна. Нет, засомневалась она, навряд ли ей удалось бы волшебным замком произвести впечатление на фон Вассерталя. Хорошо бы выяснить, так это или не так, только за один час не успеть.

— Не хотите ли выпить со мной чашечку кофе? — спросила она, уже направляясь в кухню.— Как вы могли заметить, я живу очень скромно.

— Помилуйте.— Фон Вассерталя почтительно поклонился ей, не вставая с места.— У вас очаровательный дом, на суше я не желал бы себе лучшего. А что до вашего кофе, то я уже слышал, как ему возносят всяческие хвалы. Очень сожалею, что этот напиток совершенно неупотребителен в моем доме.

Покамест Амариллис Лугоцвет кипятила воду в медной джезве, которую ей оставила проездом одна турецкая фея, она украдкой поглядывала в щелку двери на фон Вассерталя,— он откинулся на спинку кресла и, казалось, уже совсем просох, что, пожалуй, пошло во вред его одеянию. Оно утратило свой камышово-зеленый цвет, местами посерело и потрескалось, однако сам фон Вассерталя казался ей сейчас красивее, чем когда-либо, и ей пришлось обуздать свое сердце, чтобы оно так бешено не колотилось. Когда она налила своему гостю кофе и уселась напротив, он поднялся и поцеловал ей руку, но Амариллис Лугоцвет почувствовала, что сделал он это скорее из присущей ему галантности, чем из непритворного желания коснуться губами ее руки.

— Вы очаровательны, досточтимая фея Нарциссов,— прибавил он и взглянул на нее своими большими глазами, но и этот проникновенный взгляд не отвечал ее тайным желаниям, а мысль обо всех русалках в его домашнем штате, которых он попеременно брал в наложницы, подавила в ней желание завести с ним хотя бы самый пустячный флирт.

После кофе они распили еще бутылку смородиновой настойки, и фон Вассерталя рассказал ей несколько забавных историй о живущих в здешних краях долговечных существах. Упомянул он и Альпинокса, который буквально бредит ею и даже не пытается это скрыть. И Амариллис Лугоцвет, придя в хорошее расположение духа, слегка покраснела и сказала: «Ах, да что вы говорите..» Но, в свою очередь, не могла удержаться от намека на его фон Вассерталя, гарем, он же в ответ снисходительно улыбнулся и заметил, что в иной стихии - иные законы, а это можно было толковать по-разному.

Час пролетел слишком быстро, и хотя Амариллис Лугоцвет отрекалась от

каких-либо желаний, связанных с фон Вассерталем, все же его близость приводила ее в такое радостное возбуждение, что ей было жаль прерывать это приятное уединение. Поэтому она с чувством легкой грусти взяла его под руку и вышла из дома, когда пришло время возвращаться на Нарциссовый луг.

Предводитель эльфов сразу двинулся им навстречу, похоже было, что и все эльфы немного образумились.

— Мы отдадим ребенка,— без всякого вступления начал предводитель,— если взамен получим обратно королеву и флот.

Фон Вассертадь хотел было поставить его на место и объяснить, что не в таком они положении, когда можно чего-то требовать, однако после столь приятно проведенного часа он был настроен благодушно и хотел как можно скорее покончить со всей этой историей.

— Передача может состояться сейчас же,— заявил он.— Доставьте ребенка к домику перевозчика, а мы подъедем туда же с королевой.

— А флот? — упрямо спросил предводитель. Фон Вассертадь вздохнул.

— Вы получите свой флот, хотя вам и не подобает его держать.

Предводитель эльфов поклонился с торжествующей улыбкой и тотчас взмыл в воздух вместе с остальными эльфами.

Между тем Амариллис Лугоцвет снова наколдовала коляску, запряженную сивым коньком, и когда легкий экипаж доставил их к перевозу, она села в свою лодку, а фон Вассертадь пустился вплавь за королевой и флотом эльфов.

Прошло совсем немного времени, и Амариллис увидела, как он возвращается: зацепив бечеву мизинцем, он тянул за собой вереницу кораблей. На самом красивом и пышно разубранном корабле сидела королева,— первые лучи, рассвета позволили Амариллис Лугоцвет хорошо ее разглядеть,— и хныкала, как обиженный ребенок. Тончайшими побегами водорослей она была привязана к своему флагманскому трону, чтобы раньше времени не сбежала. Фон Вассертадь пытался ее успокоить, заверяя, что ее люди сейчас будут здесь. И в самом деле из-за седловины горы показались альфы: они слетали с высоты в панической спешке, ибо ничего так не боялись, как утреннего света. Довольно-таки грубо швырнули они крошку Титину на колени к Амариллис Лугоцвет, но девочка так крепко спала, что даже от этой встряски не проснулась. Без лишних слов опустились эльфы на свои корабли, поставили паруса и сели на весла. Их временный предводитель освободил королеву от ее пут, и с каждым развязанным узлом причитания, которые она завела при виде своего племени, становились все громче. Фон Вассертадь, до сих пор лишь улыбавшийся, громко расхохотался, увидев, с какой лихорадочной поспешностью орудуют эльфы, подгоняемые все более пронзительными воплями своей королевы, и на прощанье с такою силой дунул им в паруса, что весь флот стрелой унесся прочь.

Фон Вассертадь еще раз положил свою руку на руку Амариллис Лугоцвет.

— Надеюсь, вы мной довольны?

Амариллис Лугоцвет молча кивнула — она боялась разбудить Титину.

— Я доведу вас до ущелья,— прошептал фон Вассертадь, уже отвязавший лодку, и поплыл, таща ее за собой. Капли воды на его волосах искрились в лучах восходящего солнца.

Амариллис Лугоцвет качала на коленях Титину и размышляла о свойствах иной стихии. Она чувствовала себя очень обязанной фон Вассерталю и радовалась, что ее чувства к нему найдут себе выход в благодарности. Когда они подплыли к ущелью, он осторожно вытащил лодку на берег.

— Мы ведь еще увидимся? — спросил он, помахав ей, перед тем как окончательно исчезнуть под водой.

— Конечно,— пробормотала она себе под нос.— В здешних местах это неизбежно.— И она пустилась в путь к Эйфемии фон Вейтерслебен, мысленно

предвкушая радость, которую доставит той возвращение дочери.

*

Софи вынырнула из такой глубины, что не сразу пришла в себя. Она, должно быть, уже несколько минут глядела а упор на Альпинокса, или как там еще звали этого господина, не видя его.

— Простите, пожалуйста,— прошептала она, сиюсь придать своему лицу выражение непринужденной любезности, руки ее тем временем машинально расправляли салфетку.

— О нет,— возразил Альпинокс,— это вы должны меня простить. Я наверняка помешал вашим размышлениям, быть может, воспоминаниям...

Софи не нашла в себе силы спорить. Она только улыбнулась, и так как пожилой господин все еще стоял перед ней, предложила ему сесть с ней рядом.

— Я хотел бы представиться — Альпинокс...— Он склонился над ее рукой и сел.

— Очень рада,— сказала Софи.— А меня вы знаете?— в некотором смысле.— Господин Альпинокс сел наискосок от нее и положил ногу на ногу.— Помнится, я видел вас, когда вы еще жили здесь. А если прибавить многочисленные рассказы нашей славной Амариллис...

— Так вы знаете госпожу Лугоцвет? — Софи заинтересовалась.

— Целую вечность,— засмеялся он. И любезно пояснил: — В нашем возрасте мы уже вправе так говорить.

— Странно,— заметила Софи.— Вот и мне кажется, будто я давно вас знаю. Только вспоминаю с трудом.

— Люди быстро все забывают. Вы позволите? — И когда Софи кивнула, Альпинокс закурил сигару. Софи тоже достала свои египетские сигареты, а он дал ей огня.

— Но в этой забывчивости есть и хорошая сторона,— сказал Альпинокс.— Ужасно ведь, когда ты вынужден вечно все помнить. Бывают времена, когда воспоминания повинуются чуть слышному зову, порой же ты зовешь их во весь голос, а они ни за что не идут.

— Мне кажется, в моей жизни наступает такое время, когда вызывать воспоминания не приходится ни тихо, ни громко, они набегают сами — явились, и все тут.

— И в этом тоже есть своя хорошая сторона,— заявил Альпинокс— Ведь когда ничего не можешь вспомнить, это еще ужасней.

Софи огляделась вокруг. Она была так догружена в картины былого, что не заметила ни появления дам, которые уже принялись за еду, ни того обстоятельства, что в сама она почти управилась с едой. Она покачала головой, сама себе удивляясь, Альпинокс же, который, похоже, понимал, что с ней творится, заметил, что временами воспоминания так же необходимы человеку, как порция жаркого бокал вина.

— Кстати,— Альпинокс оглянулся, словно что-то искал,— смею ли я предложить вам рюмочку спиртного? После такой еды это самое лучшее.

Софи кивнула, все еще не вполне очнувшись от своих грез, и Альпинокс заказал две рюмки малиновой наливки,— по его словам, то был фирменный напиток этого ресторана.

— Мы взяли на себя смелость пригласить вас сюда, дорогая Софи Зильбер,— думаю, я вправе вас так называть, я ведь знал еще господина Зильбера...— Он поднял в ее честь свою рюмку,— от холодной наливки стекло запотело,— и отпил глоток, а Софи, словно замороженная, повторила его движение и тоже поднесла рюмку к губам.—Мы сделали это, ибо... Ну, не буду тянуть — ибо после того, что рассказала нам славная Амариллис, пришли к убеждению: вы для нас — просто

находка.

Софи, которая в своей кочевой жизни с чем только не сталкивалась, не верила своим ушам. Оказывается, есть на свете люди, знающие ее по чужим рассказам, по рассказам женщины, которую она сама едва помнит, и вот они решили пригласить ее сюда, в этот отнюдь не дешевый отель, лишь потому, что она для них — находка. Ладно, она уж как-нибудь дознается, в чем тут дело. Она сделала вид, будто очень польщена, склонила голову и улыбнулась привычной ослепительной улыбкой на публику.

— И чем же я могу доказать, что достойна столь любезного приглашения? — спросила Софи.— Ведь одно мое присутствие вряд ли будет находкой.

— Будет,— возразил Альпинокс— Вы что, все ещё сомневаетесь?

Софи опустила глаза, и на секунду у нее возникло ощущение, что напротив нее сидит Зильбер — только за ним одним она знала такую бескорыстную щедрость.

— Я хочу сказать,— продолжал Альпинокс,— что мы конечно, будем рады познакомиться с вами поближе и насладиться вашим обществом. Вы, разумеется, могли бы немало нам рассказать. Вы беспрестанно разъезжали и знакомились со множеством людей. Присутствующие здесь дамы,— он повел рукой, указывая на столики, занятые дамами,—и мои друзья...—Софи еще раньше заметила отсутствие вчерашних мужчин,—да и я сам прямо-таки жажду послушать какие-нибудь истории из жизни людей. Все мы немного отстали от времени, не говоря уж о моде, и нам хотелось бы узнать от человека молодого, ваших лет, как ныне обстоят дела в мире.

«В мире — подумала Софи,— если бы он знал, к какому провинциальному захолустью свелся для меня мир».

— Боюсь, я вас разочарую,— произнесла она вслух.— Я и не так молода, и не так богата опытом, чтобы развлекать своей персоной большое общество.

— Поймите меня правильно,— ответил Альпинокс— У вас не должно быть ощущения, будто вы обязаны что-либо перед нами изображать. В каждом человеке отражается то, что он пережил, а нередко и то, о чем он думает. Нам было бы приятно, чтобы вы просто побыли среди нас, а ваши мысли и вашу жизнь мы уж как-нибудь прочитаем сами,— Альпинокс лукаво рассмеялся,— и не станем утруждать вас, требуя, чтобы вы нам что-то рассказывали.

У Софи слегка кружилась голова, и она объясняла это не только рюмочкой малиновой. Все, что с величайшей любезностью возвещал этот господин Альпинокс, казалось ей сейчас, среди бела дня, полнейшей дичью. Они прочитают ее мысли! Ее пронизала дрожь, когда она подумала, что может выплыть наружу.

— Пусть это вас не путает, дорогая Софи Зильбер,— начал опять Альпинокс и успокаивающе погладил ее по руке.— То, что нас интересует, разумеется, не коснется вашей интимной жизни. Нам только хотелось бы немножко лучше узнать современных людей.

Софи ничего не понимала. Кто же они такие — этот господин Альпинокс, его друзья и многочисленные дамы, делающие вид, будто ничего не знают о современном мире?

— Мы все живем вдали от света и давно уже ощущаем некоторую неполноценность оттого, что так мало интересуемся современными делами. Потому-то мы и собрались здесь. Во-первых, чтобы поделиться друг с другом собственным опытом, во-вторых, чтобы услышать ваши суждения. Но лучше оставим этот разговор, он явно задает вам загадки.

Я хотел бы сейчас познакомить вас с дамами. Как большинство старых людей, —Альпинокс таинственно улыбнулся,— мы плохо спим ночью. Так что настоящая жизнь начинается у нас ближе к ночи. Если вам будет угодно, я просил бы вас сегодня поужинать за одним из наших столиков и выпить с нами вина.

Альпинокс поднялся и повел Софи к столикам, за которыми, беседуя, сидели

дамы. Будто нежные мелодии зазвучали у нее в ушах, они внезапно смолкали, когда Софи и Альпинокс проходили мимо того или иного столика, но сразу же возобновлялись у них за спиной. Каждый раз ей казалось, что она улавливает в разговоре дам отдельные слова, но ни одна связная фраза не долетала до ее слуха. Она пожимала десятки рук, называла свое имя, улыбалась, давала краткие любезные ответы на краткие любезные вопросы, и когда обошла весь круг, голова у нее кружилась. Она запомнила множество лиц, но почти не запомнила ни одного имени. Ну и весело будет вечером, когда она окажется в обществе всех этих незнакомых и немного странных людей, которые явно ждут от нее какого-то представления. «Мне, наверно, даже не придется ничего им рассказывать,— подумала она,— едва лишь я вспомню какой-нибудь анекдот, как они тут же начнут смеяться».

Альпинокс подал ей руку.

— Только не падайте духом,— сказал он.— Дамы находят вас очаровательной и рады вашему обществу. Мои друзья, разумеется, тоже. Они горят желанием, чтобы сегодня вечером я вам их представил. Надеюсь, в нашем кругу вы чувствует себя хорошо, по крайней мере, хоть не скучаете.

— Конечно, нет,— ответила Софи на этот поток любезностей.— Боюсь только, я совсем не так интересна, как вы, по-видимому, предполагаете.

— Милое дитя,— Альпинокс уже уводил ее прочь от дам, одетых, как и накануне, в штирийские платья,— откуда вы знаете, что нам может быть интересно.

Софи подумала о серьезных любовных связях и о мелких интрижках, скрасивших ее жизнь со времени смерти Зильбера. Не то чтобы она их стыдилась, но о большинстве предпочла бы умолчать. А что еще могло интересовать этих дам? Театральная жизнь? Непохоже, чтобы эти люди интересовались творческими радостями и горестями актрисы странствующей труппы.

— Вы нас обижаете, дорогая Софи Зильбер, отказывая нам в интересе к театральному искусству,— говорил Альпинокс, провожая Софи до лестницы.— Мы даже очень интересуемся этим искусством и надеемся, что в один из ближайших вечеров нам удастся уговорить вас продемонстрировать нам ваше вокальное мастерство. Быть может вы пожелаете исполнить какую-нибудь вещьцу из вашего репертуара. Как я слышал, вы блестящая исполнительница куплетов.

У Софи перехватило дыхание. Пристальность, с какой этот господин Альпинокс следил за ее мыслями, ее просто ошеломила. А теперь он еще задел самое болезненное место ее артистического тщеславия — исполнение куплетов. Сама Софи была убеждена, что она блестящая исполнительница куплетов, но за все эти годы ей редко выпадала возможность доказать это на деле.

— Вы преувеличиваете,— сказала она с улыбкой.— Я бы вас только разочаровала.

— Ни в коем случае.— Альпинокс поцеловал ей руку и поглядел ей вслед: поднимаясь по лестнице, она чувствовала на себе его взгляд, хотя и не оборачивалась. Она приляжет, спать не будет, а только приляжет, и обдумает весь этот разговор.

«Эти люди, кажется, умеют читать чужие мысли»,— размышляла Софи, пока раздевалась и влезала в шелковое кимоно, которое подучила в подарок от одного японского путешественника, страстно любившего ее в течение недели. Она уж постарается быть начеку и не давать воли своим мыслям. Поменьше пить того вина, которое ей так хвалили, и поменьше говорить самой, а предоставить это другим. Перед отъездом она взяла из квартиры Зильбера, давно уже ставшей ее собственностью, несколько книг и теперь решила одну на них почитать в кровати, чтобы немного отвлечься. Когда Софи ее открыла,— а это были рассказы «Серапионовых братьев»(Книга рассказов Э.-Т.-А. Гофмана.),— оттуда выпала

открытка, некогда написанная Зильберу ее матерью. Цветная открытка с видом той местности, где они жили тогда и где она находилась теперь. Чуть пожелтевшая фотография озера и глетчера за ним, на переднем плане — скамья и рядом дерево без листьев с причудливо растопыренными в небе сучьями.

Мгновенье Софи колебалась, читать ли ей текст на обороте. Сегодня она уже воздала достаточную дань прошлому. Но все же не удержалась.

«Дорогой Зильбер! — было написано на открытке прямым и размашистым почерком ее матери.— Вы не поверите, но я в самом деле очень часто думаю о Вас. Если можете выкроить свободное время, приезжайте. Цветочная пыльца окрестных лесов покрывала поверхность озера, и все перелетные птицы уже возвратились, кроме Вас. Девочка каждый день спрашивает, когда же Вы наконец приедете. В ожидании Вашего скорого приезда шлю Вам привет с самыми нежными чувствами.

Ваша Амелия фон Вейтерслебен».

Сколько Софи себя помнила, ее мать и Зильбер всегда говорили друг другу «вы». И она тоже никогда не обращалась к Зильберу иначе, хотя позднее он предложил ей перейти с ним на «ты», ведь он привык говорить ей «ты» со времен ее детства. Даже в ту ночь, ночь его смерти, когда они лежали в тесном объятье и Софи в исступлении страсти бормотала нелепейшие слова, они все равно оставались на «вы».

Она долго не могла оправиться от шока, и если вначале не испытывала страданий, ибо в смятении чувств не вполне осознавала случившееся, то потом извела их с лихвой во время допросов в полиции и назойливых расспросов газетных репортеров, для которых «сладостная смерть Саула Зильбера в объятиях восемнадцатилетней Софи фон Вейтерслебен» оказалась лакомым блюдом.

Софи бросила тогда занятия в актерском училище. Это было не только ее собственное решение,— ей намекнули, что так будет лучше. И вот она, никому не известная Софи Зильбер, отправилась с небольшим разъездным театром, скорее походившим на труппу бродячих комедиантов, в провинцию, где нашумевшее дело «Зильбер — фон Вейтерслебен», конечно же, не связывали с конкретными живыми существами, даже если читали о нем в газетах и успели всласть почесать языки.

У Зильбера ко времени его кончины уже не было родных. Те, что не умерли своей смертью еще до войны, погибли в концлагерях или спасаясь от них бегством. Не осталось в живых никого, кто мог бы оспорить завещание. Квартира переходила в собственность Софи с оговоркой, что старая домоправительница будет до конца своих дней жить в той комнате с отдельным входом, которую она занимала уже давно и в которой действительно продолжала жить до тех пор, пока не умерла от кровоизлияния. Все деньги и ценности, оказавшиеся в наличии,— до ужаса мало в сравнении с тем, чем, по-видимому, когда-то владел Зильбер,— были также поделены между Софи и домоправительницей. Этого как раз хватило, чтобы прилично похоронить Зильбера, а потом и домоправительницу.

Кончина матери,— в те дни рядом с нею еще был Зильбер,— дала Софи достаточный практический опыт: она знала, что надо делать, когда умирает человек. Она совершила все необходимые формальности и, как единственная родственница умершего, разослала кому надо траурные извещения, получила также ряд соболезнований, в том числе из-за границы, и в первую очередь из Англии, где Зильбер провел годы эмиграция.

Как давно все это было, больше двадцати лет тому назад, я тем не менее сейчас она ощущала события тех дней так живо, так близко, что на минуту у нее возникло чувство, будто все пережитое ею позднее совсем не имеет значения. Она пыталась представить себе, что было бы, будь Зильбер жив и поныне. Сейчас ему было бы под восемьдесят, возможно, он по сию пору сохранил бы ясный ум, только

стал бы немного туг на ухо. Но она вскоре отогнала от себя все эти мысли о Зильбере—старце. «Да покоятся мертвые с миром»,— произнесла она вполголоса и положила книгу на тумбочку, так и не прочитав ни строчки. Она устала и с удовольствием бы немного вздремнула, чтобы дать отдых мыслям. Но только она нашла наконец удобную позу, стараясь не испортить прическу, как в дверь постучали.

Да неужели это тот самый господин Альпинокс? Она не расположена сейчас вести беседу с кем-либо из тех, кого так или иначе увидит сегодня вечером. Потом ей стало ясно, что этот человек, конечно, не осмелился бы нарушить ее послеобеденный отдых. А может, все-таки он? Был уже четвертый час, так что не такая уж это дерзость.

— Иду,— громко сказала она тому, кто был за дверью.

Софи встала, бросила взгляд в зеркало и, убедившись, что все в порядке, открыла.

Это была девушка — ученица из швейной мастерской, на руке у нее висели «дирндли», заказанные Софи.

Извините,— сказала девушка,— но портье мне сказал, что вы наверняка дома, вот я и принесла вам платья прямо сюда. А то еще помнутся. Хозяйка наказала мне следить, чтоб не помялись,

Софи поблагодарила девушку, взяла у нее платья, бережно разложила их на стульях и стала искать свою сумку, чтобы дать девушке на чай, после чего та, в свою очередь, поблагодарила, попрощалась и легко сбежала вниз по лестнице.

Усталости Софи как не бывало. Она стала примерять платья, подолгу вертясь перед зеркалом, то расправляла не на месте образовавшиеся складки, то одергивала подол, но в общем и целом осталась весьма довольна собой и своими новыми нарядами.

*

На другое утро, проснувшись довольно поздно, Софи даже не могла вспомнить, как очутилась в постели. Голова была тяжелая, не оторвешь от подушки, при каждой попытке ее начинало мутить, будто с похмелья, но только она принялась размышлять, откуда бы взяться у нее похмелью, как в дверь постучали. Она рассеянно сказала: «Войдите»,— и удивилась, когда в комнату действительно вошла молодая кельнерша с подносом,— Софи обычно запирала дверь на ночь.

— Доброе утро,— приветливо сказала девушка, ставя на тумбочку поднос с завтраком, хотя Софи и не думала его заказывать.— Раздвинуть вам гардины? — спросила девушка, обернув к Софи ясное личико, на котором уже давно вошло солнце.

Софи прикрыла глаза рукой.

— Только щелочку, пожалуйста, хватит и маленькой щелочки.— Она сама слышала, какой у нее разбитый голос.

Когда девушка ушла, Софи безучастным взором осмотрела поднос. Луч света, проникший сквозь чуть раздвинутые гардины, упал на красивый граненый бокал, явно не принадлежащий к инвентарю отеля, и в нем засверкала прозрачная темно-красная жидкость. Софи не выдержала и взяла бокал. Сверканье не погасло и когда Софи выхватила бокал из солнечного луча и поднесла к губам, чтобы попробовать его содержимое. Даже запах, исходивший от напитка, вызвал у нее приятное чувство, и, сделав два-три глотка, не более, она получила истинное наслаждение.

Она почмокала, смакуя вкус напитка и пытаясь определить, на что он похож, но это ей не удалось. Кто мог поставить этот бокал на поднос? Конечно уж, не та женщина, которая варила кофе, иначе можно подумать, будто в этом отеле все колдуют.

Подкрепившись чудесным напитком и вновь ощутив радость жизни, Софи съела яйцо, выпила несколько чашечек превосходного кофе и, на удивление веселая и

раскованная, попыталась вспомнить вчерашнее.

Ночь была долгая, полная смеха и жалоб, странных разговоров и удивительных впечатлений. Софи вспомнила, что она видела и Амариллис Лугоцвет, и хотя та ни минуты не сидела с ней рядом, но время от времени, беседуя с разными дамами, бросала на нее то с одного, то с другого места благожелательные взоры.

Софи удалось вспомнить только одно: после первого же глотка вина ее охватило ощущение нереальности происходящего, но оно не было ни тягостным, ни путающим, и она продолжала пить без опасения, что вино может причинить ей какой-либо вред. Вспомнила она и то, что дамы и господа, сидевшие по обе стороны от нее, все время менялись, через определенные промежутки времени возле нее появлялись новые лица, все эти люди говорили с ней, но у нее ни разу не возникло такое чувство, будто у нее хотят что-то выпытать,— наоборот, ей самой что-то рассказывали. Да и разговоры, что велись за другими столиками, казалось, не имели никакого отношения к Софи и ее делам. Многие из присутствовавших, по-видимому, были знакомы давно, и Софи замечала, как они поддразнивают и смешат друг друга всевозможными намеками и цитатами, хотя не имела ни малейшего понятия, о чем речь.

Софи никогда не была сильна в географии, но из названий стран и городов, звучавших в разговорах, уяснила себе, что собравшиеся здесь дамы обитают в самых разных уголках земного шара.

Тем более странным представлялось ей, что они так далеки от света, вернее, от цивилизации. Она не помнила, чтобы они хоть раз назвали общепринятые транспортные средства, а ведь о них обычно так много говорят, когда речь заходит о путешествиях. Вот почему их рассказы об экзотических странах звучали так ошеломляюще; можно было подумать, будто вся эта компания пользуется неизвестными ей, Софи, средствами передвижения, столь же быстрыми и, конечно же, куда более надежными, нежели те, что распространены в настоящее время.

Познакомилась она также с обоими мужчинами — Драконитом и фон Вассерталем и немного с ними поболтала. Они дали ей понять, будто знают ее давно, что, по ее разумению, было маловероятно. Драконит удивился тому, как хорошо она разбирается в минералах. Этими своими познаниями она была обязана исключительно Зильберу, а Драконит, предположивший, что она интересуется камнями и ныне, пригласил ее как-нибудь посмотреть его коллекцию, которую он, хоть и скрепя сердце, подарил недавно открывшемуся курортному музею. Софи вспомнила, что где-то в квартире Зильбера должно еще храниться его собрание; поскольку она все равно не знает, что ей делать с такой кучей камней, это, пожалуй, совсем неплохая идея — тоже подарить их музею.

— Замечательное решение,— заявил Драконит,— если вы только в состоянии с ними расстаться. Господин Зильбер в свое время не в силах был это сделать, он был истым коллекционером.

Софи не сразу привыкла к тому, что о ней знают всю подноготную. Зато через некоторое время она даже почувствовала себя от этого спокойней, ей было приятно сидеть здесь и благодушествовать, не тратя сил на то, чтобы достичь взаимопонимания, как обычно приходится делать в незнакомом обществе. Ее понимали и так, во всяком случае, знали ее прошлое и обстоятельства ее жизни без каких-либо объяснений с ее стороны. И как раз ненужность объяснений придавала частным разговорам и общей беседе необычайную естественность и свободу. Можно было обмениваться мнениями, не рассказывая предыстории. Дамы вели речь в такой обворожительной манере, что слушать их было одно удовольствие. Хотя некоторые, судя по внешности, были иностранки, все они, в том числе и Софи говорили словно бы на одном общем языке, и между ними не возникало никаких недоразумений. Все, что она слышала, было совершенно ясно и вразумительно, а

когда говорила она, ей не надо было подыскивать слова, они сами просились ей на язык, прежде чем она успевала подумать, что же, собственно, хочет сказать. И это еще усугубило впечатление нереальности, которое осталось у Софи от той ночи, хотя вообще-то реальность всего происшедшего ни на секунду не вызывала у нее сомнений.

Собираясь на ужин, она надела один из новых «дирндлей» и по взгляду кельнера, который на сей раз повел ее к другому столику, где уже сидели три дамы, поняла, что в выборе туалета не ошиблась. Едва лишь она облачилась в это когда-то такое привычное для нее одеяние, как сразу почувствовала, что она вновь в ладу с собой и своим окружением, почувствовала себя так уверенно, словно здесь, сегодня, в таком ее состоянии никто на свете не может причинить ей зла.

Еще накануне вечером, когда она ужинала с этими дамами, ей бросилась в глаза переменчивость их лиц, не только выражения, но и самих лиц — они делались то старше, то моложе, а порой и вовсе изменялись, хотя и не настолько, чтобы Софи могла заподозрить что-то сверхъестественное. Как актриса, она наблюдала эту способность своих соседок по столу с восхищением и завистью. Но, может быть, именно эта переменчивость была причиной того, что теперь, когда она обдумывала вчерашнее, ей никак не удавалось связать определенные лица с определенными именами или вообще вспомнить определенные лица. Словно она сидела с людьми другого цвета кожи, которые первое время кажутся тебе все на одно лицо, хотя, присмотревшись попристальнее, ты уже хорошо замечаешь разницу.

Одна из дам — одна-единственная — все же обратила на себя ее особое внимание. Она пришла, когда все уже сидели за столиками, темно-рыжие распущенные волосы выющимися прядями струились у нее по спине и груди, спускаясь ниже пояса. В противоположность остальным, она была одета не в «дирндль», а в темно-серый горский костюм с расшитой зеленым узором курткой, какую носили присутствовавшие в зале мужчины. Когда же по прошествии некоторого времени, да еще выпив рюмку вина, она сняла куртку, то осталась в белой блузке из тонкой, прозрачной материи, сквозь которую просвечивали голые груди. В этот миг у всех дам невольно вырвался возглас «ах!», а мужчины дружно охнули. Фрейлейн Розалия фон Триссельберг, как ее называли, явно сознавала, какой эффект произвела ее экстравагантная выходка. Софи вынуждена была признать, что эта дама, выглядевшая значительно моложе, чем большинство остальных, — хотя вид, возможно, не соответствовал ее истинному возрасту, — имела в тот вечер наивысший успех. С некоторой завистью подумала Софи, что такое поведение, собственно, подобало бы ей, от нее, актрисы, скорее можно было бы ожидать номера в этом роде. Впрочем, костюм фрейлейн фон Триссельберг был очень красив, и Софи подумала, что надо будет заказать себе такой же, не обязательно же носить его именно в этом обществе. Поскольку она полногрудая, ей придется отказаться от прозрачной блузки и удовольствоваться полотняной рубашкой.

В отличие от фрейлейн фон Триссельберг, чья девичья свежесть напоминала распускающуюся почку, добрая Амариллис Лугоцвет, — она тоже пришла на этот вечер в сопровождении своей таксы и тоже выглядела моложе и красивее, чем в тот день, когда ее навестила Софи, — излучала в своей неброской красоте доброту и мудрость и не то чтобы материнскую, но все же некую покровительственную силу, готовую откликнуться на любую просьбу о помощи, хотя бы и такую пустячную, какую с наивной улыбкой высказала Розалия фон Триссельберг: она попросила Амариллис Лугоцвет застегнуть у нее на руке серебряный браслет с гранатами. Мол, сама она слишком неловкая, и браслет у нее все время болтается на тонкой предохранительной цепочке. И Амариллис Лугоцвет не сочла ниже своего достоинства защелкнуть ей замок браслета, при этом она настолько обнажила свою руку, что стал виден ее собственный серебряный браслет с гранатами, как две капли

воды похожий на тот, что носила Розалия. От такого великодушного жеста притворно-наивный вопрос: «Как, и у вас такой же браслет?» — застыл на устах у Розалии, что же до Амариллис Лугоцвет, то она ответила на этот немой вопрос столь сдержанной улыбкой, что ее едва можно было счесть за таковую.

Смутно помнилось Софи, что однажды наступил момент, когда со всех сторон вдруг посыпались жалобы и сетования на человечество — его кляли за его злобность, за его коварство. Да и самой Софи внезапно открылись вряд ли уже поправимые ошибки, если не преступления везде и повсеместно совершаемые людьми, вопреки разуму к здравому смыслу. Страх и ужас охватили ее, едва лишь ее взору представилась картина грядущих бед — последствия этих человеческих заблуждений, Она почувствовала, что и ей самой, и всему человечеству, покинутому добрыми духами, духами-хранителями, Апокалипсис, которому подвергнутся не только те, кто его затеял, подпав власти темных сил, но и все живое на Земле. Никто не сможет остановить эту однажды запущенную самодействующую машину.

Ей привиделся мир после полного разрушения - буйная растительность со страшной быстротой покрыла Землю чащей метровой вышины, настолько плотной, что в ней не могло бы обитать ни одно живое существо. Взгляд ее проник в глубь этой чащи, по стеблям невиданных растений опустился вниз, до самой почвы, и она увидела слои мертвых тел, чья гниющая плоть питала собой корни растений,— они с чавканьем тянули из нее соки, претворяя их в огромные мясистые листья и цветы, полыхавшие болезненно-яркими красками, до тех пор, пока ничто, кроме странного запаха, не напоминало больше об их первичном источнике и обратном обмене веществ. В смятении и ужасе от этой картины будущего запустения, в которой нет-нет да и мелькали, среди цветов и листьев, лица вчерашних господ и дам, она уже не вполне отдавала себе отчет в том, были ли они частью видения или же вторглись в него лишь потому, что витали у нее перед глазами.

Как раз в эту минуту, когда ей чуть не стало дурно от обступивших ее кошмаров, раздался звонкий, хотя и не очень добрый смех, и Софи, вновь обратив свой взгляд в зал, увидела худого малорослого молодого человека с падавшими на плечи густыми белокурыми волосами; на нем был зеленый костюм, вырезанный по краям зубчиками наподобие листьев, и островерхая зеленая шапочка, которую фон Вассерталь только что весьма выразительно порекомендовал ему снять, что и вызвало взрыв звонкого смеха. А в зале вдруг поднялось какое-то странное движение: заколыхались занавеси, словно их поднимала невидимая рука, кое-где опрокинулись бокалы, а некоторые дамы смешно задвигались на своих местах, будто между ними кто-то втиснулся. Софи не верила своим глазам, но, заметив, что открыли окно, успокоилась и в первый раз за вечер подумала, что пора идти спать.

Молодой человек, который был представлен гостям под именем Брайена Мак Стюарта, раскланялся на все стороны, при этом смерив Софи пристальным взглядом, и сел между Альпиноксом и Розалией фон Триссельберг. Перед ним поставили пустой бокал, и он налил туда из принесенного с собой пузырька какую-то бесцветную прозрачную жидкость, может быть, водку, а может быть, просто воду.

Появление этого Брайена прервало великий плач и стон, и повсюду зазвучали опять более веселые речи. К тому же на прищельца посыпались вопросы, он отвечал на них звонким голосом и как можно короче, словно чувствовал себя в этом кругу не слишком уютно; моментами даже казалось, будто, отвечая, он смотрит на кого-то, кто здесь вовсе и не присутствует,— во всяком случае, Софи, сколько ни озиралась украдкой, не могла заметить того или ту, на кого был обращен его взгляд.

После долгих просьб и уговоров фрейлейн Розалии фон Триссельберг удалось наконец склонить молодого человека поиграть на том похожем на скрипку инструменте, что висел на пестрой ленте у него за спиной. Мелодии, зазвучавшие под его рукой, были сперва печально-монотонными, настолько, что Софи едва не

впала в транс,— у нее было чувство, будто она никогда еще не слыхала музыки, которая бы так чаровала душу. Потом звуки полились быстрее, и уже гости поднимались с мест, чтобы потанцевать,— казалось, даже не по своей воле. Господин Альпинокс, стоявший невдалеке от Софи, предложил ей руку и начал вальсировать с нею среди других танцующих, в основном это были одинокие танцорки, ибо дам было такое подавляющее большинство, что лишь немногие могли заполнить кавалера.

Часть гостей обуяла какая-то странная разнузданность, некоторые громко бранились, но из-за широких плеч господина Альпинокса Софи ничего не было видно, а музыка меж тем была такая, что ноги сами просились в пляс, поэтому она была довольна, что кружится в объятьях господина Альпинокса, который как будто на глазах становился выше и шире.

Понемногу она стала уставать и была благодарна господину Альпиноксу, когда он оглушительным голосом крикнул молодому человеку, который единственный еще сидел и играл: «Stop it, McStewart» — и тот, проиграв несколько тактов, повиновался. Когда музыка смолкла, танцоры и танцорки, пошатываясь, — все они были без сил — вернулись на свои места, а некоторые, кажется, очень сердились, но Софи слишком устала, чтобы выяснять вокруг чего опять разгорелся негромкий спор.

Она еще успела заметить, что Амариллис Лугоцвет с любезной улыбкой, погасившей в Софи последние остатки любопытства, подошла к ней и крепко взяла за руку выше локтя, словно собиралась куда-то отвести. С этой минуты Софи больше ничего связно не помнила, ей виделись лишь разрозненные картины, некоторые из гостей, застывшие в незаконченном движении, словно кто-то сделал моментальные снимки отдельных сцен и подсунул их в ее сознание.

Видимо, Амариллис Лугоцвет и уложила ее в постель. Софи было стыдно, что она дошла до такого состояния. И выпила-то она совсем немного. Откуда же взялось похмелье? Но уж пусть ей это простят. Такое приятное общество, да и ситуация необычная. Кто знает, что это было за вино?

Но теперь, напротив, она чувствовала себя свежей и отдохнувшей, как будто долго и крепко спала, и ей не терпелось принять ванну и выйти подышать свежим воздухом этого прекрасного края.

Было это, наверное, на седьмом году. Или на семидесятом. Или на семисотом. Лето выдалось жаркое и долгое, казалось, осень никогда не наступит. Курортники давно уже разъехались, гостиницы позакрывали свои рестораны, и лишь в трактирах, где вечерами люди пили пиво при открытых окнах, еще кипела жизнь.

Местные жители, когда у них только выдавалось время, вытаскивали из лодочных сараев свои остроносые плоскодонки и выезжали на озеро, а иногда и прыгали с лодок, чтобы освежиться в прохладной, но совсем еще не холодной воде.

Как ни великолепно было это запозднившееся лето, в нём чувствовалось что-то противоестественное, и Амариллис Лугоцвет не могла радоваться ему по-настоящему. Один из ее Максов-Фердинандов (сколько она помнила, шестой) умер в ночь на двадцать третье сентября. Умер не от старческой слабости, а от какой-то загадочной болезни, против которой все ее волшебные чары оказались бессильны. Хотя она и предчувствовала его смерть, но в благодушном настроении от хорошей погоды совсем упустила это из виду и теперь оказалась в затруднительном положении, ибо, с одной стороны, не хотела долго обходиться без нового Макса-Фердинанда, а с другой — в доме фон Вейтерслебенов в то время не оказалось подходящего потомства. Правда, Лулу, дочь Титины, и сама уже беременная, обещала как можно скорее восстановить утрату, но Амариллис Лугоцвет пришлось все-таки немалое время прождать, покамест она, вопреки своему обыкновению, не взяла щенка из осеннего помета, который никак не шел в сравнение

со своими предшественниками.

Вдобавок, открыв однажды коробочку с амариллием, она нашла ее совершенно пустой и решительно не понимала как это она так быстро израсходовала свои запасы, не заметив, что они вот-вот иссякнут. Временами она не могла отделаться от подозрения, что кто-то похитил у нее это зелье. Но поскольку ее подозрение ничем не подкреплялось и она не располагала никакими данными, указывающими на возможного преступника, то устыдилась своей подозрительности и приняла все меры к тому, чтобы изготовить новый амариллий, а это была длительная процедура, требующая большой затраты времени и долгих одиноких вечеров.

От чрезмерного наплыва гостей она не страдала: с тех пор как окончилось календарное лето, долговечные существа по непонятной для нее причине стали соблюдать странную сдержанность — не было ни приглашения в гости, ни неожиданных визитов, от которых в это время года обычно не бывало отбоя.

Да и сама Амариллис Лугоцвет уже сколько раз собиралась отдать визит Розалии Прозрачной, но никак не могла собраться и отправиться в путь. И про Альпинокса что-то ничего не было слышно, а ведь охотничий сезон наверняка уже начался — каждую осень среди скал гремело эхо его охотничьего рога.

Фон Вассерталя она видела однажды мельком, — он сидел на берегу озера в такой непривычный час, что она глазам своим не поверила. А когда она подошла поближе удостовериться, что это именно он, то не решилась с ним заговорить, настолько он был погружен в себя. Солнце, все еще необычайно жаркое, высушило его одеяние, оно потеряло свою красивую зеленую окраску, стало таким серо-бурым и невзрачным, как бревна, остающиеся на прибрежной гальке, когда уровень воды в озере после долгой жары спадает, обнажая места, обычно покрытые водой. Несмотря на все это, она почувствовала знакомый укол в сердце, но восприняла его скорее как напоминание никогда не выдавать своей слабости к фон Вассерталю, сколь бы нежданно-негаданно не довелось ей с ним столкнуться. Она бы не вынесла, если бы он разгадал или хотя бы только заподозрил ее скрытые чувства к нему.

Однажды к ней заглянул Драконит и принес давно обещанный лунный камень, однако без оправы, — он не мог вспомнить, какого рода узор ей по вкусу. Ей пришлось объяснять ему все сначала, а когда она уже это сделала, то подумала, что лучше было бы дать кольцу самую незамысловатую оправу. Она попыталась поговорить об этом с Драконитом, склонить его на свою сторону, ей хотелось, чтобы он одобрил ее стремление к простоте, но он выглядел до того рассеянным, что, как показалось Амариллис, совсем ее не слушал, ни в первый, ни во второй раз. Так что она оставила у себя лунный камень покамест без оправы, и они сошлись на том, что она даст ему знать, когда окончательно определит для себя, чего именно хочет.

Похоже было, что все, кого она причисляла к себе подобным, готовились к какому-то событию, к чему-то, что должно было произойти совсем скоро, а до тех пор оно тяготило их, как тайна, в которую они не могли посвятить Амариллис Лугоцвет, хотя все в равной мере жили под влиянием этого надвигающегося события. И Амариллис Лугоцвет погрузилась в многочасовое раздумье, она пыталась вспомнить многое, происходившее с нею за ее долгую жизнь, но то, чего она доискивалась, покоилось на самом дне ее памяти, окутанное плотным слоем тумана, и она все никак не могла извлечь это на поверхность, сколько бы указаний ни давали ей нескончаемые ночные сновидения, скорее мучившие, чем вносящие ясность.

Но и то, что всплыло в ее сознании от этого сосредоточенного раздумья, пришло, казалось, из давно забытых времен, можно сказать, из иной жизни, и впервые с тех пор, как она поселилась в этом чарующе-прекрасном альпийском крае, у нее возник вопрос, здесь ли ее настоящее место.

Только коротышка Евсевий, который летом иногда приносил ей свежих гольцов,

во всем оставался прежним. Он рассказывал ей разные деревенские новости, сыпал смешными анекдотами, которые позднее, в феврале, будут напечатаны в «карнавальных листках», и вообще всячески ее развлекал. Но и он тоже, хотя и не столь пугающим образом, как остальные, в свое последнее посещение отклонился от обычных тем и увлеченно говорил о хризантемах, которые, можно надеяться, ко Дню всех святых распустятся и будут в полном цвету— ведь без хризантем ничего не выйдет!..

Говоря это, он косился на нее, словно был не вполне уверен, известно ли ей, что он имеет в виду. Она же со своей стороны, никак не осмеливалась задать вопрос потому что в конце концов была наделена известным даром предвидения, только этот ее дар то ли от невнимания к нему, то ли от редкого им пользования, а может, по какой другой причине совсем зачах, во всяком случае, не предвещал ей о предстоящих событиях, если не считать каких-то смутных догадок, сколько ни пыталась она к нему взывать с помощью сосредоточенных размышлений.

Это время могло бы стать для Амариллис Лугоцвет временем отдохновения и покоя, о котором она, в глубине души, мечтала уже давно, но внутреннее беспокойство все росло и росло в ней, и она сама чувствовала, как ее бросает из одной крайности в другую.

Она вспоминала свои давно минувшие любовные связи, и сердце ее начинало биться, словно она переживала их еще сейчас. Вместе с тем она вспомнила и давно забытые ею обязанности, от которых чувствовала себя освобожденной в течение тех долгих лет, что прожила в этой местности. И только пропажа амариллии заронила в нее подозрение, что, может быть, кто-то другой втайне исполняет эти обязанности вместо нее.

В ней снова проснулось чутье, указывающее ей, где и в каких домах лежат при смерти люди. Иногда по ночам она бродила возле этих домов, и на ум ей приходили слова, которые надо произносить шепотом, и знаки, облегчающие предсмертные страдания,— теперь она вспомнила, для чего ей, по сути дела, надобен амариллий.

К счастью, в начале лета она запасла достаточное количество нарциссовых коробочек и должным образом их хранила, так что могла приступить к изготовлению новой порция амариллии, не дожидаясь очередного цветения нарциссов.

Дело это требовало сложной предварительной подготовки, потому что, кроме основной субстанции, необходимо было множество трав, минералов и прочих добавок — все это она собирала, часами рыская по заветным местам в лесу и на крутых горных склонах, вплоть до верхней границы леса. И хотя вначале она испытывала трудности и вынуждена была напрягать память, чтобы вспомнить некоторые составные части, позже ноги вдруг сами повели ее по нужным дорогам, заставляли карабкаться по тропам до тех пор, пока она с какой-то сомнамбулической уверенностью не останавливалась перед определенным растением, или ухитрялась чудом не раздавать какой-нибудь редкий, гриб, или случайно не подбивала ногой камень, на нижней стороне которого как раз и оказывался тот порошкообразный нарост, две крупинки которого были необходимы для придания зелью известного свойства.

Рвала она и дикий лук-резанец, из которого браконьеры иногда варили себе суп, приводивший их в состояние добродушно-веселого опьянения. Ей случалось есть этот суп во время странствий по горам, которые она много лет подряд совершала в компании альпинистов-любителей— столичных дворян и местных жителей, и он показался ей очень вкусным и полезным. Что же касается амариллии, то после нескольких недель настойчивых поисков она собрала все необходимое и могла приступить к его изготовлению — начинать толочь и смешивать, варить и выпаривать. И хотя она все как будто бы делала правильно, она тем не менее настолько отвыкла от этого древнейшего своего занятия, вмененного ей в обязанность, что, пока варила

зелье и произносила над ним заклинания, иногда сама чуть не лишалась чувств. И вот ей пришлось снова учиться сложным мерам предосторожности, необходимым для собственной ее безопасности, меж тем как новый Макс-Фердинанд уже не раз, закатив глаза, валялся под кухонным столом и то спал мертвым сном, то впадал в полное бесчувствие, так что самой Амариллис Лугоцвет только с большим трудом удавалось вернуть его к жизни. Но Макса-Фердинанда,— а это был тот самый хилый щенок из осеннего помета,—беда ничему не научила. Всякий раз ему каким-то образом удавалось проникнуть в тайную кладовую феи, и после того, как подобные случаи стали повторяться, у Амариллис Лугоцвет зародились определенные опасения, и в конце концов они свелись к догадке, что Макс-Фердинанд стал наркоманом, и она с ужасом думала о том, какое будущее ждет его и ее, если эта догадка подтвердится.

Лишь когда амариллий был готов, для начала в жидком виде, Амариллис Лугоцвет на какое-то время почувствовала облегчение, Правда, процесс был не совсем завершен, полученной жидкости надо было еще дать испариться и настояться до тех пор, пока она не станет пригодна к употреблению, но этому она сама уже мало могла способствовать, а посему, пользуясь ослепительно ясной погодой, продолжала бродить по лесам, собирая теперь только то, что попадалось ей на глаза, что природа кидала ей под ноги. Нагруженная зачастую диковиннейшими растениями, назначение и польза которых не могли быть ясны или хоть мало-мальски понятны непосвященным, она спускалась к своему маленькому домику и с помощью всяких тайных хитростей сумела так его расширить, что без труда разместила в нем все свои сокровища для просушки. И вот из ее дома понеслись такие запахи и ароматы, что даже местные жители, обычно не обращавшие на это внимания, ненадолго перед ним останавливались и тянули носом воздух, принюхиваясь. Однако и во время этой всецело захватившей ее деятельности ее не покидало какое-то беспокойство.

Однажды утром,— она только-только проснулась,— ее вдруг охватило такое чувство, будто ее где-то кто-то ждет. Чувство вначале смутное, и она несколько раз ловила себя на том, что все утро выглядывала, нет ли каких писем или депеш, обшаривала глазами небо и деревья в поисках птиц, могущих подать ей знак, или каких-нибудь других недвусмысленных знамений.

Когда же вскоре после полудня это чувство в ней окрепло, хотя никаких точных данных у нее по-прежнему не было, она взяла обычные свои принадлежности для сбора растений и отправилась в сторону известного ей альпийского луга, до которого было всего несколько часов пути и который славился обилием ягод и трав.

Привычная к ходьбе, она бодро шагала вперед, предпочтя усыпанной гравием большой дороге луговую тропинку вдоль ручья, и, воодушевленная ритмом собственных шагов, поняла, что идет в верном направлении, то есть именно в том, которое ей определено, И вот когда она уже довольно долгое время провела в пути, ее вдруг стало тянуть в сторону от тропинки, вверх по лесистому склону, и она без колебаний уступила этому влечению.

Все непроходимей становилась чаща, сквозь которую она уже не шла, а карабкалась, и чем дальше, тем более плотной, непроглядной сетью сплетались деревья над обломками скал, которые встречались теперь на каждом шагу, заставляя тропу делать развилки или виться полукружьями. И временами ей казалось, будто она слышит не только крики птиц и шум ручья, но и человеческий голос, отдаленный и тихий, но уже явственно доносившийся до ее ушей.

Стон приглушенный и моментами переходящий в жалобный плач, сказал ей, что она почти у цели.

И действительно, на участке леса, на котором совсем недавно валили деревья, — всюду одуряюще пахло свежей смолой и был раскидан обрубленный лапник, еще

не сложенный в кучи, — Амариллис Лугоцвет, недолго побродив, нашла место, где она была нужна, где ее ждали.

Она знала этого человека и сразу узнала его, хотя ей было видно только его запрокинутое лицо вниз, на густой поросли мха, среди разбросанного вокруг хвороста. Но и черты этого когда-то знакомого ей лица были уже так искажены страданием и такое необратимое совершалось в нем превращение, что даже Амариллис Лугоцвет в испуге вздрогнула, хотя уж ее-то смерть должна была пугать меньше всего.

Это был крестьянин из ближней деревни, его придавило упавшим деревом, но если бы его сейчас и высвободили из-под убийственной тяжести, ему бы это больше не помогло. Говорить он уже не мог, с его распухших губ срывался лишь тихий, жалобный стон, и у Амариллис Лугоцвет не было уверенности, что он ее видит, хотя она стояла вплотную возле него.

Она очень часто встречала этого человека, — он неутомимо бродил по лесам, выслеживал зверей, иногда одного-другого убивал, но потом кому-нибудь дарил, словно зверек, потеряв жизнь, вместе с нею терял для него всякий интерес. Она примечала его ночью, когда он голый (такой коричневый от солнца, что даже ее зоркий взгляд с трудом его различал) брел вверх по ручью, вытаскивая руками форелей из-под камней, причем от ночной прохлады ему иногда так сводило пальцы, что рыба из них выскальзывала, и это вызывало у него громкий, ликующий смех, будто не его добыча, а сам он спасся от смерти. Потом он взбирался на какой-нибудь валуи и, стоя на нем, несколько минут размахивал руками и притопывал ногами, пока не согревался настолько, что мог опять лезть в воду, под ближайший камень, и хватать за жабры неподвижно застывших форелей.

Когда рюкзак у него бывал полон рыбы, она почему-то начинала ему казаться непомерно тяжелой, тогда он подходил к какому-нибудь дому, где еще горел свет, стучал в окно, а как только окно открывали, бросал вовнутрь одну или несколько рыбин. Чаще всего он исчезал потом с такой быстротой, что уже не слышал слов благодарности.

Она видела, как он сбегает вниз по скалам в специально приспособленных для того ботинках, сбегает, не сдерживая шага, без страха оступиться, точно серны, которых он так часто выслеживал и стрелял.

Это был очень странный человек, весьма любимый женщинами, быть может, именно потому, что он редко баловал их своим вниманием и лишь время от времени влезал к какой-нибудь в окно, — а окна всегда стояли для него открытыми.

Амариллис Лугоцвет припоминала, что, кажется, у Розалии Прозрачной был когда-то роман с этим человеком. Потом он женился на чужанке, однако Розалия, вопреки своему обыкновению, не наложила на него руки. Альпинокс как-то упоминал об этом обстоятельстве — оно его удивило. Эта история, видимо, относилась к тем немногим тайнам Розалии, которые она считала важным сохранить. Ибо от нее так никто и не узнал, как случилось, что она отпустила его подбру-поздорову. Амариллис Лугоцвет втайне сомневалась в том, что рассказы, соединявшие этого человека и Розалию Прозрачную обычной любовной связью, вообще соответствуют истине.

Меж тем как она вызывала в памяти все эти подробности, она тихо присела возле умирающего и попыталась положить его голову к себе на колени, что сумела сделать, не причинив ему дополнительной боли. И вдруг она почувствовала, что меняется сама, что вновь обретает свое прекрасное, вечно юное лицо, которое попеременно могло казаться лицом матери, жены и дочери этого человека, и она принялась делать все, что успокаивает и облегчает страдания.

Руки ее были сухими и прохладными, и она откинула волосы с его лица, исполненного смертной тоски и муки. И тогда заметила, что он ее узнал. Не ее,

Амариллис Лугоцвет, а свою мать, которой уже не было в живых, свою жену, которой причинил столько тревог, и прежде всего дочь, которая была похожа на него, но лишена его резкости и дикости, светловолосая, как мать, только с темными глазами, сизмальства умевшими распознавать следы зверей.

Амариллис Лугоцвет не хотела слишком долго показывать ему в своем лице все эти образы, ибо как бы ни утоляли они поначалу его тоску, вскоре они сделали бы его предсмертные муки еще горше, и поскольку старый амариллий у нее кончился, а новый еще не настоялся, она достала пустой флакончик и поднесла его к носу умирающего, не для того, чтобы он понюхал— этого он уже сделать не мог — а чтобы оставшийся там легкий запах смешался с его слабеющим дыханием и оказал хотя бы то малое действие, которое еще был в силах оказать.

И правда, жалобные стоны постепенно перестали вырываться из его груди, все менее заметно вздымавшейся и опускавшейся, и Амариллис Лугоцвет поняла, что конец уже недалек, но при всем своем щедром на помощь могуществе вдруг ощутила страх, словно никак не могла вспомнить что-то очень важное. Словно теперь надо было сделать нечто такое, чего люди вправе от нее требовать, но вот беда — она просто-напросто не помнила, чего именно от нее ждут.

Потом она почувствовала, как по телу человека прошла последняя судорога, как оно вздыбилось — насколько позволял давивший его ствол, а потом стало медленно вытягиваться, и она все ждала, что сейчас что-то сделает, но вместо того вдруг сама потеряла сознание.

День уже клонился к вечеру и стадо довольно холодно, когда Амариллис Лугоцвет очнулась от странного оцепенения, которое обмороком не назовешь. Она сидела в той же позе, что и раньше, только теперь на коленях у нее покоилась голова мертвеца, но она совершенно не помнила, что произошло в последние часы.

Ее знобило, и она попыталась снять со своих колен его голову и опустить обратно на землю. В эту минуту откуда-то издалека до нее донеслись голоса,— это перекликались люди, явно кого-то искавшие, и она поняла кого — его покойника.

Амариллис Лугоцвет не хотела, чтобы ее застали рядом с погибшим, поэтому она быстро поднялась и спряталась в чаще, чуть поодаль. Прошло совсем немного времени и она услышала, как подошли трое мужчин, оглядывая все вокруг, и когда заметили мертвеца, то сперва онемели от изумления, а потом, выражая это изумление вслух, заговорили все разом, стараясь перекричать друг друга.

Им казалось невероятным, что этот человек — они называли его Тони —лежал мертвый под деревом, которое, по-видимому, сам и повалил. А кто же иной мог его повалить? Но с каких это пор Тони валил деревья, которые ему не принадлежали? Зачем ему понадобились дрова? А может быть, деревья были для него таким же общим добром, как дичь или рыба? Добром, но не имуществом, которое отдельные люди ухитрялись в изобилии присвоить себе, хотя оно принадлежало всем.

Амариллис Лугоцвет прислушивалась к разговору людей с нарастающим давлением. В самом деле, каким образом этот человек угодил под дерево? На секунду у нее мелькнула мысль о Розалии Прозрачной. Не ее ли рук это дело? Запоздалая месть? Не потом она эту мысль отбросила. После стольких лет? И почему тогда здесь, на этом месте, оно ведь далековато от владений лесных дев,

В гибели этого человека кроется что-то загадочное, и Амариллис Лугоцвет решила непременно исследовать обстоятельства его смерти, пусть это будет длиться годы,— Когда-нибудь она узнает правду. Даже если ей понадобится ради этого вновь обострить все свои чувства и опять с такою же ясностью видеть минувшее и грядущее, как она умела когда-то.

Последний день октября был настолько теплый, что Амариллис Лугоцвет заметила в озере нескольких пловцов. Всем предсказателям на удивление, хорошая погода упорно держалась, и дни стояли такие впечатляюще яркие, что

каждый из них казался последним, прощальным днем перед вторжением зимы. Оптимисты из местных жителей пользовались погожими днями всю и пока что оставляли свои лодки и плоскодонки болтаться на привязи у берега, вместо того чтобы спрятать их на зиму в лодочные сараи, как делали обычно. И когда у них только находилось время, они переправлялись на этих лодках через озеро на большой луг, откуда вечерами доносились их песни и веселые крики.

Веселье воцарилось еще во время сбора урожая,— казалось, чужане вовсе не разделяют того тревожного ожидания необычайных событий, которое повергло долговечные существа в столь глубокую задумчивость. Наоборот, на них нахлынуло какое-то радостное возбуждение, оно смывало прочь все мысли о возможных несчастьях, растворяло их в пиве и бурной веселости. Даже смерть Тони не слишком омрачила им настроение, хотя ее усиленно обсуждали, пусть только потому, что благодаря теплой погоде люди чаще общались друг с другом. Слухи о его гибели за короткое время разрослись в легенды, а рассказы о его жизни и повадках передавались из уст в уста подобно старинным преданиям.

*

В ночь на Всех святых внезапно, без всяких предвестий, пошел снег. Он сыпал и сыпал на цветы, посаженные на могилах и благодаря долгому лету являвшие невиданное буйство красок,— теперь снежный покров мягко приминал все это великолепие к земле.

В то утро, с момента пробуждения, к Амариллис Лугоцвет начала возвращаться память о давно минувшем. Она встала и, выглянув в окно, вдруг с легкостью прочитала знаки, оставленные птичьими лапами на свежем снегу. И на сей раз не потребовался даже излюбленный ею крепкий кофе, чтобы придать всем ее чувствам ту необычайную обостренность, без которой нельзя было начать приготовления к великому сборищу в ночь между Днем всех святых и Днем поминовения, как уже с давних пор, хотя и не от века, назывались эти дни.

Целый день, не беря в рот ни крошки, она провозилась с травами, грибами и кореньями, которые собирала в течение всего затянувшегося бабьего лета, помещала все то, что созрело и годилось к употреблению, во флаконы и горшочки, толкла порошки, засыпала их в крошечные коробочки и на всех ставила знак, для прочих непонятный, хотя вряд ли можно было предположить, что кто-нибудь воспользуется этими порошками во зло.

И уже с самого утра лицо ее стало преображаться, становясь и старым и юным, и красивым и безобразным, по мере того как в нем, в той или иной форме, отражались тысячелетия его существования. Это было уже отнюдь не лицо зимней затворницы и не то, каким она хотела произвести впечатление на Альпинокса или понравиться фон Вассерталю, нет, оно скорее походило на лик, который зрел над собою умирающий Тони, но было еще более чеканным, почти величественным, с тенью жестокости, — потребовалось немало времени, чтобы эта тень вновь пала на ее черты, ведь ее лицо от века к веку становилось все добрее и давно сбросило с себя, за ненадобностью, эту тень. Вскоре ей пришлось волей-неволей наколдовать себе вместо «дирндля» нехитрое древнее одеяние, в котором она против ожидания, сразу почувствовала себя удобно и просто, хотя оно во всем отличалось от платья, к которому она так привыкла за последнее время.

Беспокойство, не покидавшее ее в минувшие недели и месяцы достигло теперь своей высшей точки и лишь медленно постепенно сменялось ясным пониманием того, что несет с собой наступающая ночь. И чем ближе к вечеру, тем более преображенной она себя чувствовала, тем более близкой к своей истинной сущности.

Даже Макс-Фердинанд что-то заметил, но хотя сперва он ее не признал, в нем вскоре тоже начала совершаться перемена, благодаря которой этот щенок стал казаться крупнее, смелее и даже злее, чем это подобало его возрасту и далеко не

крепкому сложению. Он теперь больше напоминал своих предшественников, вернее — своих предков.

С наступлением темноты Амариллис Лугоцвет пустилась в путь в сопровождении Макса-Фердинанда, выглядевшего уже почти взрослым псом. Легким шагом шла она сквозь метель, и казалось, будто от нее самой исходит сияние, помогающее ей находить дорогу, несмотря на то, что она взбиралась все выше в горы.

Потом уже не один Макс-Фердинанд семенил впереди нее лисьим шагом, а множество собак, похожих одна на другую, и все-таки она узнавала каждую, хоть их собралась уже целая свора, и они как будто становились все выше, однако это явно были все Максы-Фердинанды, которых Амариллис когда-либо держала.

Иногда могло показаться, будто она не ступает по пушистому снежному ковру, который в течение дня становился все толще, а легко скользит над ним. А потому прошло совсем немного времени, как она уже проделала весь предстоявший ей путь.

Она всецело погрузилась в свои мысли, но когда, с сознанием, что достигла цели, остановилась у входа в глубокую штольню, то была немного удивлена и ненадолго задержалась, что бы собрать собак. Потом она вошла в штольню, почувствовав, как целая вереница лесных и горных духов, хотя и невидимых, шарахнулась от нее прочь.

Исходившее от неё сияние осветило покрытые влагой каменистые стены, и она без труда отыскала дорогу к дальнему источнику света, который вначале маленькой луной туманно заблестал в самом конце галереи, уходившей глубоко в недра горы, но с каждым ее шагом становился все ярче и-притягательней.

Она чувствовала, что в ней медленно и неуклонно растет некая сила, дарующая власть над вещами, и, как она теперь отчетливо сознавала, не только над вещами. В то же время у нее возникло предчувствие, что эта вновь обретенная сила, лишь только она осознает ее до конца, подвергнется большому испытанию, если не будет обуздана вовсе. И все эти чувства, зародившиеся и давшие знать о себе в последние недели, вызвали теперь такое напряжение, что у нее слегка задрожали губы и ей пришлось их плотно сжать, когда она приблизилась к входу в большую пещеру — место ночного сближения.

И хотя она вновь обрела способность каким-то образом узнавать все наперед, у нее на миг перехватило дыхание, едва лишь она увидела огонь, полыхавший под огромным медным котлом. Перед огнем стоял Драконит и мешал в нем раскаленными щипцами, а немного поодаль стоял низкий стол, вокруг которого на толстых звериных шкурах расположились остальные долговечные существа.

Драконит заметил ее первый, она знала, что это Драконит, и все же он показался ей странным и переменившимся. Темнолицый, словно отлитый из бронзы, с неподвижным взглядом, он поклонился и подошел к ней, волоча ногу,— прежде она не замечала, чтобы он хромал,— но не взял ее под руку, а только поддержал за локоть и повел к столу, к предназначенной для нее шкуре. Да и другие как будто тоже переменялись. Альпинокс сидел рядом с ней, скрестив ноги, но не поздоровался, и даже Розалия Прозрачная, все более принимавшая свой древесный образ, излучала такое достоинство и недоступность, что Амариллис Лугоцвет исполнилась удивления, но и неожиданного уважения к пей. Только фон Вассерталь внешне казалось, остался прежним. Его длинные темные волосы влажно поблескивали в отблесках огня, одеяние из зеленых водорослей выглядело свежим и лежало мягкими складками, будто он только что вышел из воды. Его взгляд словно и видел и не видел ее, но только на сей раз его красота уже больше на нее не действовала, так окрепло в ней ощущение своего могущества и сознание того, что она переросла всех присутствующих и данные им силы. Ибо ее сила заключалась в облегчении смерти, она могла провести умирающего через смерть, словно через

мертвый ландшафт, где достаточно было уронить одну слезу, чтобы жизнь возродилась снова.

— Она пришла,— услышала она голос Драконита, и в тот же миг странно-отсутствующие взгляды трех остальных обратились на нее и все они обменялись поклонами, не произнеся ни слова.

Из котла над очагом поднялся горячий пар, окутавший всю пещеру. Амариллис Лугоцвет достала из кармана, скрытого в складках ее древнего одеяния, всевозможные флакончики и коробочки и расставила их перед собой. Теперь она знала точно, чего от нее ждут, и когда Драконит снял котел с огня, вылил его содержимое в большую чашу и поставил перед ней, она начала добавлять в жидкость принесенные ею зелья, тщательно их размешивая, до тех пор, пока поднявшийся оттуда аромат не убедил ее, что смесь приготовлена как надо.

— За то, чтобы нам не изменила память,— сказала она, обеими руками поднимая бронзовый кубок, куда налила жидкости,— чтобы мы, сквозь толщу эпох и лет, претворивших нас, вспомнили все наши прежние образы. Ибо эта ночь посвящена первоистокам и всему, что из них воспоследовало; тому, что было и что стало, многообразию форм и их единству, которое позволит нам по истечении этих священных часов собраться вновь в виде живых существ и вновь разойтись, дабы в счастье забвения жить множеством жизней, кои влечет за собой вечное превращение вещей и образов.

Она отпила глоток и передала кубок Альпиноксу, а тот, выпив, передал дальше, Розалии. Так кубок трижды обошел по кругу, и после того, как сама Амариллис Лугоцвет в четвертый раз отпила из него, она откинулась назад, а тотчас же пещера стала наполняться образами людей, чьи лица были ей знакомы - то были лица умерших, когда-то покоившихся у нее на коленях, лицо человека по имени Тонн, последнего, с которым она проделала тяжкий путь отсюда - туда, путь, по которому и сама шла в глубоком отчаянии, до такой степени очеловечилась она в бытность феи Нарциссов. Сострадание налило ее ноги тяжестью, и она с трудом двигалась вперед по вымершей земле. Тогда она поняла, что смерть стала мстить ей тоже, ибо она пожелала о ней забыть, чтобы не ведать жестокости, которой требует борьба с нею. И она осознала лежащую на ней вину — вину за то, что, счастливая от многократного расщепления своей прежней личности, поверила, будто, став феей Нарциссов, под покровом забвения, дарованного ей веками, может пренебречь своим великим и первым долгом.

Но в то же время она поняла, что всегда будет впадать в забвение, что эта вина всегда будет настигать и терзать ее в День великого воспоминания — каждые семь, каждые семьдесят, каждые семьсот лет. Ибо великая жестокость будет неизменно расплываться на множество мелких жестокостей и причинять вред, но ей нужна была великая жестокость, дабы выжать слезу, способную пробудить к жизни вымершую землю. Но и великой жестокости было мало. Требовалось полное слияние, такое слияние со смертью, чтобы она, древняя ведунья, почувствовала, как вбирает умирающих в свое лоно и, словно беременная ими, переносит из одной жизни в другую, отчего ее шаг порой становился настолько тяжелым, что каменистая почва вымершей земли подавалась под нею и она сама едва не проваливалась в небытие, теряя волю к сопротивлению. Но именно тогда умирающие внутри нее начинали причинять ей такую невыразимую боль, что она судорожно карабкалась вверх по камням, снова и снова пытаясь поглаживанием унять свое чрево и выдержать тяготы переноски людей через смерть. Смерть же была не чем иным, как той вымершей землей, из которой она всей своей мукой выжимала одну-единственную слезу, и тогда жизнь рождалась снова, и в эту новую жизнь она могла исторгнуть из себя умирающих.

И вот воспоминание повело ее еще дальше назад, и где-то на краю своего поля

зрения она увидела Альпинокса: скрестив ноги, он сидел на лесной поляне, и голова его была украшена оленьими рогами, такими тяжелыми что он ворочал ею с трудом. Фон Вассерталь верхом на белом морском коне выезжал из южного моря на песчаный берег и врезался в толпу дев, разлетавшихся, словно пена, но тут видение гасло среди похотливого хихиканья и смеха. Тогда ей виделся Драконит в подземной кузнице,— хромая, сновал он от горна к чану с водой, но лицо его было едва различимо в клубах пара, который с шипеньем вырывался из чана, когда он опускал туда раскаленный металл.

А Розалия обитала как нимфа в священной роще и стала женой дубового короля,— Амариллис Лугоцвет заметила, что супруги очень похожи друг на друга. Сама же она был теперь Той, что приносит смерть. Той, что в опьянении и после изнурительных танцев отдавалась живым, чтобы затем их убить и напоить их кровью вымершую землю. Уйдя в воспоминание, она покачивала бедрами, и ее тело наполнилось желанием и истомой, каких она не испытывала уже давно. И даже смерть, которую она сеяла, доставляла ей радость, потому что люди принимали ее с готовностью, с желанием оплодотворить вымершую землю, принимали без сопротивления, ради общего блага. Но сама она была бессмертна, и как раз избыток ее могущества и величия заставлял ее временами желать противоположного, желать унижения и покорности, и в покорности она черпала новую силу, возвышавшую ее надо всеми и каждым, ибо, в свою очередь, требовала покорности себе и налагала руку на тех, кто покорился ей в любви.

И еще дальше в глубь времен завело ее воспоминание. Она уже не видела никого из себе подобных, она была теперь воплощением жизни и чувствовала, как ее нутро,— всегда, что бы она ни делала,— нескончаемым потоком исторгает из себя жизнь, а смерть была ей безразлична, ибо вместо каждого умершего из ее утробы в непрерывном процессе рождения являлся новый живой. Ее плодовитость была так велика, что все умершие, сколько бы их ни было, не шли в счет.

Она больше уже не видела лиц, только головы и тела, далекие размытые фигуры, исходившие из нее и уходившие прочь. И она погружалась еще глубже в толщу времен, но вот в ее сознании все стало мешаться, она сама и другие, глубина погружения, которую она ощущала, но не могла постичь, утомила ее, она впала в непробудный сон, полный смутных видений,— их многозначность тревожила лишь ее чувства, не затрагивая сознание. Она пребывала среди каких то зверей и растений, не имевших названий и неразличимых. Все слилось воедино, и она утратила самое себя.

— Почтеннейшая, вы спали дольше всех нас,— раздался рядом с ней чей то голос, и когда она медленно, с трудом открыла глаза, то увидела, что Альпинокс стоит перед ней на коленях и смотрит ей в лицо.

— Мы уж было подумали...— улыбаясь, он обернулся к остальным,— что вы, почтеннейшая, собственноручно себя усыпили.

Амариллис Лугоцвет улыбнулась, но тут же прикрыла рот рукой, чтобы скрыть одолевшую ее зевоту. Они все еще находились в пещере, и так как свет ниоткуда не проникал, трудно было определить, который теперь час, все ли еще ночь или уже наступило утро, а может быть, и день.

Огонь, над которым Драконит повесил котел, теперь едва тлел, а вокруг стола стояли рудничные лампы, слабо освещавшие пещеру. Все приняли опять свой привычный облик, за исключением некоторых особенностей в одежде. Оглядывая утомленными глазами присутствующих одного за другим, она увидела, что появился Евсевий и принес молотый кофе, запах которого приятно щекотал ноздри.

— Ну и ночь была,— сказала, садясь, Амариллис Лугоцвет. И, едва произнеся первые слова, заметила, что уже теряет часть своих воспоминаний.— Ну да,— продолжала она,— то был праздник воспоминаний... что бывает каждые семьдесят

дет, на сей раз жрицей была я.— Она знала, что за ближайшие семьдесят лет забудет и это.

— Успокойтесь, дражайшая Амариллис, со всеми нами происходит то же самое,— подал голос фон Вассерталя.— Если бы сознание необходимости этого ритуала не сидело в нас так глубоко и в назначенный день не сводило нас вместе, мы бы все о нем позабыли.

— Беспокойство, что охватило нас еще задолго до этого—заметил Драконит.—Вы ведь тоже, дорогая моя, только в последний день поняли, в чем дело.

Амариллис Лугоцвет утвердительно кивнула и погрузилась в свои думы.

— Я-то давно предчувствовала, что предстоит этот праздник,— включилась в разговор Розалия Прозрачная. — Сколько я помню, в последний раз — наша дорогая Фея Нарциссов тогда еще обитала в облаках,— жрицей была я.

Трое мужчин удивленно переглянулись.

— Розалия?— спросил Альпинокс, подняв брови — Почему бы и нет? Только мне кажется странным что именно вы полагаете, будто помните прошлый праздник.

— Вы же сами сказали,— с самоуверенной улыбкой ответила Розалия,— «почему бы и нет»? Кто еще мог быть жрицей, кроме меня? Ведь это более чем вероятно, что ею была я, хоть мои силы, разумеется, не столь велики, как у нашей дорогой Амариллис.

Амариллис Лугоцвет еще не настолько пришла в себя, чтобы дать достойную отповедь Розалии. Она терпеливо ждала, пока Евсевий подаст кофе, и только после этого намеревалась хорошенько всыпать Прозрачной. Станный наряд, в котором она до сих пор пребывала, начал ее раздражать, но известная сдержанность перед себе подобными вынуждала ее еще немного потерпеть и не наколдovывать себе тут же на месте так полюбившийся ей «дирндль»

Когда вскоре она действительно взяла в руки чашку изумительно крепкого кофе, у нее еще раз мелькнуло зримое воспоминание — на миг ее взору явился величественный образ Альпинокса с ветвистыми рогами, но теперь эта картина вызвала у нее только усмешку.

— О чем вы думаете? — в ту же секунду спросил Альпинокс, пытаясь взять ее за руку; казалось, будто и ему что-то напомнило минувшую ночь.

— Ни о чем,— солгала Амариллис Лугоцвет, с трудом сохраняя серьезность.— Ведь все мы со всеми нашими мыслями подвержены перемене, и я, право, не знаю, смеяться мне по этому случаю или плакать.

— Смейтесь, смейтесь, почтеннейшая,— добродушно заметил Альпинокс.— Смех еще никому из нас не вредил.

Выпив кофе, они собрались уходить. Из темного угла пещеры вынырнул Макс-Фердинанд, опять в единственном числе, и побежал по галерее впереди всех. Когда в лицо им ударил дневной свет, они увидели перед собой белесый зимний день, хотя снег больше не шел. Они тепло распрощались, и каждый вернулся в свое обиталище. Альпинокс еще долго махал рукой ей вслед. Зимой они будут видеться часто, как повелось у них в прежние годы.

*

День был пасмурный, но теплый и уже клонился к вечеру, когда Софи надумала пройтись по городку. Быть может, на сей раз она доберется до дома, где когда-то жила сама, а до нее жило множество поколений фон Вейтерслебенов.

Она пошла по узкой пыльной дороге, которая вела от озера вверх, в поселок, и по которой, объезжая Софи, медленно, чуть ли не шагом, продвигались машины, оттесняя ее на обочину. Старые виллы были подновлены, но в общем изменились мало, а вот домики у реки почти все оказались надстроенными, и участки, прежде пустовавшие, теперь тоже застроили.

Дойдя до кофейни, почти такой же, как во времена ее детства, она свернула

налево, на асфальтированную улицу, ненадолго остановилась на мосту, чтобы поглядеть на реку, вдруг показавшуюся ей такой родной и близкой, потом пошла дальше, мимо княжеской виллы, перед которой улица была разрыта, в сторону почты и магистрата. В центре поселка почти ничего не изменилось, только из-за работ по расширению улицы свалили несколько заборов. Толпы курортников были гуще, чем когда-либо, но заметно редели, если свернуть в боковые улочки. И пока она шла, оглядывая то одну, то другую сторону в поисках свершившихся перемен, взгляд ее проник сквозь деревья, росшие позади маленького домика, который снесли для расширения улицы, и она заметила виллу, наверняка стоявшую здесь давно, но никогда не попадавшуюся ей на глаза.

Память ее уцепилась за этот дом, которого она, как ей казалось, никогда здесь не видела, и она задалась вопросом, можно ли провести в таком небольшом поселке все свое детство и юность и не знать наперечет всех его домов. Выходит, этот дом годами от нее прятался. Это открытие ее ошеломило, и она решила не сейчас, но в один из ближайших дней под каким-нибудь благовидным предлогом подойти поближе к тому дому, может быть, даже позвонить или постучать в дверь и взглянуть, кто там живет. Возможно, это окажется человек, которого она сразу узнает, да и он ее тоже, и тогда она скажет себе: ах да, ведь здесь живет такой-то или такая-то,— и будет рада, что нашла в этом поселке больше, чем сохранилось в ее памяти.

Собираясь дождь, поэтому она решила купить себе большой пестрый деревенский зонт — их делали специально для здешних проливных дождей.

Кстати, вспомнила она, надо наконец вернуть Амариллис Лугоцвет ее зонт.

В магазине,— раньше здесь продавали только сигареты, газеты и кое-что из продуктов, теперь же повсюду был ощутим экономический подъем и торговля расширилась,— она перебрала множество зонтов. Важно было найти подходящую расцветку, чтобы она гармонировала с тонами ее платья. Раскрывая один зонт за другим, она заметила пожилую женщину,— Софи сразу ее узнала,— которая долго и украдкой ее разглядывала, словно никак не могла вспомнить, кто же это. Софи сделала вид, будто не замечает женщины, а когда, выбрав наконец зонт, стала расплачиваться, то говорила подчеркнуто правильным литературным языком, избегая местного диалекта, и постаралась как можно скорее уйти из магазина.

Сердце у нее колотилось. Она понимала, что рано или поздно ее здесь узнают, ей не удастся до бесконечности избегать встреч с людьми, которым она не только покажется знакомой, а которые действительно ее вспомнят и с нею заговорят. А когда заговорят, она не сможет отрицать, что она — это она, та самая, что долго жила в этих местах. Среди местных жителей мигом разнесется весть о том, что она вернулась после более чем двадцатилетнего отсутствия. Люди опять вспомнят о смерти Зильбера, ведь о ней же писали в газетах, и о смерти ее матери. Ей придется выслушивать рассказы о разных эпизодах ее детства, поскольку они известны многим, а также о судьбах тех, кого она когда-то знала. Она поняла, что, раз начав выслушивать все это, не сможет насытиться и ей захочется слушать еще и еще. Что в ее памяти всплывут лица людей, которые только сейчас, задним числом, обретут биографию и судьбу.

Нет, настолько окончательно она еще не вернулась. Двадцать лет подряд она подавляла в себе малейшее желание вернуться сюда и узнать, что здесь тем временем произошло. Только здесь, в этом поселке, жили люди, которые знали ее с детства и которых она сама знала еще ребенком — не мельком и не по случайному застолью, как тех, с кем она встречалась в своих скитаньях, а изо дня в день, из года в год.

Слов «родина» или хотя бы «родные места» она всегда избегала и в лучшем случае говорила о месте своего рождения. Однако, если бы в эту минуту ее заставили объяснить, какой смысл она вкладывает в понятие «родное», она бы

сказала, что оно связано с таким вот знанием людей. С тем, что знаешь своих соседей и они тебя знают, но не так, как знают один другого супруги или родственники, а как люди, которые встречаются постоянно при одинаковых обстоятельствах и одинаковых топографических условиях. Словно легче узнать и понять человека, если живешь с ним среди одного и того же горного ландшафта.

Пока она по узкой дороге поднималась к своему прежнему дому,— и здесь преследуемая машинами, где за рулем сидели арендаторы или курортники, жившие на частных квартирах,— ее с каждым шагом все больше охватывала несказанная радость узнавания. Иногда ее так и подмывало поискать знакомую дырку в заборе, в которую она каждый день подглядывала, идя в школу.

Чем выше она взбиралась, тем яснее открывался ее взору хорошо знакомый вид поселка — тот вид, который всегда представлялся ей, лишь только она вспоминала о родных местах. А подходя все ближе к дому, она подпала под власть какого-то странного наваждения. Ей вдруг послышался крик,— так кричала ее мать в последние дни болезни,— хриплый надсадный крик, словно она натужно откашливается, но Софи знала, что это крик боли, и вздрогнула от этого звука-призрака, как от удара, который настиг ее издалека, с расстояния в двадцать с лишним лет.

Скамья на верхнем краю участка, где стоял дом, еще сохранилась. Софи села на нее со вздохом, выразившим одновременно и облегчение, и тяжесть воспоминаний, зацепила ручку зонта за спинку и стала смотреть на дом внизу.

Тех, кто его приобрел, Софи никогда не видела. Посредником при продаже был Зильбер, и неизвестно, владели ли еще домом те же люди, что купили его тогда. Снаружи он мало изменился. Крыша была новая, кое-какие доски в ограде балкона, и в то время уже негодные, заменены свежими, и весь деревянный верх заново подтемнен коричневой морилкой. Только дом показался ей меньше, чем прежде, но этого она, можно сказать, ожидала. В первом этаже,— ей было больно на это смотреть,— расширили окна, что нарушило цельность архитектурного замысла, пришлось снять зеленые деревянные решетки в простенках, по которым вились растения, а именно это придавало белой, оштукатуренной части дома определенный стиль. Потом решетки немного сузили и приделали снова, но они висели голые, поблескивая свежей краской,— видимо люда просто забыли посадить внизу розы или какие-нибудь выюнки, которые быстро тянутся вверх и могли бы прикрыть обнаженность новизны.

Там, где прежде была лужайка, казавшаяся издали благодаря обилию цветов — сердечника, аканта и бедренца — куском пестрого батиста, раскинулся теперь гладкий, как ковер, и довольно уже густой газон, пересеченный маленькими цветочными, грядками. Софи больше нравилась лужайка, но ее мнение было, конечно, предвзятым.

Бело-зеленая беседка — с островерхой дощатой кровлей, снизу украшенной резьбой, напоминающей сталактиты, с деревянными решетками вместо окон,— беседка, где ее мать обычно сидела после обеда, читала или подремывала, и где сама она любила готовить уроки, если этому не препятствовала погода, служила теперь хранилищем для комнатных цветов, которые не только стояли на предназначенных для них местах, но и были подвешены на цепях к потолку или даже нацеплены на гвозди,— их беззастенчиво вколотили снаружи в деревянную стенку. Во что можно превратить даже цветы,— возмутилась Софи при виде их немислимой пестроты, которая, казалось, старается затмить не только изящество беседки, но и самое себя. Она представила себе, как женщина, помешанная па цветоводстве, роется в картонках на прилавках универсальных магазинов, упрямо выискивая не что-нибудь на одежды, а пакетики с семенами.

Грушевое дерево было на своем месте. Также и столик под ним, и скамейка.

Но похоже было, что ими не пользуются. В нескольких шагах оттуда, под яблонями, была расставлена плетеная мебель, довольно красивая, если не считать ее блестящей броско-алой окраски.

Возможно, Софи была несправедлива к людям, жившим теперь в этом доме, но она упорствовала в своей несправедливости. Эта упрямая несправедливость немного облегчала Софи горестные чувства, которые обуревали ее с той минуты, как она решила сюда подняться.

В последние годы Зильбер давал, понять ее матери, что дом надо продать, но она и слышать об этом не хотела. «Куда ж я денусь,— говорила она,— если продам этот дом? Я люблю путешествовать. Но путешествовать все время я не могу. Жить в городской квартире? Нет, я хотела бы умереть здесь». То был первый случай, когда ее мать приняла в расчет возможность собственной смерти: Видимо, она уже тогда чувствовала себя больной. Но ни Софи, ни Зильбер этого не заметили. Может быть, оттого что были поглощены той странной игрой ожидания и откладывания, которая началась между ними.

Софи и теперь искала и не находила в себе чувство вины перед матерью за эту свою игру с Зильбером. До такой степени Зильбер освободил ее от всякой ответственности. Властность матери, ее спокойная уверенность в обхождении с людьми делали невозможной и самую мысль о каком-то соперничестве с нею. Застигни она даже Софи в объятиях Зильбера, она великодушно бы закрыла на это глаза, даже не задумавшись всерьез над «ложным шагом», как она скорее всего назвала бы подобную вольность. Когда они куда-нибудь ездили,— а мать брала Софи с собой в путешествия, когда только могла это себе позволить, чтобы девочка не чувствовала себя «деревенщиной»,— она сама просила знакомых мужчин, нередко толпившихся вокруг нее, уделять больше внимания ее дочери. Девочка, правда, еще не вполне определилась, но рано или поздно эти господа будут счастливы оттого, что знали Софи совсем юной.

Софи действительно встречала потом кое-кого из этих люден, но отвергала все их любезности и старалась не поддерживать с ними никаких отношений. Она не желала водить знакомство ни с кем из тех, кого близко знала ее мать.

Кто же все-таки был ее отцом? С тех пор как наследование в семье фон Вейтерслебен пошло по женской линии, У дам этой фамилии стало традицией, что они не знают своих отцов. Сама Софи никогда этим особенно не интересовалась, разве что в переходном возрасте, когда у нее нет-нет да и являлась шальная мысль, что ее отцом мог быть Зильбер.

Однажды, как ей представлялось тогда, она была уже близка к разгадке. Долго и упорно, неделю за неделей обрабатывала она старую экономку, которая жила у них в доме еще до рождения Софи, ловила минуты, когда они оставались вдвоем, чтобы осторожно ее порасспросить, и ее усилия увенчались тем, что она узнала: Зильбер ей не отец, наверняка. В критический момент он находился совсем в другом месте, хотя в то время уже знал ее мать, но вот близко ли знал, этого не могла сказать и экономка. И про других мужчин, знакомых ей только по фотографиям, она узнала также, что ни один из них не мог быть ей отцом. Но когда после стольких отрицательных ответов она стала требовать положительный, экономка резко оборвала ее и заявила: пусть Софи оставит ее в покое и лучше спросит свою мать. Только она одна и может дать ей ответ.

Обидевшись на экономку за грубый тон, Софи на время прекратила свое дознание, а когда она захотела его возобновить, глухота старухи, заметная еще раньше, усилилась настолько, что, отвечая на вопросы, она кричала или делала вид, будто ей приходится кричать, и у Софи не хватило духу нарушить это единственное, но строгое табу в истории семьи.

В школе ее иногда дразнили безотцовщиной, но она отражала нападки с

большой отвагой и самоуверенностью, так что ее скоро оставили в покое, приняв эту ситуацию как должное,— то же самое происходило и до нее со всеми девицами фон Вейтерслебен. У нее даже оказалось преимущество перед другими детьми без отцов,— а их было много,— ибо ее отец был действительно неизвестен и вокруг этой таинственной фигуры могли складываться любые легенды. Одна из ее лучших подруг даже высказала однажды предположение, что это, наверное, был какой-нибудь князь,— она видела, как Софи развернула салфетку с завтраком и на салфетке была вышита маленькая корона. Они тогда читали в школе сказку про младенца, найденного в королевских пеленках. Софи так забавлялась наивностью своей школьной подруги, что даже рассказала о ней матери, и они вместе от души посмеялись. Но на том оно и осталось — мать не обронила ни малейшего намека на состояние или звание ее родного отца.

Именно Софи и вызвала из столицы Зильбера, когда мать лежала при смерти.

«Он не должен видеть меня такой!» — кричала мать, когда Софи сообщила ей, что послала ему письмо. Неделями удавалось ей, благодаря железной самодисциплине, скрывать от них обоих свои страдания, но потом болезнь все-таки ее свалила. Даже Софи понимала, что конец недалек.

Врач, которого мать долго не хотела приглашать, приходил теперь ежедневно. О больнице она и слышать не желала, но растерявшейся Софи врач объяснил, что больница уже мало чем поможет. Счастье еще, не преминул он сообщить дочери, что болезнь развивается с такой быстротой,— это сократит мучения больной. Уйдя в своих мыслях так далеко назад, Софи вдруг вспомнила и про Амариллис Лугоцвет. В один прекрасный день она очутилась перед дверью их дома, сказала Софи несколько ласковых слов, мягко отстранила ее и прошла прямо в спальню Амелии фон Вейтерслебен. Она не разрешила Софи войти вместе с ней, но каждый раз, когда она находилась в доме,— а с того дня она приходила часто,—мать казалась значительно спокойней. Это спокойствие и собранность не покидали ее даже спустя несколько часов после ухода Амариллис Лугоцвет.

Когда приходила Амариллис Лугоцвет, Софи чувствовала себя лишней, и даже Зильбер, снова занявший квартиру в верхнем этаже, бродил по дому как потерянный. Поэтому все чаще случалось, что они встречались на кухне, вместе с Катрин, старой экономкой, пили там кофе, глядели на огонь в плите и катали хлебные шарики. Старая Катрин рассказывала истории о детстве Амелии фон Вейтерслебен — те, что она еще помнила, при этом она то и дело вытирала непрошеную слезинку, пока Зильбер и Софи, не выдержав, не уходили в беседку, откуда можно было видеть, как Амариллис Лугоцвет покинет дом. Там они и находились, когда, плача в голос, прибежала Катрин и сообщила им о смерти Амелии фон Вейтерслебен.

Должно быть, Амариллис Лугоцвет ушла именно в эту минуту, потому что они ее так и не увидели. Якобы она явилась на кухню и сказала Катрин: «Позови дочь и мужа». И та поняла, что все кончено.

Когда они сразу вслед за тем вошли втроем в комнату умершей, Амелия фон Вейтерслебен лежала, словно спящая, с уже закрытыми глазами. И Софи наконец смогла заплакать. А вот Амариллис Лугоцвет она ни до, ни после того не встречала и увидела снова только два дня назад — увидела, но не узнала.

В ней вдруг тихо, но явственно шевельнулся страх. Когда ее мать скончалась от тяжелой болезни, она была не намного старше, чем Софи теперь. Значит, еще молодая женщина, а ведь за минувшие годы Софи об этом почти забыла.

Долгое время она так усиленно старалась все забыть, что теперь ей стало стыдно. Может быть, она и сама уже носит в себе зачатки болезни. Она открыла сумку, достала сигарету и опять защелкнула замок. Сколько раз она пыталась бросить курить, но когда через несколько дней начинала снова, то уговаривала себя, что уже все равно. От чего-нибудь ведь все равно умрешь. Никто не может заглянуть

внутри себя. Но теперь ей почему-то было совсем не безразлично — проживет ли она на несколько лет больше или меньше. Значило ли это, что она стареет?

Она бросила недокуренную сигарету и наступила на нее ногой. Воспоминания стали частицей ее существа, и теперь их так быстро не загонишь в тихие закутки памяти. Придется ей опять научиться жить вместе с матерью и с Зильбером. Секунду она боролась с искушением спуститься к дому, позвонить и попросить разрешения пройти по комнатам, где она выросла. Может быть, новая обстановка вытеснит из ее сознания старую. Но она оставила эту мысль. Ее начнут расспрашивать, под конец даже вынудят выпить кофе, и она будет чувствовать себя гостьей в чужой квартире. Прежде всего ей будет нелегко ответить на вопросы. И еще она боялась окончательно убедиться в том, что дом теперь действительно совсем другой и в нем не осталось и следа от их прежней жизни.

Посыпал мелкий дождик. Софи поднялась и раскрыла новый зонт. Времени оставалось мало. Сегодня, когда она войдет в зал, дамы, наверное будут уже сидеть за обедом.

Она разрывалась между двумя мирами — между миром воспоминаний, почти уже от нее ускользнувшим, и миром странного настоящего, полного таинственных ситуаций, возможно, таивших в себе намеки на будущее, о котором она еще не имела понятия. А есть ли у нее будущее? Чего от нее хотят? Теперь, когда она наконец-то имеет постоянный ангажемент в столице и может немного вздохнуть. Теперь, когда она впервые стала думать о том, чтобы превратить квартиру Саула Зильбера в квартиру Софи Зильбер. Почему эти люди не пригласили ее раньше? Но потом в ней опять заговорило любопытство, — с каждым шагом, приближавшим ее к отелю, усиливалось действие чар, которые, несомненно, исходили от этих господ и дам. Все это, наверное, имеет какое-нибудь значение, может быть, даже очень большое. Ей чудилось, будто ее что-то дергает и тянет, будто она слышит какой-то зов, и она опять почувствовала себя совсем молодой. Разумеется, это имеет значение, вполне определенное значение, прежде всего для нее, Софи Зильбер, урожденной фон Вейтерслебен. Ведь именно в этом году она получила ангажемент в столице. Наконец у нее появятся друзья, которых она сможет приглашать к себе, друзья, с которыми не придется через несколько дней расставаться из-за того, что театр едет на гастроли куда-то еще.

Постоянной публике она сможет показать, на что она способна. Ее станут выдвигать, она будет покорять одних и тех же зрителей во все новых и новых ролях, а не разных — в одной и той же, к тому же легко покоряемых за один вечер. Может быть, приглашение сюда связано с тем, что люди начали наконец понимать, кто такая Софи Зильбер.

Шагая под дождем, она оценила всю свою прежнюю жизнь как подготовку, подготовку к тому, что наступит теперь. «Тише едешь, дальше будешь...» — прошептала она про себя. Конечно, одно связано с другим — воспоминания, нереальность настоящего и будущее, которое сулит ей осуществление надежд и очертания которого понемногу вырисовываются перед ней.

Вдруг ее захлестнула радость, бесконечная радость от того, что она жива, что она приехала сюда, что она будет жить в столице. Вся бессмысленность прошедших лет сразу обретет смысл, она впервые заживет так, как ей хочется, как ей подобает, с полной отдачей всех своих сил в способностей.

Когда она вошла в отель, ее встретила необычная тишина. Ни из кухни, ни из зала не доносилось никаких звуков. Она сунула зонт в подставку, в туалете помыла руки и поправила прическу. Войдя потом в зал, увидела, что ее прежний столик накрыт на одну персону. Кельнер, заметивший ее еще раньше, сразу принес ей суп.

— Дамы и господа просят их извинить, — сказал он. — Они уехали в гости, но ужинать будут здесь.

Софи глотала вместе с супом свое разочарование. Такого она не ожидала. Время до вечера уж как-нибудь пройдет. Она воспользуется случаем и отнесет Амариллис Лугоцвет ее зонт. Она была права, эта славная женщина. Мать Софи и в самом деле умерла у нее на руках. Так это видимо, и было.

*

Дождь не принес прохлады. Стало пасмурно и душно. Повсюду было разлитое влажное дыхание лесов, и в рассеянном свете гостиницы, виллы и дома местных жителей выглядели какими-то призрачными.

Поспав чуть-чуть после обеда, Софи взяла зонт Амариллис Лугоцвет, а также свой собственный и отправилась в путь, надеясь, что, по крайней мере, Амариллис не поехала с остальными, и Софи сможет немного с ней поболтать и, между прочим, кое-что разузнать о том, что занимало ее любопытство.

Поднимаясь на гору, она была вынуждена то и дело останавливаться, чтобы перевести дух. Стояла тяжелая духота без малейшего ветерка, и временами у Софи было ощущение, будто ей в рот вталкивают обратно неочищенный тот самый воздух, который она только что выдохнула.

В свое последнее посещение она совсем не заметила здесь маленького садика. Вероятно, потому что почти весь он прятался позади дома Амариллис Лугоцвет. Но у Софи возникло чувство, что в тот раз его вовсе не было. Однако чувства ее уже часто обманывали, так что она не стала над этим раздумывать.

Амариллис Лугоцвет сидела на скамейке под ореховым кустом — орехи на нем были еще крошечные и совсем зеленые — и махала издали Софи, словно ожидала ее прихода, Макс-Фердинанд бросился ей навстречу, и хотя лаял сперва яростно, вскоре завилял хвостом, а затем и вовсе положил ей голову на колени, когда она села на один из деревянных стульев, расставленных вокруг маленького столика, а зонты положила на другую.

— Ну и погода, — сказала Софи, хотя вообще была не особенно чувствительна к переменам погоды. Она широко раскинула руки, чтобы расправить грудь, и потом бессильно опустила их.

Амариллис Лугоцвет тем временем скрылась в доме и вскоре вышла оттуда с небольшим подносом черного дерева, на которой стоял чайник Бётгера фаянса в форме обрубленного куска ствола, украшенного рельефом в виде цветущих веток и с позолоченными ножками; носик был изогнут наподобие клюва. Из чайника маленькими струйками шел пар, распространявший терпкий запах травяного настоя. Рядом стояли две белые чашки тончайшего фарфора с орнаментом из листьев и такая же сахарница. Маленькие ложечки были украшены тем же узором, что и ручки подноса, а цепочка на крышке чайника блистала позолотой.

Софи Зильбер вспомнила, что точно такой же чайник видела в музее прикладного искусства — он был выставлен как особая редкость. Откуда Амариллис Лугоцвет могла взять эту красивую и редкостную вещь?

— Вот одна из немногих вещей, которые мне действительно нравятся, — сказала Амариллис Лугоцвет, указывая на чайник. — В свое время моя старая приятельница привезла мне его из Мейсена. Но это было уже давно.

Она налила обе чашки, и от них пошел такой чудесный аромат, что Софи с удивлением подумала: что же входит в состав этого чая?

— Многое, что вкусно и полезно, — с улыбкой ответила на ее немой вопрос Амариллис Лугоцвет. — Тебя бы только утомило, если бы я стала перечислять тебе все подряд. — И без всякого перехода продолжала: — Я знала, что ты придешь. Остальные бродят по горам с Альпиноксом, а я все эти места слишком хорошо и слишком давно знаю. Так что я предпочла дожидаться тебя.

— Мне немножко стыдно за то, что было сегодня ночью, — Софи попыталась

зацепиться за интересующую ее тему.— Я даже не помню, как очутилась в постели.

— Милая детка.— Амариллис Лугоцвет ласково погладила ее по руке.— Ты была усталая, очень усталая. К таким долгим бессонным ночам ты не привыкла. Не забывай, ведь ты приехала совсем недавно и еще не успела отдохнуть от всех твоих утомительных поездок.

— И потом это вино...— Софи опустила глаза.— Но я ведь совсем немного выпила...

Амариллис Лугоцвет засмеялась.

— Этого тебе стыдиться нечего. Вообще ты всех очаровала, и мой выбор был единодушно одобрен.

Софи не знала, чувствовать ли себя польщенной тем, что она всех очаровала, или возмутиться тем, что ее без спросу для чего-то выбрали, о чем она до сих пор даже не имеет понятия.

— Но почему твой выбор пал именно на меня? — спросила она, сама толком не зная, какого ответа ждет.

Амариллис Лугоцвет между тем спокойно, с интересом наблюдала, как паук-сенокосец на неловких и нетвердых ножках вскарабкался вверх по ее голой руке, потом смешно прошагал по подвернутым рукавам блузки, откуда перебрался на ухо, и, немного отдохнув, отважился спуститься на спину. Устремив на Софи какой-то нездешний взгляд странным образом завороживший ее, Амариллис заявила:

— Между тобой и нами есть известное сходство. Отдаленное сходство, но оно может оказаться полезным.

— Сходство? — Софи, напуганная странным взглядом собеседницы, перешла на шепот.

— Ты много ездила,— продолжала Амариллис Лугоцвет.— Знаю,— отмахнулась она от Софи, хотевшей ей возразить,— ты повидала не весь свет. Много пережила и большую часть пережитого забыла. Забывать ты мастерица. Но подобно тому, как нам не обойтись без того, чтобы не вспоминать все бывшее, пусть только время от времени, так и тебе придется кое-что вспомнить.

Все меняется, но можно ли допустить, чтобы дело и дальше шло так, как идет? Пора нам взяться за ум. Вот и ты намерена взяться за ум. Для тебя это значит стать оседлой, жить на одном месте и наконец проверить, чего стоит твое искусство. Наши искусства тоже требуют проверки. Что нам следует изменить — эти искусства или самих себя? Не пора ли нам переселиться в заоблачные выси? (Тут Софи почудилось, будто Амариллис Лугоцвет приподнимается над своим стулом, не делая при этом никаких движений.) Или остаться на земле? (Она опить плотно сидела на стуле, как раньше.) Уйти навсегда, ив оставив даже следа или найти для себя новый путь? Помогать людям или довольствоваться собой? Какова самая важная задача всех искусств — твоего и наших? Облегчать людям жизнь или предостерегать их от ала? Вести их к Красоте, изображать Красоту или воплощать ее самим? Или каждый раз ставить в центре внимания добродетель, которую чтят в данную эпоху как нечто достижимое, доступное и осуществимое?

Каково соотношение между той радостью, которую наши искусства доставляют нам самим, и той, которую они доставляют другим? Какая радость выше, может ли одна существовать без другой, оправдывает ли одна другую? И нужно ли подобное оправдание? Можем ли мы, должны ли мы оправдывать самих себя? Довольно ли будет, если мы останемся такими; как есть, или мы должны непрестанно становиться другими? Но до какой степени можем мы стать другими, не утратив верности себе? А если мы верны себе, то до какой степени можем мы стать другими?

Софи от всех этих вопросов становилось все больше не по себе, ведь теперь и ей придется со всей четкостью поставить их перед собой. Все ещё завороженная, она взглянула Амариллис Лугоцвет прямо в лицо, с него ушла тень,

обычно отбрасываемая на глаза полями шляпы,—казалось, эти глаза излучают сейчас сияние, поглощающее любую тень.

— Не всякое время в равной мере требует перемен, а некоторые существа могут долго уклоняться от требований времени. Но могут ли они делать это всегда? Даже я,— а у меня по части времени есть достаточный опыт,— не представляю себе, что значит «всегда». Ходит легенда, будто есть существа и вещи, независимые от времени. Но какого рода время имеет в виду эта легенда? Разве сама она не рождена временем?

Меня особенно пугает, что время помчалось с небывалой быстротой, и даже от нас оно требует решения, будем ли мы такими или иными, а ведь мы привыкли чувствовать себя вполне сложившимися. В глубине души я все еще не доверяю времени и его столь внезапно предъявленным требованиям, но вот я ему не доверяю, а оно наказывает меня забвением. Даже ты забыла меня, дорогая Софи. Столько всего случается, что многое невольно забываешь. Нас всех забудут, если мы не примем вызова времени. Разве тот, кто забывает, счастлив, а несчастлив лишь тот, кого забывают?

При этих словах Софи почувствовала укол в сердце, и горячая волна прихлынула у нее от груди и шеи к лицу, заливая его краской.

— А не обстоит ли дело наоборот? — продолжала Амариллис Лугоцвет.— Тот, кто забывает, лишает себя части собственной жизни, а тот, кого забывают, теряет только часть жизни другого.

— Так, наверно, и следует на это смотреть,— смущенно прошептала Софи.

Взгляд Амариллис Лугоцвет вернулся от далекого и неопределенного к определенному и близкому.

— Ты не должна чувствовать себя виноватой. Вернее сказать, не должна чувствовать себя более виноватой чем мы все. Время обогнало нас, и все мы в той или иной форме понесли от этого урон.

— Я родила ребенка, но матерью никогда не была — сказала Софи.— Я столько всего упустила ради того чтобы ничего не упустить.

Не надо быть несправедливой,— возразила Амариллис Лугоцвет и опять погладила Софи по руке.—В том числе и по отношению к самой себе. Вспомни, какое положение было у тебя в то время.

— Но кто, кто возвратит мне те годы?

— Никто.— Амариллис Лугоцвет допила остатки чая из своей прозрачной фарфоровой чашки.— Вместо тех лет у тебя были другие, не очень хорошие, но и не очень плохие годы. Быть может, ты все равно задала бы этот вопрос, если бы и прожила свою жизнь, как настоящая мать. Даже я не могу с уверенностью тебе сказать, так бы это было или не так. Теперь ты взялась за ум, и воспоминания придут сами собой. А воспоминания — это как бы вторая жизнь, которая ставит под сомнение первую, уже прожитую, со всеми ее упущенными возможностями,— она словно открывает их вновь. Не поддавайся же унынию, даже если жизнь со вновь ожившими воспоминаниями окажется иной, чем жизнь в забвении. Воспоминания тоже со временем теряют силу,— ты снова забудешь, забудешь иную, возможную жизнь, и пока твоя память будет погружена в сон, тебя ничто не сможет смутить. Только сделай правильный выбор. Не «все или ничего», а многое, но не слишком.

Софи сидела на прежнем месте, не двигаясь, устремив взгляд в неведомое. Чай в ее чашке,— Амариллис Лугоцвет уже раз его доливала,— остыл, а нога, на которой все еще покоилась голова Макса-Фердинанда, затекла, и когда Софи наконец встала, от бедра вниз у нее побежали мурашки.

— Ты не будешь на меня в обиде,— обратилась она к Амариллис Лугоцвет,— если я сейчас уйду? Мне надо идти, идти и по дороге вспоминать. Сидя я совсем теряюсь.

Амариллис Лугоцвет расцеловала ее в обе щеки.

— Что бы ты ни решила, это будет твое решение, на сей раз — твое. Воспоминания помогут тебе познать себя. Не давай им тебя мучить, они ведь тоже часть тебя самой. Ты должна воссоединить все части в единое целое.

Рука об руку они дошли до дороги, и Софи зашагала по направлению на Обертрессен, пользуясь зонтом как тростью. И пока она шла по каменистой пешеходной дороге, мерное позвякивание зонта о камни слилось для нее в один-единственный звук, в одно слово, громом отдававшееся у нее в ушах. Сын, сын, сын...

Это произошло вскоре после смерти Зильбера. Она получила ангажемент в небольшом выездном театре, и ей часто казалось, будто она не играет в театре, а выступает в цирке. Роли ей поручала крошечные, зато их было много. Нередко ей приходилось брать на себя до пяти ролей к одной и той же пьесе, а играли они большей частью экспромтом, и она же выполняла любую вспомогательную работу, которая только может потребоваться на сцене.

Кроме того, она еще заменяла неявившихся коллег, бегая по сцене в слишком широких для нее костюмах и с приклеенными усами. Она танцевала, кувыркалась, ходила по канату, изображала медведя или лошадь, а если надо, то и эльфа, который один-единственный раз мелькал во сне главного героя, или же какого-нибудь кобольда.

В роли Румпелыптпльцхена она имела успех, в роли Геновевы ее освистали, и она проваливалась до тех пор, пока с годами, без особого напряжения, не поднялась от таких ролей, как Румпельштильцхен, до таких, как Геновева, и публика даже выражала желание увидеть ее в роли феи.

Однако и в самом начале ее кочевой жизни, каждый раз, когда ей приходилось играть короткие, веселые роли в длинных невеселых драмах, на сердце у нее было тяжело от сознания, что она осталась одна на свете. Неприязнь к миру чистых, незапятнанных, из которого ее изгнал грязный шум, поднятый вокруг смерти Зильбера, так ее ожесточила, что все мерзости жизни бродячих комедиантов не могли заставить ее вернуться в столицу, тем более — в актёрское училище.

Наоборот, она старалась выставить себя эдакой маленькой стервой, которая не может ужиться на одном месте и с одним и тем же мужчиной дольше, чем два-три дня. А если кто-то из странствующих актеров, которых она отныне считала своей единственной и настоящей семьей, оказывал ей какую-нибудь любезность, она платила ему за это дороже, чем стоила сама услуга. И где бы они ни раскидывали свой лагерь, на ночь она залезала то к одному, то к другому из коллег под призывно откиннутое одеяло. Если она и не всегда делала это ради удовольствия, а просто потому, что одна в своей постели не могла заснуть от натиска беспокойных мыслей, то все же нередко ей бывало приятно, словно она принимала неожиданно вкусное лекарство от жестокой хронической болезни.

По натуре она была веселая и непосредственная, поэтому ее любили, и сложилось так, что труппа как бы взяла на себя по отношению к ней, самой младшей из всех, роль и матери и отца одновременно.

Даже трагическая героиня Карола не держала зла на Софи, когда та забралась в постель к ее партнеру Изану, великому трагическому злодею.

Разумеется, все они знали историю про нее и про Зильбера, но не мусолили ее — в худшем случае, отпускали во этому поводу какую-нибудь безобидную шутку. Они звали ее своей «маленькой графиней», и так как Софи не считала для себя зазорным, засучив рукава, работать вместе со всеми по установке декораций, воздавали ей за это всяческой помощью. А эта помощь заставляла Софи еще больше стараться во всем походить на них и быть с ними заодно. Отсюда и усвоенный ею богатейший набор ругательств,— их поистине стоило послушать,

Софи долго не хотела верить, что она беременна, но когда этого уже нельзя было скрыть, то не последовало ни изгнания из труппы, которого она втайне боялась, ни бранных слов, Поскольку в грехе подозревались все лица мужского пола,— Софи при всем желании не могла бы сказать, кто отец ее будущего ребенка,— то ей, с редким единодушием, оказала поддержку вся труппа; Судили и рядили о том, как поступить, пока директор театра, единственный, кто в силу своей должности еще сохранял связь с миром обеспеченных к благополучных, не вызвался найти ребенку приемных родителей — таких, которые растили бы его без принуждений, чтобы впоследствии он мог примкнуть к бродячим комедиантам по доброй воле, во не рос бы непосредственно в их среде. Это предложение сочли разумным, оно было принято, а Софи, сама еще почти ребенок, подчинилась решению труппы, словно во сне, радуясь в душе тому, что ее не исключают из этого мирка, в котором она только-только начала жить, ощущая свою принадлежность к нему.

Теперь она размышляла о том, что ей, в сущности, даже не дали времени подумать. Пока было можно,— а благодаря ее молодости и худобе можно было очень долго,— она продолжала играть и работать, и даже в последние месяцы беременности ее никак нельзя было убедить не появляться на сцене в ролях, которые она в ее состоянии еще способна была играть.

Лишь в последние недели беременности, когда она была вынуждена спать одна, она стала лелеять мысль о том, чтобы оставить ребенка у себя и вырастить его самой. Но сколько она ни ломала голову, пытаясь найти какой-нибудь путь, чтобы осуществить это заманчивое представление, фантазия ей отказывала, и приходилось сдаваться.

Директор, сам выходец из буржуазной семьи, действительно нашел для мальчика приемных родителей — своего брата, учителя, и его жену. Люди бездетные, они заявили, что готовы взять ребенка, если Софи, в свою очередь, готова отдать его сразу же после родов. Таким образом им всем придется меньше страдать. И после того как труппа долго и красноречиво убеждала Софи, она дала согласие.

Родила она так неожиданно и быстро, что к ней не успели даже вызвать врача. Старая повитуха, которую второпях привели из деревни, расположенной невдалеке от ночлега труппы, помогла, насколько еще надо было помочь. Не прошло и двух дней, как учитель с женой приехали за новорожденным. Сошлись на том, что мальчику дадут имя Клеменс, а Софи успокоили, заверив ее, что со временем, когда у нее будет более обеспеченная жизнь, она сможет взять ребенка к себе. Но ради блага ребенка, чтобы не нарушить его нормального развития, этого не следует делать до достижения им четырнадцати лет, то есть не ранее того времени, когда он сможет принимать решения сам.

Без слез, сухими глазами, смотрела Софи, как жена учителя завернула младенца в заранее припасенные теплые пеленки и одеяльца, прижала к своей большой груди, успокаивая его всеми теми бессмысленными звуками, на которые так изобретательны няньки, когда им надо расположить к себе ребенка. На прощание учительша поцеловала также Софи и со слезами пообещала ей, что дитя не будет знать недостатка ни в чем, ну ни в чем решительно. После этого они уехали. Адрес их знал только директор.

Через несколько дней Софи начала медленно пробуждаться от своей апатии, окруженная заботой и ласками всей труппы, которая первую ее улыбку отметила маленьким праздником. Внешне она скоро опять стала прежней; Стала опять «маленькой графиней», всеобщей любимицей, да и в душе не переживала трагедии. Только время от времени ощущала внутри какую-то странную пустоту, которую не могла объяснить себе ничем иным кроме как утратой ребенка. Но в своей наивности она переосмыслила тоску по ребенку в ощущение физической потери — потери живота, ей не хватало его, и моментами у нее ломило поясницу, словно она все еще

на сносях.

В последние недели перед тем, как разрешиться от бремени, она снова приучилась спать одна, и если дальше, по истечении шести недель, этого уже и не делала, то все же стала осторожнее, равно как и ее партнеры, с тем успехом, что больше она ни разу не забеременела.

Ее товарищи делали все, чтобы заставить ее забыть о ребенке. Никто о нем не заговаривал, в том числе и директор. А Софи все больше боялась о нем спросить. Она настолько засомневалась в его существовании, что иногда даже спрашивала себя, действительно ли она его родила или все это ей пригрезилось и теперь она только время от времени принимает эти грезы за реальность. Когда однажды, собрав все свое мужество, она спросила директора, как поживает маленький Клеменс,— она и тут не осмелилась сказать «мой ребенок»,— он отвернулся от нее, словно что-то другое приковало его взгляд, и сказал: «Ну, как он поживает — разумеется, хорошо. Но больше не спрашивай — без толку».

С этого дня она перестала задавать вопросы, утешая себя мыслью, что мальчику во сто крат лучше там, где он сейчас, чем было бы у нее, ведь она так неопытна и беспомощна.

Конечно, позднее, когда она станет артисткой, а он будет уже достаточно взрослым, чтобы ее понять, она даст ему хорошее образование и, если он пожелает, возьмет его к себе. Прежде всего она возьмет его под защиту от заботливой властности приемных родителей, если он, например, пожелает выбрать себе не ту профессию, которую они для него наметили,— иначе как заботливыми и властными она себе приемных родителей не представляла. Позднее она, конечно, сможет быть ему более полезной, твердила она себе, если он будет нуждаться в чуткой собеседнице, покровительнице или в ком-то еще. Она сделает все, чтобы ему помочь, если только она ему со временем понадобится — она и ее помощь, когда бы это ни произошло.

Два года спустя по воле обстоятельств труппа распалась. Смесь напыщенной патетики, цирка и балагана,— труппа постоянно таскала за собой будку, в которой посетители могли стрелять по бумажным розам, причем Софи нередко приходилось ее обслуживать,— во время начинавшегося экономического бума это уже мало кого привлекало. Люди не желали больше грошовой роскоши, которая слишком напоминала им то убожество, каким они вынуждены были довольствоваться в худшие годы, и предпочитали что-нибудь более солидное.

Директор не располагал достаточными средствами для того, чтобы, в соответствии с новыми вкусами, придать солидность своему маленькому зрелищному предприятию. Он и так достаточно долго откладывал окончательный роспуск труппы, но когда уже ничего другого не оставалось, то, хоть при прощании и лились горькие слезы и произносились клятвенные заверения вроде: «Вовек не забудем, до гроба!» — все же на самом деле многие были искренне рады, если им удавалось где-то пристроиться — в другой театре, в более крупном цирке или в парке с аттракционами какого-нибудь большого города, снова регулярно получать жалованье и досыта есть.

Софи, трагическая героиня Карола и благородный разбойник Изак, единственные в труппе, кто имел притязания на искусство, были приняты,— это директор еще смог для них сделать,— в один из тех разъездных театров, которые в известной мере поощрялись государством и имели своей задачей нести культуру в деревенское захолустье.

Софи снова начала с Румаелыптильцхена и упорным трудом возвысилась до Спящей Красавицы и Белоснежки. А когда она доказала свои разносторонние возможности, играл и Красную Шапочку, и Снегурочку, то взобралась уже на следующую ступень и получила право выступать перед старшими школьниками или

даже взрослыми.

Чем-то эта жизнь ей нравилась. Она была уже достаточно закаленная, достаточно взрослая, чтобы прекрасно спать по ночам в одиночестве, не боясь кошмарных сновидений. Теперь даже получалось так, что из-за множества выездов, пусть и недалежных, но каждый раз завершавшихся представлением, она валялась в постель смертельно усталая, способная только воскресить в памяти последний взрыв аплодисментов, чтобы уяснить себе, какая их часть относилась именно к ней.

В отличие от своих товарищей и товаров, она не учила роли в автобусе, во время поездок. Заняв местечко у окна она любовалась пейзажем, вернее — впивала его в себя пытаясь запечатлеть, заприметить то, что ей удавалось разглядеть, в результате чего через какое-то время лучше помнила церковные шпили, фруктовые сады, реки и озера, хотя и не усвоила их названий, нежели события своей собственной жизни.

Она почти никогда не хворала, но однажды, когда ей надо было играть в поселке, где она родилась и выросла, у нее началась тяжелая ангина, так что не пришлось даже ломать голову и выдумывать, почему она ни в коем случае не желает здесь выступать.

Нельзя сказать, чтобы она никогда не вспоминала о мальчике. Особенно выступая в сказках перед маленькими детьми, она часто думала о том, что среди них мог быть и маленький Клеменс. Она не знала точно, где, в каком из городков и местечек он живет, а значит, он мог оказаться в любом. Наверно, этим и объяснялось, что, в противоположность другим актерам, играя перед детьми, она всегда выкладывалась до конца, за что они благодарили ее восторженными криками.

У нее был адрес ее бывшего директора, который поселился в столице и занимался организацией зрелищ в увеселительном квартале. Время от времени она ему писала, чтобы удостовериться, что адрес все тот же. Он единственный знал, где и у кого подрастает Клеменс.

Может быть, именно потому, что ее так хорошо принимали дети, ее все чаще заставляли играть в сказках. Так она добралась до ролей фей или фантастических существ; почти все эти роли были тоже маленькие, а она давно стремилась получить роль комического персонажа, распевającego куплеты, или коварной Коломбины.

Дела ее шли неплохо. С годами в ее артистической карьере стали замечаться некоторые сдвиги. Иногда ее уступали на время какому-нибудь стационарному театру, и она без особого труда могла бы получить в таком театре ангажемент, если бы задалась такой целью. Но у нее не было большой охоты становиться оседлой. В разъездах лучше забывалось. Только попав в Бургтеатр, она могла бы всерьез об этом подумать. Но в Бургтеатр она не попала, возможно, потому, что там даже не знали о существовании Софи Зильбер, за что она долго на них дулась,

Софи была убеждена, что давно отыскала бы и взяла к себе маленького Клеменса, если бы ею вовремя заинтересовался Бургтеатр, если бы она стала звездой, которую иногда можно увидеть также и в кино или по телевидению. А так она стыдилась обещания, которое когда-то дала себе и ему, — о его выполнении пока что нечего было и думать, — и продолжала мотаться с места на место, иногда подолгу не вспоминая о сыне.

Всегда находились мужчины, которые ей нравились, с которыми было легко поладить, кое-кто даже недолго ездил за нею следом, чтобы доказать серьезность своих намерений. Но среди них не было ни одного, за кем поехала бы она. Так она и оставалась одинокой женщиной, всецело преданной своей профессии, как она объясняла своим поклонникам.

В один прекрасный день, — к этому времени она уже играла во многих театрах, — ей пришло в голову, что неделю тому назад Клеменсу исполнилось четырнадцать лет. К своему ужасу, она никак не могла найти адрес директора и

вынуждена была со стыдом признаться себе, что уже давно не писала ему и не знает, где он обретаётся, да и жив ли вообще.

В первом приступе раскаяния она было хотела искать Клеменса через Красный Крест и объявить о розыске по радио. Но потом одумалась. Куда она его денет? Взять мальчика к себе при ее кочевой жизни было невозможно. Он должен ходить в школу. Что же, значит, просто явиться к нему, полюбоваться и сказать: «Привет! Я твоя мама. К сожалению, после обеда я должна уехать первым же поездом, чтобы вовремя успеть на спектакль».

Если раньше она только стыдилась, думая о сыне и о той роли, какую играла в его жизни, то теперь ее охватил страх. Страх перед тем, что он воззрится на нее и спросит свою приемную мать: «Мама, кто это?» И приемная мать обнимет его за плечи и попытается объяснить, какое отношение к нему имеет она, Софи.

Она вспоминала, какую в четырнадцать лет была сама, что уже тогда понимала и чего не понимала. О, боже, ведь он будет смотреть на нее самыми критическими глазами в мире, но понять ничего не поймет. Она уже так долго ждала возможности познакомиться с ним, увидеть его, что сможет прождать еще два года. До тех пор, пока он поймет, хотя бы немножко лучше поймет, как все случилось.

Страх перед тем, что сын ее не поймет, что придется еще раз все прояснять и объяснять, мешал ей отыскать Клеменса и в последующие годы. При этом она медленно и неуклонно приближалась к столице, где ее ждала квартира Зильбера, которой пока что она пользовалась лишь изредка. Она уже иногда играла в столичных предместьях, была принята в ансамбль театра, обслуживавшего ближние окрестности, и отчетливо сознавала, что ее кочевой жизни скоро придет конец. И когда ей было сделано долгожданное предложение, а именно — постоянный ангажемент в одном из театров столицы, она его приняла.

Таился в ней и другой страх, поменьше, понезаметней, но все же он ее не покидал. Страх при виде сына узнать, кто его отец. Ей так и не удалось выяснить, кто был ее собственный отец, а потому она не желала знать, и кто отец ее ребенка. Человек, которого она давным-давно оставила позади, погребенный на самом дне ее памяти, может вдруг всплыть из глуби лет, если в лице мальчика проглянут какие-нибудь его черты. Может быть, она даже с ним встретится, и сознание того, что это отец ее ребенка, представит его в ином свете, она тоже станет для него иной, а изменить уже ничего нельзя.

Ей казалось пошлым искать среди всех ее любовников в труппе,— а некоторые годились ей в отцы,— отца своему сыну. Она не желала, чтобы один из них выступил вперед и присвоил себе значение, которое ему вовсе не подобало. Разве он сделал что-нибудь такое, чего не делали другие? Разве она любила его сильнее остальных? Или он, отец ребенка, был ей особенно дорог? Она могла бы ответить на эти вопросы, лишь узнав, кто это был. Мысль о том, что прошлое можно еще изменить задним числом, представлялась ей пустой и несостоящей. Нужно ли, чтобы свет вдруг упал на какое-то определенное лицо, которое было так надежно укрыто всеутешающей тьмой?

Сможет ли она удержаться и не искать в лице мальчика еще чьих-то черт, кроме своих собственных? Если этот меньший и не столь заметный страх и не был для Софи решающим, то все же он служил еще одной причиной, почему боязнь познакомиться со своим ребенком с годами лишь возрастала, вместо того чтобы идти на убыль, как она ожидала.

Случилось это в антракте одного спектакля в том большом столичном театре, куда ее пригласили для пробы, имея в виду предстоящий ангажемент. К ней в уборную неожиданно вошла пожилая полная женщина и сказала, что ей непременно надо с ней поговорить. Софи тотчас же ее узнала, хотя прошло почти восемнадцать лет. Женщина была в трауре, и Софи не ошиблась, предположив, что

ее муж, учитель, недавно умер.

— И как раз теперь,— сказала вдова,— когда мальчик поступает в университет...

— А мальчик где? — спросила Софи.

— Тоже здесь.— Женщина высморкалась и продолжала: — То и дело бегают в театр парнишка, хоть одним глазком да посмотреть.— И, не выдержав, улыбнулась сквозь очки, все еще утирая слезы платком.— Что поделаешь, это в нем кровь говорит.

И тут Софи поняла, что эта женщина, жена учителя, была ее сыну хорошей матерью,— он, видимо, так много значил для нее, что она не испытывала никакой ревности.

Обе женщины сговорились встретиться на следующий день. Учительша приехала с мальчиком в столицу всего на несколько дней, чтобы подыскать ему квартиру с пансионом, потому что с осени он начинает учиться. Они остановились у старшей сестры ее покойного мужа, но там ей устроить мальчика не удастся. А директор цирка тем временем уехал в Австралию.

Когда Софи снова вышла на сцену, она стала обшаривать глазами зрительный зал, ища знакомое лицо, чтобы рядом с ним увидеть другое — незнакомое и все же такое родное. Но это ей не удалось, и она была вынуждена отказаться от своего намерения. И тогда она начала играть, как еще никогда не играла на этой сцене, так ей случалось играть только в сказках. Она хотела произвести впечатление на своего мальчика. Если он до сих пор ничего не получил от своей матери, то пусть получит хоть возможность восхищаться ею. Можно было подумать, будто она хочет ему доказать, какой замечательной артисткой стала за то время, пока жила в разлуке с ним. Когда в тот вечер она вернулась домой совершенно без сил, то долго не могла заснуть и все пыталась представить себе его лицо.

На яругой день, собираясь в кафе, где она условилась встретиться с женой учителя, Софи особенно тщательно занималась своим туалетом. Конечно, чтобы толком обо всем поговорить, им надо встретиться с глазу на глаз. Но ведь тогда она опять не увидит мальчика. А как она этого жаждет,— казалось, теперь, во прошествии восемнадцати лет, она не может больше ждать ни дня. Она спросит учительшу сразу же вслед за тем прийти к ней с мальчиком, чтобы она наконец-то, наконец могла как следует на него насмотреться.

Когда она вошла в кафе и увидела, что он сидит рядом с учительшей, ее чуть не хватил удар - ей казалось, что она сейчас упадет. Ее смятение было так велико, что в первые минуты она не могла поднять на него глаза.

— Он все равно уже знает,— сказала жена учителя, словно желая избежать ненужных объяснений.

— Да, я все равно уже знаю,— сказал сын.— Но как вы вчера играли... как ты играла,— поправился он, будто, говоря ей, родной матери, «ты», хотел тем доставить ей удовольствие. Но при этом все-таки покраснел.

Софи не знала, как ей себя держать. Счастье еще, что она научилась выказывать самоуверенность в ситуациях, когда ей скорее хотелось заплакать.

— Для начала посидим-ка здесь в свое удовольствие,— бойко сказала Софи и сделала знак кельнеру.

Мальчик, Клеменс, был похож на нее, только намного выше ростом. Быть может, именно это сходство заставило Софи разглядывать его критическим оком. Она заметила густые темные волосы, но также и красные пятнышки на крыльях носа. Прыщи? Или следы от укуса насекомых? С помощью учительши разговор стал завязываться, хотя и с трудом, но удивительно было, что сын казался ей старше, чем она сама. Его спокойствие, подчеркнутая почтительность, какую он ей выказывал, чтобы не причинить боль и дать освоиться с новой ситуацией. Он держался так

уверенно, в то время как она чувствовала себя менее уверенно, чем когда-либо.

Она все годы готовилась к тому, что ей придется ему что-то объяснять, придется объяснять все или, по крайней мере, присутствовать при том, как это будут делать другие. Теперь же оказалось, что объяснять ничего не надо, во всяком случае, не понадобится долгое время. Когда-нибудь, когда они уже очень хорошо узнают друг друга, она должна будет, она сможет поговорить с ним обо всем. А до тех пор ей надо смириться с тем, что он, с грехом пополам, принял все, как есть, не подавая виду, что встреча с ней произвела на него большое впечатление. Иди из них двоих он более искусный актер?

Жена учителя вскоре перешла к делу. Мальчик хочет получить образование. К тому же выбрал он нечто из ряда вон выходящее,— жена учителя виновато улыбнулась но потом, одумавшись, сказала, что и в этой науке, наверное, что-то есть — в науке о театре. А поскольку учитель, кроме пенсии, мало что оставил, то она, учительша, пришла к мысли, что у госпожи Зильбер они скорее всего найдут понимание и материальную поддержку. В конце концов ведь она тоже сможет немножко гордиться мальчиком,— в детстве он, правда, был сорванцом, но вот вырос — и прямо ума палата.

— Ну конечно,— сказала Софи, радуясь, что речь зашла о конкретных желаниях и потребностях. Она, конечно, зарабатывает не так много, как какая-нибудь звезда, да она отнюдь и не звезда, но когда бы ни понадобилась ее помощь — она с удовольствием ее окажет.

— Есть ли уже у мальчика жилье? — спросила она затем и невольно подумала о том времени, когда Зильбер предложил ей жить у него.— Я ведь получила в наследство квартиру, очень просторную, мы бы нисколько друг друга не стесняли.

Клеменса это предложение, казалось, застигло врасплох, но Софи прекрасно понимала его, а потому постаралась вывести из затруднения.

— Зайди-ка завтра,— она преднамеренно опустила слова «ко мне»,— и погляди квартиру. Если ты не захочешь, у тебя всегда будет возможность передумать.— И опять-таки, чтобы облегчить ему отказ: — Когда я была молоденькой девушкой, мне тоже хотелось жить одной. Но тогда дело было не только в этом...

Она заказала всем по бокалу шампанского с апельсиновым соком, потом еще по одному. После второго бокала жена учителя стала вся красная и принялась рассказывать истории из детства Клеменса, сплошь забавные пустяки, но все они неопровержимо доказывали его исключительность. Клеменсу это, по-видимому, было неприятно, а потому они вскоре распрощались, предварительно условившись о следующей встрече.

На другой день «мальчик», как она все еще называла его про себя, пришел к ней на полдник и даже принес цветы. Наверное, так ему велела учительша.

Софи налила ему кофе, положила на тарелку несколько кусков пирога, предложила и рюмку коньяку, от которой он не отказался, хотя пил явно без удовольствия, меж тем как она сама слишком много курила, да и пила больше обычного.

«Настоящий маленький ученый»,— думала она после того, как они порядочно времени беседовали о театре и выяснилось, что он хотя еще и не начал учиться, но разбирается во всем очень хорошо. Ее не покидало чувство, что она должна его во что-то посвятить. Ну хорошо, он знает, что его мать зовется Софи Зильбер, но известно ли ему, что она из рода фон Вейтерслебен? Поговорив с ним о том, о сем, она спросила, не хочет ли он что-нибудь узнать о ее жизни. Пусть они едва знакомы, но она все-таки его мать, и он вправе кое-что о ней знать.

— Да,— не сразу ответил он, видимо, хорошенько поразмыслив, какое из своих желаний может высказать вслух. Ему бы хотелось знать, не сохранились ли у нее

фотографии — сцены из давнишних спектаклей, в которых она участвовала. Особенно пятидесятых годов. А если да, то нельзя ли ему будет их переснять.

— Да, конечно,— ответила Софи, испытывая сразу и облегчение, и разочарование. Сейчас она посмотрит. Все фотографии хранятся у нее в коробке из-под обуви. Когда она принесла коробку, Клеменс принялся в ней рыться, в полном восторге вытаскивая то один, то другой снимок, пока не добрался до нескольких фотографий самой ранней поры, когда Софи еще работала в труппе, директором которой был брат его приемного отца.

— У меня дома тоже есть несколько фотографий,— сказал он.— На одной даже есть ты. Наверное, это дядя прислал ее отцу. Слава богу. Это ядро моей коллекции. А правда, что вы тогда еще импровизировали?

Софи все больше изумлялась. Она-то полагала, что Клеменс интересуется серьезным театром, его историей, а втайне подумывала о том, чтобы немножко подретушировать свои ранние опыты, а уж об импровизационном периоде вообще умолчать. Чтобы немножко блеснуть перед сыном, она была готова подлакировать свою биографию,— и вот тебе на! У него заблестели глаза, когда он заговорил об исконных, об истинных задачах театра. Нет, не серьезный, высокий театр интересовал его, а боковые ветви и линии, захиревшие формы. В устах любого другого такое обозначение раннего периода ее работы в театре — «захиревшие формы» — показалось бы ей оскорбительным, но Клеменс говорил об этом с таким энтузиазмом, что она не знала, что и думать.

И за все время ни единого вопроса, даже ни единого намека на вопрос о том, кто его отец. Его родной отец, который, возможно, присутствовал на одном из снимков, улыбался ему с фотографии,— они почти всегда улыбались, когда перед ними стоял фотограф,— а ни она, мать, ни он, сын, не узнавали его, да и не желали узнавать. В этом пункте в нем восторжествовала традиция фамилии фон Вейтерслебен.

После того, как он просмотрел все фотографии и каждую в отдельности, просмотрел по многу раз и Софи уже устала от всех объяснений и пояснений, которые он без конца от нее требовал, она предложила поводить его по квартире, показать комнаты, какие она могла бы ему предоставить, но она не настаивает — пусть он решает сам. После смерти Зильбера, бывая наездами в столице, Софи пользовалась только двумя комнатами. И вот теперь, когда они проходили по запущенным комнатам, где все оставалось таким, как при жизни Зильбера, то не только маленького ученого рядом с ней, но и ее самое охватило острое чувство нереальности. Софи сразу же попыталась его побороть, заявив, что сначала, правда, съездит в отпуск, но зато потом перевернет всю квартиру вверх дном, сделает ремонт, а весь старый хлам выкинет на чердак.

Она не успела договорить, как Клеменс уставился на нее полными ужаса глазами. Он бы ее очень просил, сказал он, ничего не делать сломя голову. Тут стоят такие красивые вещи, жалко будет их лишиться. Он с удовольствием поможет ей привести квартиру в порядок, только бы она обещала ему второпях ничего не продавать. Когда потом он принял предложение поселиться у нее, Софи заподозрила, что он делает это с единственной целью — уберечь от поспешной расправы все те старинные вещи, которые, по-видимому, так много значили для него.

Они сели, чтобы выпить на прощанье по рюмочке коньяку, и она спросила, что он думает делать в каникулы.

Один месяц, сказал Клеменс, он будет как практикант работать в отеле, а на остальное время до начала занятий в университете хочет податься в Грецию, пешком и на попутных машинах, может, еще и в Турцию, поваляться на солнышке.

Софи была рада уже тому, что он не заговорил о театрах, которые намерен там посмотреть, хотя она не сомневалась, что он не пропустит ни одной из достопримечательных руин.

Все-таки он хочет поваляться на солнышке, значит, и у него есть потребность в тепле, в ничегонеделании. — Один? Ты собираешься в Грецию один?

— Нет — Клеменс смотрел на нее с некоторым удивлением.— Анна едет со мной. Потом мы поедem на остров, где уже много лет живет ее брат, художник. Там мы пробудем, сколько сможем.

Софи никак не предполагала, что Клеменс мог уже обзавестись подругой. Она задала ему этот вопрос, имея в виду других возможных спутников — друзей-приятелей или какую-нибудь студенческую группу. Значит, едва обретя Клеменса, она должна будет опять его с кем-то делить. На секунду в ней всколыхнулось что-то вроде ревности, пока она не осознала, какого рода чувство на нее нашло.

— Сколько же ей лет, твоей Анне? — спросила она уже смиренным тоном.

Клеменс поднял на нее глаза.

— Шестнадцать. С ней полный порядок. Через два года получит аттестат зрелости и тоже приедет сюда. Она хочет стать врачом.

— Значит, вы вместе учились в школе?

Клеменс,— он явно не понимал, почему это ее так интересует,— отвечал как-то нехотя.

— Не вместе, а просто в одной школе. Я же сказал, ей осталось два года до окончания.

Софи не осмелилась спросить, будет ли Анна приходить к нему сюда и здесь ночевать. И она уже видела себя в совершенно новой для нее роли: как она готовит завтрак для молодой пары, которая после изнурительной ночи не торопится утром вставать. Представив себе эту картину, она не могла удержаться от улыбки.

Она спросила Клеменса, не подбросить ли им с Анной денег на дорогу, и он с благодарностью согласился, но благодарил с достоинством и от избытка чувств даже намекнул, что втайне на это рассчитывал.

С тех пор она его больше не видела. Конечно, он уже в Греции. И надо сказать, что она вовсе не постоянно думает о нем, как предполагала, опасалась и надеялась

У нее есть сын, и она еще посмотрит, чем это обстоятельство для нее обернется, если он действительно переедет к ней и она узнает его поближе, возможно, совсем с другой стороны, чем он открылся ей в первый раз.

Она взялась за ум, и впереди у нее новая жизнь. Оседлая и устроенная по-иному. Только не пытаться оказывать на него давление, твердила она себе. Не отогнать его от себя тираническим желанием им завладеть. Дружелюбие, ненавязчивая забота, общие интересы, но меньшей мере общий интерес к театру, хотя и с разных точек зрения. Так что же — нечто вроде объединения по интересам? От этого холодного термина ее пробрал озноб. Она чувствовала, что за все эти годы в ней накопилось столько любви к незнакомцу, что теперь, когда лицо незнакомца стало понемногу определяться, хотя бы частица этой любви должна была найти себе выход и вылиться в какую-то форму.

Мальчик, Клеменс — это ее будущее, а ее отношение к нему — это новый образ жизни. Квартиру, в которой она ни за что не хотела жить вместе с Зильбером, она разделит теперь с Клеменсом,— да, конечно, разделит, хоть он и просил ее предоставить ему только помещение бывшей домоправительницы Зильбера. Он сможет в любое время приводить к себе друзей... Она будет приглашать к себе своих коллег. Ее обступали все более четкие представления об этой новой жизни, пока она с изумлением и смехом не обнаружила, что давно стоит на перекрестке дорог, не в силах вырваться из плена воспоминаний хотя бы настолько, чтобы механически направиться к озеру черев Арцлейте.

Она стояла, склонившись вперед, все глубже вкручивая острие зонта в землю и уставившись на нее неподвижным взором, словно прожилки камней были

иероглифами, которые ей необходимо прочесть.

Возвратясь в настоящее одновременно из прошлого и из будущего, но все еще не вполне придя в себя, она взглянула на маленькие карманные часики и опять не сразу осознала, который час. Боже ты мой милостивый, скоро семь... Она прибавила шагу и так заспешила, что с потным, покрасневшимся лицом вошла в отель, полнившийся говором, смехом и веселыми возгласами.

Казалось, вся компания дам и мужчин только-только вернулась с прогулки. Аромат тончайших духов смешивался в холле с запахом влажных шерстяных плащей и сапожного крема, которым смазывают горные ботинки.

Кое-кто еще стоял у конторки портье, чтобы получить ключ от комнаты, теребил шейный платок или расстегивал роговые пуговицы на куртке, а тем временем на верхних этажах слышались постепенно затихающие шаги.

Софи здоровалась, и с ней здоровались тоже, подхватывала на лету, да и сама отпускала острые, а порою едкие шутки, казалось вполне естественным, что на ее присутствие рассчитывают и вечером.

Судя по экипировке гостей, маршрут их прогулки вел высоко в горы, к тому же за это время, по-видимому, прошел дождь, во всяком случае, в той части гор, куда они были приглашены в гости.

Когда подошла очередь Софи и ей был вручен ключ, то, повернувшись, чтобы идти, она случайно бросила взгляд на вторую дверь, ведущую в холл из парка, со стороны озера, и заметила какую-то даму, пробиравшуюся в отель довольно осторожно, или, прямо сказать, украдкой.

По всему было видно, что она не участвовала в прогулке, тем не менее в волосах у нее застряло несколько сверкающих капель. Это была одна из восточных дам, которым, несмотря на их внешность, очень шел штирийский наряд. Софи обратила внимание, что вторая, похожая на китаянку, очевидно, ждала подругу и теперь тихо, но настойчиво ее расспрашивала. Не желая показаться любопытной или нескромной, Софи ненадолго отвела глаза, но потом все же не могла удержаться и, начав медленно подниматься по лестнице, кинула еще один беглый взгляд на обеих дам, чья восточная грация и изысканная экзотическая красота необычайно нравились ей. Она увидела, как красавица-персиянка смущенно пожала плечами и развела руками,— жест, который мог означать многое,— но тут же взялась рукой за тонкую золотую цепочку, висевшую у нее на шее, и вытащила из-за пазухи подвешенный на цепочке коралл в золотой оправе — даже издали было видно, какой это роскошный экземпляр; китаянка рассматривала его глазом знатока.

Софи не знала, что и думать, она устыдилась своего любопытного взгляда и с виноватым видом опустила глаза, чуть не влетев при этом прямо в объятия Альпинокса,— он, очевидно, только что проводил какую-то даму до дверей комнаты и теперь спускался по лестнице.

— Надеюсь, чаепитие у славной Амариллис доставило вам удовольствие,— смеясь, сказал Альпинокс, он положил руну ей на плечо и этим предотвратил столкновение. Софи никак не могла привыкнуть, что о ней как будто бы все всем известно, и в досаде молчала.

— Она варит изумительный кофе, а уж о ее чае и говорить не приходится, только вот временами наша славная Амариллис бывает склонна к глубокомыслию. Надеюсь, вы там не чувствовали себя жертвой. Конечно, она права заявляя то, что вы слышали. Только порой ей не хватает чуткости, чтобы объяснить некоторые вещи осторожно, не в лоб.

В эту минуту они подошли к комнате Софи. Альпинокс вежливо поцеловал ей руку и попрощался, выразив уверенность, что за ужином они непременно увидятся.

Софи устала и чувствовала себя измотанной от долгой череды лет, которые она мысленно прожила снова. Она бросилась на кровать, жадно вдыхая уже знакомый

ей аромат огненных лилий, поражавших своей нетленной свежестью, и пыталась расслабиться, чтобы вечером выглядеть бодрой и отдохнувшей.

Лежа вот так в наступающих сумерках, она услышала шепот и шелест, они перекатывались по ее комнате, словно волны невидимого потока. Эти звуки и шорохи казались ей знакомыми, но она ничего не могла разобрать. Будто на этот раз ее не посвятили в тайну, у нее нет кода в она не может расшифровать таинственные послания. И все же ритм и звучание этого необыкновенного языка, током пробежавшего не только через ее комнату, но и через ее мозг, завладели всем ее существом. А когда в одной п.т соседних комнат кто-то еще запел, ее охватило неизъяснимое блаженство, она и думать забыла об усталости, о попытках расслабиться. Нет, сразу она не вскочила, для этого неожиданное освобождение от всего гнетущего было слишком сладостным. Она лишь ощутила, как в ней спадает напряжение чувств и вновь приливают силы, она больше не разрывалась между прошлым, настоящим и будущим, ее больше не пугали мысли о том, что было и что будет. Теперь ею владело только одно желание, и она отчетливо его сознавала: привести себя в наилучший вид и поужинать в приятном обществе. Когда пение смолкло, а вместе с ним шелест и шепот, Софи надела под «дирндль» чистую блузку и расчесала волосы щеткой, отчего они сразу заблестели. Кожа у нее стала мягкой и гладкой, какой не была уже давно, и если бы она и без того не верила в омолаживающее воздействие свежего воздуха и долгих прогулок, то один взгляд в зеркало заставил бы ее в это поверить.

Последняя зима наступила очень рано, после недолгой дождливой осени, и выдалась необычайно суровой. Озера Штирийского Зальцкаммергута покрылись толстым слоем льда, по которому в будни ездили пароконные сани, груженные бревнами, а по воскресеньям и праздникам носились игроки в «ледяные кегли», по расчищенным дорожкам со свистом летели деревянные шайбы.

В январе, когда солнце опять засветило поярче, на ледяную гладь озера высылало много народу — старики и молодежь, гуляющие, конькобежцы и детишки на санках, которые они катили вперед, отталкиваясь палками.

Если глядеть сверху, то ледяной панцирь представлялся исчерченным причудливыми следами — можно было подумать, будто эти знаки нанесены для того, чтобы поведать неземным существам о нравах и обычаях здешних иштелей.

В тот год и Амариллис Лугоцвет получила приглашение участвовать в знаменитых женских играх в «ледяные кегли»; из-за снежных завалов ей доставили его с большим трудом, — ведь даже ребятишки, ходившие колядовать со звездой и в течение многих лет забредавшие к ней сюда под рождество, на сей раз не одолели подъема. Поэтому не принять приглашение было бы просто неудобно.

Единственной представительницей рода фон Вейтерслебен была в то время Сидония — веселая, темпераментная девушка, которая давно уже достигла возраста невесты, но все никак не могла выбрать своему будущему ребенку отца. Итак, в ясный, хотя и жгуче-морозный день Сидония и Амариллис Лугоцвет, ранее уже встречавшиеся и, как подобало случаю, одетые в мужское платье, после обеда отправились вниз, к озеру, где игра в кегли на льду была в полном разгаре.

Не желая привлекать к себе внимание, Амариллис Лугоцвет, что называется, поставила свою свечу под сосудом: била не в полную силу, а свое волшебное искусство пускала в ход лишь на пользу Сидонии, стараясь помочь ей проявить скрытый природный талант к этой старинной игре. И вот когда начало смеркаться, что в это время года происходит довольно рано, не кого иного, как Сидонию провозгласили королевой кеглей и с почестями проводили в нанятый для праздника трактир. Этих почестей она оказалась вполне достойна — ее бойкий язычок позволял ей не оставаться в долгу у самых языкатых женщин округа.

Рассевшись на деревянных скамьях, участницы состязаний пили знаменитый «лупичер» — чай с ромом, где, как говорили, было больше рома, чем чая,— закусывали «заячьими ушками», столь же знаменитым соленым печеньем, и хотя всем им еще приходилось греть застывшие руки о большие чайные кружки, языки уже оттаяли и работали вовсю — насмешки и шутки так и летали между столами.

Амариллис Лугоцвет, которой важно было оставаться в тени, не могла нарадоваться на остроумную Сидонию. Окрыленная «лупичером», та превзошла себя и не только успешно отражала словесные атаки, теснившие ее со всех сторон, но и сама наносила меткие удары, так что зал сотряслся от визгливого хохота женщин в мужской одежде, нередко — с намалеванными усами, меж тем как кое-кто из мужчин, прижавшись снаружи к стеклу, пытался выяснить, в чем причина смеха, до тех пор пока Сидония не приказала задернуть занавеси, а самых нахальных парней, тех, что то и дело совали нос в дверь, вытолкать вон.

Сидония была, пожалуй, не самой приятной из дам фон Вейтерслебен, но зато самой большой затейницей. В какое бы общество ни случалось ей попасть, она вскоре становилась его душой, остроумия и находчивости ей было не занимать. Из всех фон Вейтерслебен у нее единственной был настоящий контакт с местными жителями. Она первая в семье не занималась с домашней учительницей, а ходила в местную школу и потому близко знала большинство своих сверстников, условия и обстоятельства их жизни. Потом она недолгое время пробыла в пансионе, откуда ее вскоре отослали за паясничанье и тоску по дому, которая на нее находила приступами.

У Сидонии был живой ум, а ее семья владела большой библиотекой, так что она по собственному почину быстро наверстала упущенное в пансионе, изучив все достойное изучения, и потому во время путешествий, которые совершала вместе с матерью, могла в худшем случае обнаружить пробел в знании этикета, но никак не в образовании,— наоборот, ей случалось блеснуть своими познаниями, хотя подчас на клоунский манер, от чего молодые люди, избранные для нее матерью в качестве возможных кавалеров, приходили в недоумение, однако Сидонию это не обескураживало: ее представление о подходящих для нее кавалерах сильно отличалось от представлений ее матери.

В поселке недолгое время поговаривали о романе между Симонией и старшим горным мастером соляных копей, по после того, как его перевели в другое место, а никаких признаков, что на свет вскоре явится новая девица фон Вейтерслебен, не замечалось, сплетни сами собой угасли, как в День поминовения гаснут свечи, зажженные в День всех святых. Сидония, когда ей на это намекали, в ситуациях, подобных сегодняшней, отвечала с полной невозмутимостью, да так потешно, что у местных жителей вскоре пропала охота язвить по поводу старшего горного мастера.

Несмотря на присущий ей дар предвидения, Амариллис Лугоцвет не представляла себе, каким образом Сидония фон Вейтерслебен исполнит долг, за несколько поколений до нее возложенный на ее род, а теперь и на нее самое — зачать и родить дочь. Сидония как будто больше симпатизировала женщинам, чем мужчинам, с годами эта ее склонность усиливалась, и только ее острый язычок и природная находчивость мешали жителям поселка обратить внимание на это обстоятельство и, как бывает в подобных случаях, чесать языки и указывать на нее пальцем.

Сидония была из тех женщин, которые умеют взять свое, во всяком случае, если дело касается исполнения личных желаний, и когда ей удавалось, под видом комической сценки, невозбранно, у всех на глазах, поделывать то, что требует покрова тайны, то Амариллис Лугоцвет только диву давалась, хотя и не одобряла ее поведения. Так было и на сей раз. С нескрываемым удовольствием наблюдала она спектакль, который под оглушительный хохот остальных женщин

разыгрывала Сидония подражая повадкам мужчин — завсегдатаев трактира: сначала она хлопнула по задку кельнершу — единственную оставшуюся в женском платье, потом схватила ее за груди выступавшие из-под тугого льняного корсажа, наконец с силой посадила растерявшуюся молодую девушку рядом с собой на скамейку и начала ее тискать, напевая ей на ухо вязким голосом непристойный куплетец.

В этой сценке было обаяние непосредственности, свойственное любительскому спектаклю, но именно такая нарочитая беспомощность доказывала большое актерское дарование Сидонии фон Вейтерслебен,— она сидела с видом молодого ландграфа, который заигрывает с народом — в поздний час развлекается с прислугой и по своему добродушию еще и на другой день снисходит до разговоров в нею.

«Лупичер» и веселье так разгорячили женщин, что они поснимали свои грубошерстные куртки и шляпы, их подобранные наверх волосы рассыпались по плечам, но этого им было мало, они стали еще расстегивать воротники и верхние пуговицы рубашек, взятых напрокат у мужей и братьев, видно было, как из-за пазухи у них буквально идет пар, и, чтобы немного освежиться, они принялись обмахиваться большими льняными мужскими платками:

Сидония даже поцеловала в губы юную кельнершу, чем так перепугала девушку, что та в ужасе высвободилась из ее объятий, а Сидония залилась подчеркнуто жизнерадостным смехом и тем спасла положение.

«Надо что-то предпринять»,— подумала Амариллис Лугоцвет. У нее стал зреть некий план, и она уже сейчас испытывала острую радость, предвкушая, как будет проводить его в жизнь. Не впервой ей было осторожно направлять судьбы семейства фон Вейтерслебен. А раз дело идет о Сидонии — после Эйфемии, по прозвищу Фифи, самой любезной ее сердцу дамы фон Вейтерслебен,— то ее усилия разумеется, же пропадут даром. В эту минуту она чуть было не сделала промах — чуть было не закурила одну из своих собственноручно набитых сигарет, но поскольку в те годы да еще в таком месте и в чисто женском обществе купить еще было не принято, это могло бы привлечь к ней всеобщее внимание, а как раз этого она и хотела избежать.

Был уже поздний вечер, и те женщины, что, несмотря на «лупичер», еще сохранили ясный ум, надели опять свои куртки и подумывали о возвращении домой. Сидония же впала в типичную для нее летаргию и сидела, подперев голову руками, уставившись в одну точку, так что Амариллис Лугоцвет сочла момент подходящим, чтобы подсесть к ней и постепенно уговорить ее тоже пойти домой. Между тем в зал влезало все больше мужчин — они пришли проводить домой своих жен, и хотя их появление не обошлось без новых взрывов хохота а визга, нового подъема настроения не произошло. Сидония, побуждаемая к тому Амариллис Лугоцвет, покорно поднялась, и обе они, рука об руку, вышли в торжественно-морозную зимнюю ночь. Пока они шли вверх, к вилле фон Вейтерслебен, Амариллис Лугоцвет то и дело хлопала Сидонию по плечам и даже по щекам, чтобы растопить на ее лице застывшую, мертвенную улыбку, делавшую его похожим на маску, и вернуть ей живость и веселость. Лучше было не оставлять сейчас Сидонию одну, ибо ее настроение резко менялось — она от одной крайности переходила к другой. Поэтому Амариллис Лугоцвет приняла приглашение Сидонии, возможно, и не вполне искреннее, вылить с нею чашку кофе.

И вот вскорости, переодевшись в подходящие им платья я смыв нарисованные углем усы, они уже сидели возле искусно сложенной изразцовой печки, пили из маленьких фарфоровых чашечек кофе-мокко, приготовленный домоправительницей,— она еще не ложилась, настолько не терпелось ей узнать, каков исход состязаний,— грызли засахаренные фрукты или ореховое печенье и

рассказывали домоправительнице, как могли короче в занимательней, о ходе игр и последовавшем за тем сборище в трактире «Олень», дабы та, удовлетворившись, могла бы наконец лечь спать.

Сидония, которую кофе отчасти вывел из летаргии, предложила все же Амариллис Лугоцвет остаться у нее ночевать, и та с благодарностью приняла предложение, ибо имела для того множество причин: она надеялась, что в столь непосредственной близости от Сидонии ее осенит идея, как выполнить замасленный план, принимавшим все более четкие очертания.

— Дорогая моя,— сказала Амариллис Лугоцвет, и ладонь ее благожелательно легла на тонкую, но крепкую руку Сидонии.— Мне хотелось бы заглянуть в тайную тайных твоего сердца, чтобы составить себе более ясное представление о твоём будущем.

Сидония как-то вяло улыбнулась, тихонько вздохнула и, немного оттаяв, сказала, положив ногу на ногу:

— Я знаю, на что ты намекаешь.— И, закулив сигарету, взятую у Амариллис Лугоцвет (та давно уже приобщила ее к этому пороку), продолжала:— Но сама я не нахожу ничего такого в этой «тайной тайных», что могло бы порадовать мой взор. Мне сейчас двадцать семь лет.— Она поглядела вниз, на свои узкие бедра, и провела рукой по животу, словно ощупывая его на предмет выпуклости, которой, однако же, не было.— Как подумаю, что моя мать уже в девятнадцать лет исполнила свой долг...

— Пусть это тебя не огорчает,— возразила Амариллис— Не забывай — была война. Дело не в тебе одной.

Сидония покачала головой.

— Ничто меня так не заботит, как эта семейная традиция, и с каждым днем все больше.

— Ну так ведь никто тебя не принуждает продолжать традицию. Традиции тоже живут не вечно. Однажды они становятся традициями и однажды перестают ими быть.

— О нет,— восторгалась Сидония,— принуждать меня никто не принуждает. Но почему именно я должна поставить точку? Допустим, я доживу до восьмидесяти, до девяноста лет и все время буду терзаться мыслью, что положила чему-то конец, что сама я и есть — конец.— Она легонько топнула ногой.— Нет, нет, такого я на себя не возьму.— И, словно на что-то решившись, добавила: — Не так уж это, наверное, трудно. Придется немного поднатужиться, вот и все...

Амариллис Лугоцвет тихонько усмехнулась.

— Не могла бы я тебе чем-нибудь помочь? Сидония, казалось, действительно была озабочена своим будущим.

— Может быть, мы к этому еще вернемся. Нужен какой-то толчок.— Вдруг она звонко расхохоталась,— Мое тело вовсе не храм, куда нет доступа иноверцам. Только вот все эти лица... Мне нужны совсем другие...

— Карнавал! — воскликнула Амариллис Лугоцвет.— Подумай, ведь карнавал уже на пороге. Вот когда все лица — другие. Сидония рассмеялась.

— Разыгрывать из себя дурочку, чтобы на самом деле действовать умно? Что ж, это по мне. Это как раз по мне.

В этот миг Амариллис Лугоцвет любила Сидонию фон Вейтерслебен больше, чем когда-либо, и если бы не опасалась усугубить ее внутренний разлад, то непременно сделала бы ей какой-нибудь приятный сюрприз. Но она ограничилась тем, что ободряюще хлопнула ее по руке. Затем она удалилась в отведенную ей комнату, пообещав Сидонии, что переберет в уме разнообразные возможности,— это ведь самое подходящее занятие для того, чтобы скорее заснуть.

Амариллис Лугоцвет провела уже много лет в Штирийском Зальцкаммергуте,

она наблюдала, как являются на свет и уходят со сцены целые поколения, но у последнего, у того, к которому принадлежала Сидония, век оказался особенно коротким. Первая мировая война взяла с него тяжелую дань.

Амариллис Лугоцвет устояла против искушения переключиться на другое исчисление Времени, как поступило тогда большинство фей, она решила занять выжидательную позицию и стать свидетельницей событий — следить за ними острым глазом и обостренным чутьем. Чужане,— их воодушевление в начале войны привело ее в ужас и отчаяние,— вызывали у нее теперь такую жалость, что она призвала все свои потайные силы и пыталась помочь, где только могла,— поддерживала вдов, посылала хлеб сиротам, а покинутым невестам — сладостные грезы. Большого она сделать не могла, и ей пришлось с глубоким огорчением убедиться, что над многими сферами жизни чужан ее тайные силы безвластны. Ей не удалось отменить ни одного мобилизационного предписания или своими усилиями способствовать тому, чтобы охраняемый ею чужанин вернулся с фронта живым. И тогда она усомнилась в своих тайных силах, да и во всем своем волшебном естестве, и возжаждала другой, более действенной формы существования. То были страшные годы — годы, когда ей без конца приходилось возлагать руки на умирающих и помогать им при великой переправе, отсюда туда. Она так устала от множества смертей, что ее нарциссы, которым она иногда приказывала расти, поднимались из земли тусклыми и блеклыми.

Фон Вассерталь все эти годы скрывался у себя на дно озера, и нельзя было с уверенностью сказать, не пускался ли он время от времени в плаванье по большим рекам которые выводили его в моря и океаны. Во всяком случае она очень долго его не видела, и когда бывала честна с собой, то признавалась, что ей немножко больно.

Драконит, напротив того, бросился охранять свои сокровища и пытался по мере сил не допустить к ним воюющих властителей, которые рыскали повсюду и все переворачивали вверх дном. Он был так занят этим делом что почти не показывался на глаза.

Что касается Розалии Прозрачной, то она впала в глубокую депрессию,— ведь в поселке не осталось больше молодых мужчин, которые ей в угоду карабкались бы по скалам, и даже белые, что время от времени можно было видеть перед Триссельбергской пещерой, болталось уныло и вяло, словно отражая настроение своей хозяйки. Только эльфы, горные и водяные духи продолжали проказничать равнодушные к хаосу, в который ввергли себя чужане. Однако Амариллис Лугоцвет чувствовала себя в их обществе не настолько уютно, чтобы их веселье могло разогнать ее тяжелые мысли.

Только Альпинокс, как и она, сохранил привязанность к чужанам, но и его помощь им была напрасной тратой сил,— пожалуй, он тяжелее всех переживал, что не может ни остановить, ни изменить ход вещей.

—А можем ли мы вообще влиять на их судьбы? — громко, с ожесточением спросил он однажды, когда Амариллис Лугоцвет пригласила его к себе и они беседовали о печальных событиях.

—Мы ведь так долго верили, что можем,— тихо и смиренно ответила она.

—Да, в том или другом частном случае...— согласился Альпинокс. —Но война? Что это вообще за штука такая, почему мы против нее настолько бессильны? Видно это слишком уж чужанская, слишком уж чужемерзкая затея, и захоти мы воспрепятствовать ей даже ценою жертв мы все равно не смогли бы. —Альпинокс выпил залпом рюмку можжевельники. — Этакая глупость, этакая безмерная чужемерзкая глупость!

Разве мы иногда тоже не ведем себя глупо? — В последнее время Амариллис Лугоцвет так много размышляла о себе и себе подобных, что приступы

самобичевания были неизбежны.

— Вам лучше знать, почтеннейшая...- заметил Альпинокс, и на какой-то миг его лицо осветилось веселой и чуть насмешливой улыбкой, то был намек на все еще не состоявшийся роман между ними. Потом он с тревогой и яростью продолжал свою речь.— Но ведь наша глупость остается единичной. Наш брат либо делает глупость, либо не делает. Последствия ограничиваются его личной сферой.— При этих словах он не преминул глубоко заглянуть в глаза Амариллис Лугоцвет.— А вот глупость чужан разрастается вширь, множество разных глупостей сливается в одну огромную глупость, которая ведет к катастрофе.

Амариллис Лугоцвет вздохнула. Одним из немногих фактов, которым она еще могла радоваться, был тот, что особенно близкие ее сердцу чужане, а именно — семья фон Вейтерслебен состояла сплошь из женщин, принимавших не активное, а лишь самое пассивное участие в Великой Глупости. Выражалось оно в том, что они тяжело страдали от вызванных ею лишений и своим неприятием войны навлекли на себя косые взгляды окружающих. Но поскольку из-за принадлежности к слабому полу они не могли считаться ни уклоняющимися от военной службы, ни дезертирами, то презрение, которое им выказывали, ограничивалось одними эмоциями, да и к концу войны постепенно пошло на убыль, так что о наступлении мира его уже как не бывало.

И Альпинокс, и Амариллис Лугоцвет достаточно точно предвидели и могли предсказать исход этой войны, но им не оставалось ничего другого, если не считать помощи отдельным лицам, как бездейтельно наблюдать за происходящим. Оба с тоской думали о стародавних, почти исчезнувших из памяти временах, когда они располагали неизмеримо большей властью, чем та, на которую притязали теперь предводители чужан. Когда война кончилась, долговечные существа этого края снова съехались вместе, пытались там и сям облегчить жестокую нужду местных жителей, могло даже показаться, будто они снова приобрели влияние. Их жизнь приняла опять вневременной характер и больше отвечала теперь их исконному отношению ко Времени, нежели в годы мирового бедствия чужан, коснувшегося их тоже, а это бедствие было так точно вписано и определенный промежуток Времени, что и они, Долговечные, оказались привязаны к чередованию дней и ночей, с коим вообще-то привыкли обращаться весьма вольно.

И вот незаметно приблизился масленичный карнавал того года, когда Сидония фон Вейтерслебен стала королевой игр на льду и когда не только чужане, но и долговечные существа так горячо стремились забыть о страданиях и ужасах войны, что впору было ждать самого бесшабашного веселья.

Среди тех и других общественная жизнь возобновилась уже настолько, что все опять ходили друг к другу в гости или в послеобеденные и вечерние часы собирались где-нибудь в кафе. Остается лишь заметить, что после перенесенных лишений и долгих месяцев недоедания чужане с таким пылом устремились к пирам и развлечениям, что это казалось невероятным при виде еще повсеместна царившей скорби.

С каждой встречей Амариллис Лугоцвет все больше разжигала любопытство Долговечных к карнавальным забавам чужан, так что у всех и каждого пробудилось желание принять в них участие и под прикрытием обычной карнавальной маски затесаться в толпу людей, словно ставши одним из них. Благодаря стараниям Амариллис Лугоцвет это желание разгорелось до настоящего энтузиазма, и в последние недели перед тремя «святыми карнавальными днями», — так называли эти дни в Штирийском Зальцкаммергуте, — среди чужан, да и среди Долговечных, ни о чем другом не было разговору. И одни и другие были заняты тем, что либо подправляли уже существующие, либо наколдовывали себе новые одеяния и личины — «снеговиков», «барабанщиц» и, особенно трудные для исполнения, костюмы

«пестряков». Иногда всевозможные духи, призываемые Амарилис Лугоцвет для осуществления ее плана, приводили ее в отчаяние — у нее голова шла кругом от вопросов, с которыми приступали к пей ей подобные, словно из всех долговечных существ она единственная была знатоком местных карнавальных обычаев. А ведь у нее и без того хватало хлопот: надо было оплести чужан сеть задуманного ею плана. Первым делом она подумала об одном молодом человеке. У его родителей была на озере летняя вилла, где они каждый год проводили по несколько месяцев, однако сам он приезжал очень редко. Пришлось ей призвать на помощь все свои потайные силы и, чтобы направить дело на верный путь, даже прибегнуть к некоторому вандализму. Ей нетрудно было узнать, что родители молодого человека в первый раз после войны отправились за границу, сам же он находится в столице, где занимается исследованиями в области медицины.

Неизвестные лица — гласило полученное им письмо — произвели на их вилле некоторые разрушения, так что необходимо его присутствие, не то как бы разрушения не стали еще больше. Вдобавок молодой человек почувствовал вдруг необъяснимую тоску по горам, по снегу, по жизни на лоне природы, и он внял этому призыву, тем более что был вполне готов оказать родителям услугу и привести в порядок виллу.

Итак, в точно заданное время он прибыл на железнодорожную станцию и, сев в извозчичьи сани, приказал отвезти себя наверх, в поселок, к гостинице «Олень» — одной из немногочисленных, где принимали гостей и зимой. Царившее вокруг веселое, приподнятое настроение заразило его настолько, что он решил пробыть здесь подольше, хотя разрушения, учиненные на вилле, оказались на поверку не такими уж значительными и не требовали его длительного присутствия.

Он никогда не питал особого интереса к этому курортному поселку, но теперь, когда увидел, как бегают по улицам первые ряженые, а за обедом и ужином в зале гостиницы привял участие в шумных и веселых разговорах, почувствовал неодолимое желание тоже надеть личину. Он попросил хозяев гостиницы, которые охотно пошли ему навстречу, достать вещи, необходимые для переодевания позволяющие принять тот облик, о котором он мечтал еще в детстве.

Необычайное чувство удовлетворения охватило его, когда он впервые увидел себя в зеркале в новом обличье. Правда, черный парик с длинными локонами еще непривычно пек ему голову, но когда он нацепил на уши большие серебряные серьги, то в нем словно зашевелились воспоминания о прежней жизни, жизни в образе пылкой цыганской принцессы, извивавшей под музыку гибкий стан. Даже широкие пестрые юбки, надетые одна на другую, показались ему до странности знакомыми, и он почти не удивился, когда, сунув руку в кармашек кофты, нашел там колоду карт для гаданья в тридцать шесть листов, которые податливо легли в его ладонь, словно он уже не раз их перебирал. И хотя он не помнил, чтобы когда-нибудь кому-нибудь гадал на картах, теперь он разложил их на столике перед зеркалом, и казалось, карты заговорили с ним на свой таинственный манер, а он понимал их без труда.

Только инстинктивная неприязнь к женщинам помешала ему мгновенно влюбиться в себя самого. Пожирая главами свое отражение в зеркале, он провел тонкой холеной рукой, с которой предварительно снял кольцо-печатку, по безупречно гладкой коже возле впадинки между ключицами, ощупал едва наметившееся адамово яблоко и подбородок, словно хотел убедиться, что волосы бороды, незаметные в зеркале, еще ощутимы под пальцами.

— Совершеннейшее перевоплощение, — сообщил он своей женской ипостаси, старательно подрисовывая глаза и кончиками пальцев накладывая на скулы тонкий слой румян. Раскрашивая лицо, он не позволял себе излишеств. В этой цыганской принцессе не должно быть ничего вульгарного. Естественную родинку, единичное пятнышко у левого крыла носа, он выделил с помощью косметического пластыря, а

вот губной помадой воспользовался очень скупой, только чтобы подчеркнуть мягкие линии полных губ, не делая их слишком сочными. И вот когда он так сидел перед зеркалом в этом совершенном образе, его охватило ощущение несказанной свободы и такая готовность любить, что от смятения чувств закружилась голова.

По ногам пробежал ток — они будто сами запросились в пляс. Он медленно поднял руки над головой, и серебряные браслеты соскользнули вниз с нежным звяканьем. Этот звук, сопровождавший все его движения, так заворожил его, что с этой минуты его руки уже не знали покоя, а уши жадно впивали тонкий звон, словно вслушиваясь в язык желаний, всплывших откуда-то из глубин и требовавших осуществления.

Амариллис Лугоцвет, незаметным образом самолично убедившаяся в прибытии молодого человека, пыталась избегать себе подобных, все больше смешиваясь с местными жителями и прежде всего без конца посещая дом фон Вейтерслебен. Она подогревала у Сидонии интерес к карнавалу и жажду веселья, во при этом старалась не вызвать у нее раздражения или недоверия. Наоборот, Амариллис Лугоцвет едва удалось убедить Сидонию, которая теперь окончательно решила взять свою судьбу в собственные руки и позаботиться о поддержании традиции, дожидаться наступления карнавальных дней и появления новых масок. Сидонии прямо горела желанием немедленно объявить своего избранника и без проволочек осуществить то, чего требовала традиция. Эта отчаянная решимость наложила свой отпечаток на все ее существо. Она держала себя вызывающе-наступательно, а когда понадобилось выбрать карнавальный костюм, то невозможно было уговорить ее не извлекать на свет легкомысленно-изящное охотничье платье, принадлежавшее, по-видимому, еще ее пра-пра-пра-деду, последнему господину фон Вейтерслебену, хотя это одеяние с внешней стороны никоим образом не соответствовало намерениям Сидонии фон Вейтерслебен.

Чтобы не упрятывать все волосы под шляпу, она их напудрила и заплела в косу, каковые, должно быть, как раз и носили в те времена, когда этот костюм был последним криком моды. А когда Амариллис Лугоцвет, которая присутствовала при переодевании, поднесла к ней зеркало, Сидония фон Вейтерслебен выразила такое удовлетворение своим видом, что шутя даже взяла понюшку табаку, чем окончательно завершила тождество со своим внешним обликом.

Уже в первый день карнавала,— то было воскресенье, и ранул еще только набирал силу,— Амариллис Лугоцвет, от чьего зоркого взгляда подобные вещи не могли укрыться, обнаружила под некоторыми пока еще немногочисленными масками кое-кого из Долговечных и не могла не посмеяться над тол жадностью, с какой они подхватили поданную ею идею. Ей не составило труда узнать своих друзей,— она же сама во время приготовлений к карнавалу помогала им советом и делом. Даже фон Вассерталь, снова осевший в этом крае, вернее — в своем озере, и пока что не замышлявший больших путешествий, обратился к ней за помощью, и она предложила ему множество вариантов, которые не столько способствовали его маскировке, сколько могли оттенить его прекрасную наружность.

Тяжелым случаем был Драконит, его и вообще-то с трудом удалось уговорить принять участие в карнавале. Он все еще был занят тем, чтобы снова надежно упрятать в землю случайно взорванные во время военных действий железорудные залежи и месторождения драгоценных камней,— он не хотел уделить чужанам решительно ничего из подземных богатств. Но в конце концов Амариллис Лугоцвет и для него нашла костюм, который не раскрывая его естества, все же вполне ему соответствовал, и носить его он мог легко и непринужденно.

Прозрачная, хоть она и неоднократно советовалась с Амариллис Лугоцвет, в конце концов заявила, что сама лучше всех знает, что ей идет, так что найти ее будет

нетрудно. Амариллис Лугоцвет только надеялась, что она не привлечет к себе всеобщее внимание нелепой небрежностью костюма, ведь это могло бы выдать участие в карнавале долговечных существ.

А вот Альпинокс окружил себя большой секретностью и о своем костюме не говорил ни слова. Пусть это будет для нее сюрпризом, отвечал он на вопрос любопытствующей Амариллис Лугоцвет,— в должный момент она его узнает. В должный момент, прошу заметить, и ни на минуту раньше. И поскольку в этом случае тайные силы столкнулись с тайными же силами: ей, Амариллис Лугоцвет, будет не так-то легко раньше времени узнать Альпийского короля. Эта придуманная им игра преисполнила ее напряженным любопытством и радостным предвкушением момента узнавания, она часто ловила себя на том, что, несмотря на великий план, осуществлением которого занималась, без конца ищет глазами Альпинокса, угадывает его то под одной, то под другой маской, но не находит доказательств, в результате она прозевала Драконита и фон Вассерталя и, растерявшись, решила прежде всего я в первую очередь позаботиться о Сидонии, которой впервые предстояло показаться в маске только в воскресенье, в первый из трех «святых» дней. Этим Амариллис Лугоцвет хотела помешать Сидонии, чей шутовской талант был всем известен, с самого начала выложиться перед еще немногочисленной публикой и пристать к какой-нибудь клике, которая захватит ее и не отпустит.

Большое шествие должно было состояться в понедельник, и Амариллис Лугоцвет надеялась, что среди массы народа, которая в нем участвует, Сидония будет не так выделяться и сможет сама лучше приглядеться к отдельным людям. Ей скорее представится отучал завязать с кем-то знакомство, если она не будет центром внимания, каким она неизменно оказывалась в маленьких группах.

Была середина февраля, и, хотя незадолго до того бушевали вьюги и снегопады, зима, проявив большую суровость и растратив себя, казалось, немного сдала. В полдень с покатых крыш домов сходили маленькие лавины и капала вода, еще недавно твердевшая ледяными сосульками. На открытых солнцу горных склонах показались первые, пусть небольшие, проталины, а по ночам с ревом носился ветер, взламывая ледяной покров озера. Все же нельзя сказать, что началась уже настоящая оттепель,— это было скорее предвестие того, что должно было развернуться только через две-три недели. Но и этого оказалось довольно чтобы вдохнуть в людей ожидание весны, с каждым днем делавшееся все сильнее. Словно они уже переступили порог зимы и неуклонно приближаются к весне.

Центром карнавала в Штирийском Зальцкаммергуте был соседний торговый городок — там веселье достигало своей высшей точки. В первый из трех «святых» дней еще бесчинствовали и дрались с ребятами снеговиками — духи зимы в лохмотьях, с нахлобученными на голову ведрами, на второй день к зиме подступались барабанщицы с водкой, без усталости колотя в свои барабаны, а в последний, третий день появлялись пестряки, одетые на венецианский манер в костюмы с пестрой суконной аппликацией, расшитые серебряными блестками, и одаривали детвору орехами. После нескольких лет войны карнавал разгулялся с небывалой силой, толпы ряжевых из двух соседних городков слились и смешались, как будто бы чужане, а в известном смысле и долговечные существа, никак не могли вдоволь надурачиться и навеселиться. И только в семьях, где были новорожденные или больные, люди поневоле сидели дома.

Все же остальные с неутомимостью потока устремлялись по улицам и переулкам, от трактира к трактиру, и даже трактирщики время от времени покидали свою стойку, оставив ее на попечение какого-нибудь надежного человека, чтобы, нацепив маску, затесаться в приливающую и отливающую толпу.

Чтобы служить Сидонии фон Вейтерслебен достойным спутником, Амариллис Лугоцвет преобразилась в застенчивого молодого егеря-выжлятника, поэтому ее

такса Макс-Фердинанд, которую она взяла с собой, никому не бросалась в глаза.

Цыганскую принцессу Сидония заметила впервые в тот момент, когда зачитывали вслух один из «карнавальных листков» - их очень любили за злоязычие, это называлось-«резать правду-матку». Сквозь шум и гомон она расслышала нежное звяканье серебряных браслетов, и если сначала эти волшебные звуки привлекли только ее слух то вскоре и взгляд ее отыскал большеглазое смуглое лицо, полное изумления и восторга перед незнакомыми обычаями и потому какое-то отрешенное.

Амариллис Лугоцвет, выносившая свой план до малейших деталей, сразу заметила, что Сидония то и дело оборачивается в одну сторону и кого-то ищет глазами. Стремясь хорошенько раздуть только загоревшееся пламя, она ухитрялась каждый раз стать возле Сидонии таким образом, чтобы совершенно заслонить от нее принцессу.

Цыганская принцесса, видимо, и не подозревала о существовании Сидонии, а потому вскоре исчезла из поля ее зрения. Когда представление подошло к концу, вызвав оглушительные рукоплескания и взрывы смеха, и исполнители стали проталкиваться к выходу, чтобы вновь повторить свое действие в другом трактире, Сидония и Амариллис Лугоцвет присоединились к потоку, который устремился за ними следом.

Почти у самых дверей Амариллис Лугоцвет вдруг споткнулась о ногу снеговика, изгнанного из соседнего местечка, и, чтобы не упасть, ухватила за его руку, при этом она невольно дала возможность Сидонии еще раз бросить взгляд на цыганскую принцессу, которая тоже протискивалась к выходу, отчего Сидония даже не заметила падения своей спутницы, а рванулась мимо нее на улицу, меж тем как Амариллис Лугоцвет схватила услужливо протянутую ей руку, пожатие которой показалось ей странно знакомым.

Радостный испуг пронзил ее: «Клянусь всеми вещами я образами, это же Альпинокс» Но руку тотчас же отвили, а перед нею очутился человек угрюмого вида в одежде рудокопа, с полумаской на лице, в котором она узнала Драконита. Она услышала, как он шепчет про себя; «До-чего же чужемерно может стать нашему брату среди чужан». Однако незаметно было, чтобы он ее узнал.

И на улице не было никаких следов Альпинокса, зато там, на снегу, переминаясь с ноги на ногу, стояла Сидония, явно разочарованная тем, что цыганская принцесса лишь мелькнула у нее перед глазами и исчезла.

Освободив Макса-Фердинанда, которого она привязала к дереву, перед тем как войти в трактир, Амариллис Лугоцвет подошла к Сидонии.

— Надо бы нам с тобой подкрепиться,— сказала она,— пойдём-ка в «Оленя», там сейчас, наверное не так ужлюдно.

Сидония безмолвно последовала за пей. Она была задумчива и даже казалась подавленной. — А чужой человек догадается, что я женщина? —спросила она, когда они уселись за один из маленьких столиков пока еще свободных, в то время как за большими столами уже опять собрались компании ряженных и кое-кто из местных стариков.

— Может и не догадаться,— ответила Амариллис Лугоцвет, пряча улыбку.

От ее слов лицо Сидонии прояснилось, и, услышав насмешливый оклик с соседнего стола, где ее явно знали и узнали, она не упустила случая и тотчас отплатила за насмешку весьма едким словом. Немного погодя зал гостиницы наполнился алчущими и жаждущими людьми в масках, и Макс-Фердинанду пришлось забраться под стол, чтобы на него не наступили. Вскоре на столе перед Амариллис и Сидонией очутились еще шипящие ливерные колбаски с кислой капустой и жареной картошкой, а стаканы с пивом были увенчаны большими шапками пены, которая тонкими струнками стекала через край по запотевшим

снаружи стенкам.

В зал вошел высокий широкоплечий мужчина в матросском костюме, во без маски. Он стал оглядывать присутствующих, и на какое-то время его взгляд задержался на Сидонии, которая спокойно его встретила, но потом человек опять стал озиаться, как будто кого-то искал.

— Скажи-ка,— спросила Амариллис Лугоцвет, прикрыв рот рукой,— такой мужчина тебе нравится?

Матрос? — Сидония еще раз посмотрела на него словно хотела получше разглядеть.— Сложен хорошо,— прошептала она,— ничего не скажешь. Ярко выраженный тип спортсмена.

В этот миг матрос, по-видимому, нашел, что искал, он обернулся к открытой входной двери, в которую была видна часть лестницы, ведущей на второй этаж, и как только по ней вихрем взнеслись вверх пышные пестрые юбки, пустился за ними следом.

— Ты видела ее? — Спросила Сидония, наблюдавшая за матросом.

По ее тревожному тону можно было судить, как сильно ее занимает цыганка.

— Кого? — протяжно переспросила Амариллис Лугоцвет.

— Цыганку. Я еще раньше обратила на нее внимание.

— Цыганку, говоришь? Не видела никаких цыганок, разве что вот эту.

Как раз в ту минуту в зал вошла цыганка с рыжими волосами цвета молоденьких листочков красного бука, несмотря на зимний холод — в платье с глубоким вырезом. И у нее тоже на запястьях и в ушах позвякивали кольца, но, в полном противоречии с ее знойным видом, от нее как будто веяло прохладой.

Амариллис Лугоцвет только успела незаметно поправить маску, которую сдвинула набок на время еды, как взгляд обворожительной цыганки остановился на обоих охотниках. Зал огласился возгласами восторга, и кое-кто из мужчин задвигался на скамьях, словно они очень хотели, чтобы цыганка подсела к ним. Однако она уже сделала выбор и, еще немного покружив по залу своей приплясывающей походкой, как бы ненароком приблизилась к их столу.

— Два таких нарядных охотника,— начала она подкупающе-льстивым тоном,— невольно привлекают к себе. Нас с вами объединяет лес.— С этими словами и она уселась на последний свободный стул, словно ей действительно предлагали занять это место.

Сидония, ошеломленная тем, что есть, оказывается, еще одна цыганка, сперва онемела, потом, вспомнив, к чему ее обязывает исполняемая роль, слегка поклонилась и заявила:

— Прелестное дитя, вы нам желанны, как весна, которую мы все с нетерпением ждем.

Польщенная таким велеречивым приветствием, цыганка разразилась звонким смехом, даже ее груди прыгали от смеха, и, все еще смеясь, сказала:

— Ах, если б я могла воцариться в сердце вашей милости подобно весне и превратить тревожные зимние бури в мягкий ласкающий бриз!

Теперь пришел черед Сидонии рассмеяться, она схватила тонкую, чуть шершавую руку прекрасной цыганки, чтобы заученным движением поднести ее к губам. Но чего не выдал голос, выдало прикосновение. Женщина почуяла женщину в мужском обличье,— цыганка поспешно отняла руку у сиятельного охотника.

— Целовать руку цыганке,— насмешливо заметила она— ваша милость забыла о своем звании и происхождении.

Сидония слегка покраснела, но продолжала игру: — Красота не знает званий, кто обладает пятью чувствами должен ей поклоняться.

— А у кого есть шестое, пусть будет поосторожней,— вмешалась Амариллис Лугоцвет, так изменив голос, что Сидония даже скосила на нее глаза, чтобы

проверить, она ли это говорит.

— Имея под боком такого умного егеря, вы можете прибавить себе и седьмое, а именно - предусмотрительность.— С этими словами цыганка поднялась, послав напоследок обоим охотникам воздушный поцелуй, и села за другой стол, где несколько мужчин с готовностью уступили ей место.

Амариллис Лугоцвет вовсе не была уверена, что Прозрачная ее не узнала, а потому в этом зале ей уже не сиделось.

— Ты подумай о том,— тихо сказала она Сидонии,— что это лишь первый день, у нас впереди еще два. Пойдем-ка лучше домой.

Сидония кивнула, и обе встали. Уже стемнело, но тишины не было и в помине. Со всех сторон доносились смех и визг, во многих трактирах заиграла музыка. Они постояли еще немного перед фасадом дома, поджидая Макса-Фердинанда, который после неудобного лежания под столом без конца потягивался и несколько раз поднимал ножку.

Над ними растворилось тускло освещенное окно, и когда Сидония подняла голову, она увидела цыганскую принцессу, на сей раз настоящую,— облокотившись о подоконник, та вдыхала прохладный воздух.

— Это она,— пробормотала Сидония и как замороженная впилась глазами в красивое лицо там, наверху.

Амариллис Лугоцвет наблюдала за обоими и, увидев что Сидония стоит неподвижно, заулюлюкала по-охотничьи и помахала цыганке. Только теперь та заметила знатного охотника с косицей, застывшего в благоговейной позе с устремленным на нее взглядом, и оттого, что этот взгляд проник ей в самое сердце, стянула с руки один из браслетов поцеловала и бросила Сидонии прямо под ноги. Сидония, не понимавшая, что с ней исходит, медленно нагнулась, с удивлением подняла браслет, тоже поцеловала и спрятала у себя па груди. Когда она опять вскинула глаза, в окне наверху было темно, а лицо исчезло.

—Пойдем,— сказала Амариллис Лугоцвет,— завтра во время большого шествия, ты наверняка увидишь ее опять и сможешь вернуть ей браслет.

Сидония посмотрела на нее с изумлением.

— Разве она нечаянно его обронила?

— Сидония, Сидония...— сказала Амариллис Лугоцвет, скрывая под покровом темноты улыбку.— А ведь ты хотела поддержать традицию.

— Да, этого я хотела,— тихо сказала Сидония.— Клянусь всеми добрыми духами, я этого хотела.

И они молча направились в сторону дома Сидонии, где намеревались хорошо отдохнуть и выспаться, чтобы не всеоружии встретить утомительный завтрашний день со всеми его увеселениями и дурачествами.

Большое карнавальное шествие началось вскоре после обеда. Против всякого обыкновения, двинулось оно на этот раз от озера, где кончается дорога, и потянулось в сторону соседнего городка, где через какое-то время,— указать его можно лишь приблизительно,— должно было встретиться с другим большим шествием, выступившим из городка в направлении поселка. Но что именно должно произойти, когда оба шествия сойдутся, было не вполне ясно даже устроителям и тем, у кого родилась эта идея. Назревал хаос, оставалось лишь надеяться, что он разразится поблизости от ряда трактиров, так что оба шествия быстро рассыплются и окончат свое существование за трактирными столами.

Сидония фон Вейтерслебен и Амариллис Лугоцвет подросли как раз вовремя, чтобы получить представление о шествии, которое составлялось на площади у озера, между церковью и гостиницей. На возах, запряженных разукрашенными волами, сидели ряженные в маска, на каждом — особая группа.

Так, например, один вое был заполнен поварами, поварами и прочей кухонной

челядью — из старых башмаков, обрезков бумаги и других отбросов они готовили еду ж швыряли ее в хохочущую толпу. Был свой воз и у горняков. Они тоже трудились — из картонной горы добывали руду, добычу их составляли металлические осколки снарядов, застрявшие в скалах во время войны. Вдруг Амариллис Лугоцвет увидела еще один воз и не поверила своим глазам. На нем были установлены декорации, изображавшие дно озера, а посередине восседал водяной, в окружении русалок, которые играли на затейливых инструментах только эта музыка, к вящему веселью публики, звучала как кваканье лягушек, перемежавшееся стуком аистиных клювов. Хотя водяной и русалочки были в полумасках, у Амариллис Лугоцвет не оставалось никаких сомнений: она убедилась, что, советуясь с ней о костюмах, долговечные существа просто хотели ей польстить. Они сами прекрасно знали, что им нужно. И контакты с чужанами были у них, по всей видимости, тоже гораздо лучше, чем они хотели показать. Она вдруг с огорчением сообразила, что другие долговечные существа обосновались в этих местах задолго до нее, а ведь и она спустилась сюда с облаков много поколений тому назад.

Затем с ними поравнялась повозка с лесничими и охотниками, они весело замахали двум своим собратьям, приветствуя их и жестами приглашая сесть в повозку, во Сидония, желавшая сохранить свободу передвижения, отказалась. Они пропустили мимо себя все шествие, здесь восхищаясь каким-нибудь костюмом, там — интересной выдумкой, и, стоя на краю площади, обменивались замечаниями, во глаза Сидонии прежде всего высматривали некую маску, которой нигде не было видно.

Вместо того чтобы примкнуть к шествию и встать в конце его, они какое-то время шли с ним рядом, и когда передние повозки миновали «Оленя», Сидонии показалось, что оттуда выскочила цыганка и встала в процессию.

— Пойдем,— обратилась она к Амариллис Лугоцвет, на сей раз та оставила Макса-Фердинанда дома,— я ее видела,— и за руку потащила свою спутницу за собой, но улица в этом месте сужалась, и прошло немало времени, прежде чем им удалось протиснуться хотя бы через несколько рядов масок, шедших плотным строем. При этом всевозможные прачки, индианки или прелестные одалиски не раз хватили их за фалды, обвивали сзади руками, медленно поворачивали к себе, вымогая поцелуи, которыми те их безропотно наделяли, чтобы как можно скорее освободиться.

Когда они добрались до центра поселка, где улица опять становилась шире, им удалось протолкаться к повозкам, и как раз в том месте, где был поворот к дому Сидонии, она снова мельком увидела цыганскую принцессу — та шла вплотную за повозкой с русалками и обменивалась с ними веселыми шутками.

Умудренная опытом с Прозрачной, Амариллис Лугоцвет сознательно держалась теперь на таком расстоянии от повозки, что, хоть и видела ее, могла сразу же спрятаться за какой-нибудь группой масок, если бы фон Вассерталь взглянул в ее сторону.

После того как Сидония выследила цыганскую принцессу, ее уже было не удержать. Расталкивая ряд за рядом, добралась она до цыганки, и Амариллис Лугоцвет заметила, что Сидония, поравнявшись с цыганской принцессой, достала из нагрудного кармана браслет и показала ей. Она успела также заметить, как та, обернувшись к Сидонии, смущенно засмеялась и подняла руку, словно хотела сосчитать надетые на нее браслеты и убедиться, что одного недостает. Но дальше улица опять сужалась, ряды сбились теснее, и Амариллис потеряла обеих из виду.

Какое-то время она и сама спокойно шла вместе с масками, переговаривалась с ними, позволила взять себя за руки, чтобы вкупе с остальными образовать цепь, на которую вскоре наскочила цыганская принцесса, но, сразу ее прорвав, улизнула в хвост шествия, преследуемая Сидонией, а та была настолько захвачена этой погоней,

что и не заметила Амариллис Лугоцвет. Последняя секунду боролась с искушением тотчас броситься за ней следом, чтобы и впредь держать парочку под своим бдительным оком, но потом с улыбкой махнула на это рукой. Она пришла к заключению, что теперь охотник и цыганская принцесса прекрасно поладят и сами, без ее помощи.

Шествие, похожее на пестрого, неуклюжего и извергающего музыку дракона, приближалось к окраине поселка, где дорога круто сбегает к истоку Трауна. Здесь поначалу возникали заторы и толкотня, но понемногу процессия выровнялась и потянулась вдоль берега реки к соседнему городку. Чем больше стыл воздух к заходу солнца, тем быстрее двигалось шествие. Все чаще ходили по рукам чаши с фруктовым самогоном, оркестрики, по очереди делавшие паузы, все чаще играли бодрые марши, и всем по хотелось поскорее очутиться за трактирным столом, где уже не надо будет так надсаживать глотку, если хочешь кому-то что-то сказать.

Солнце опустилось уже почти до самого горизонта, небо заволокли тонкие пелены туч, когда среди разноголосого Шума, царившего на дороге, послышалось словно его отдаленное эхо, и все невольно напрягли слух.

Приветственные крики, грянувшие в первых рядах, были подхвачены остальными и прокатились до конца процессии—всеми снова овладело радостное возбуждение. Еще немного, и оба шествия ряженных сольются. В нетерпеливом ожидании задние ряды сбились теснее, стали напирать на передние, тем все труднее удавалось сдерживать натиск, в к середине шествия началась давка, тогда многие поспешили выйти из толпы, чтобы их не раздавили.

Вскоре сделалась полная неразбериха — запряженные волами повозки оказались зажаты толпой и не могли двинуться с места, а остальные маски из обоих шествий смешались в кучки, постепенно превращая процессию в хоровод.

Амариллис Лугоцвет пришлось бы пустить в ход все свое волшебное искусство, чтобы двигаться не тем путем, по которому ее влекла толпа, но раз уж она решила участвовать в карнавале чужан до конца, то не стала сопротивляться и отдалась на волю потока. Так и вышло, что она неожиданно попала в круг барабанщиц, который сразу же замкнулся, и она очутилась в ловушке, неподвижная, как муха в янтаре.

Барабанщицы,— их, насколько ей было известно, изображали мужчины, которых невозможно было узнать под сплошь закрывавшими лица масками и стегаными белыми балахонами,— барабанщицы в ту самую минуту, когда они ее полонили, разразились лихой барабанной дробью и, не выпуская Амариллис из круга, двинулись по направлению к дальнему трактиру, где еще, наверное, можно было отыскать свободные места.

Кое-кто из них с ней заговаривал, но из-под низких масок, обрамленных белыми кружевными ночными чепцами, голоса звучали чуждо и странно, и Амариллис Лугоцвет,— ей тоже не терпелось узнать, что будет дальше,— покорна позволяла себя вести, даже не пытаясь выбраться из круга.

Прошло немало времени, пока все эти люди, так и оставаясь сплоченной группой, хотя и с трудом придерживаясь взятого направления, добрались до названного трактира находившегося на другом берегу Трауна, опять-таки ближе к поселку.

Вопреки зиме, «Зеленое дерево» — так назывался трактир —цвело пышным цветом, и, судя по гомону голосов, доносившемуся из ярко освещенных окон, веселье там лилось черев край.

Пока барабанщицы сметали веником со своих грубых башмаков подтаявший снег, Амариллис Лугоцвет успела заметить, как знатный охотник вместе с цыганской принцессой удирают берегом реки по узкой тропинке, ведущей прямо в поселок.

Довольная улыбка мелькнула в уголках ее рта, осененного фальшивыми усами, но поразмыслить хорошенько она не успела: она заметила, что одна из барабанщиц

с любопытством разглядывает ее сквозь прорези маски, и решила отложить размышления на более поздний час, когда она сможет без помех подумать о своем плане и его, как она надеялась, успешном осуществлении.

А покамест дружеские руки втокнули ее в зал трактира, где как раз освободился один большой стол — вся группа тотчас за ним расселась. Оказалось, что в трактире уже сидит другая компания барабанщиц, и началось хождение взад-вперед между столами, так что Амариллис Лугоцвет перестала понимать, кто пришел вместе с вей, а кто уже был здесь раньше. Люди за столами пели и выводили залихватские трели, а за одним столом затянули песню, слов которой она почти не разбирала, подобно всему остальному, что говорили барабанщицы из-под своих масок, за исключением одной-единственной строки, и строка эта звучала как скрытое предостережение: «Беги скорее, егерь мой, беги, спасайся, егерек, беги скорее, егерь мой, беги, беги, беги...»

И пока Амариллис Лугоцвет еще раздумывала над тем, принимать ли это предостережение на свой счет, вошла кельнерша с подносом, уставленным стаканами, до краев полными водкой.

Тем временем все остальные маски ушли из трактира, и в зале оставались теперь только барабанщицы да несколько пожилых местных жителей, которые сидели за своим постоянным столом, болтали между собой и невозмутимо продолжали игру в карты.

Почти все стаканы были разобраны, кроме нескольких, составленных посреди стола, и Амариллис Лугоцвет стада свидетельницей странного питейного ритуала с тостами, которые она с трудом понимала, с бесконечным чоканьем, при этом одна барабанщица за другой приподнимали свои маски, чтобы поднести к губам стакан.

178

Когда все выпили, барабанщицы казалось, понемногу утихли, и казалось, сейчас произойдет что-то такое, чего все ждут с интересом. Амариллис Лугоцвет тоже горела желанием узнать, что все это значит. Сидела она в глубине зала, как ей казалось, почти незаметная между двумя здоровенными барабанщицами, и поскольку она далеко не так свыклась со своим костюмом, как Сидония фон Вейтерслебен, то не сразу осознала, что все чаще раздающиеся возгласы: «Егерь. егерь!» - относятся именно к ней. А когда наконец осознала, то было уже поздно. Она почувствовала, как чьи-то руки подняли, понесли ее и поставили посреди зала, и она опять очутилась в центре замкнувшегося круга бара

Стишком поздно поняла она, что будет сейчас посвящена в тайны барабанщиц и принята в их сообщество. При виде того, как одна из них входит в круг с подносом, на котором стоят стакан водки, у Амариллис Лугоцвет сразу закружилась голова. Принимать какие-либо защитные меры было уже поздно, а потому она, как ей было приказано, взяла стакан, поднесла к губам и под громкие крики: «До дна!» — залпом осушила. «Клянусь всеми вещами и образами, меня перехитрили!» — пронеслось у нее в голове. Но ни и за что на свете не согласилась бы она открыть, кто она такая, а потому делала все, чего можно ждать от молодого егеря, и выпила, следом за первым, еще и второй стакан.

Но такому количеству спиртного, которое свалило с ног уже не одного местного парня, не могла противостоять и фен Нарциссов в облике чужанина. Амариллис Лугоцвет еще успела увидеть, как барабанщицы одна за другой сбрасывают маски, пока не настал черед самой старшее над ними, которая сбросила ее тоже, однако Амариллис Лугоцвет, в чьих глазах все уже немного расплывалось, почудилось, будто у главной барабанщицы под верхней, сброшенной маской есть другая, менее похожая на маску и все же скрывающая ее настоящее лицо.

Вид этого лица должен был бы, наверное, ее испугать, но она ощутила лишь легкую дрожь, только усилившую чувство отрыва от земли, и вдруг ей показалось,

будто она опять сидит на облаке, как часто сживала прежде, к плывет над поселком, над деревней и высоко над горами, но облако превратилось во множество рук, которые плотно ее обхватили. Потом она увидела знатного охотника и цыганскую принцессу: рука об руку брели они сквозь ночь, пока не очутились перед виллой фон Вейтерслебен, куда, после некоторого колебания и взвесив все другие возможности, все же вошли.

Дома никого не было, даже экономка и та не хотела пропустить карнавал, и Сидония, усадив цыганскую принцессу в гостиной, где в изразцовой печи еще горел огонь, сама пошла на кухню, чтобы заварить чай и принести хлеб, масло, мед и стопку масленичных оладий, все это она заботливо поставила перед цыганской принцессой.

Амариллис Лугоцвет была свидетельницей первого поцелуя, которым через стол обменялись молодые люди, и величайшего изумления, охватившего Сидонию, когда, вернувшись из погреба с бутылкой вина, она увидела на стуле, где только что сидела цыганская принцесса, мужчину. Мужчину, который снял парик, кое-как стер с лица легкий слой румян и надел охотничью куртку Сидонии, чтобы не выглядеть смешным в платье цыганки.

Амариллис Лугоцвет была также свидетельницей изумления еще большего, когда Сидония, удалившись на несколько минут, чтобы, как она смущенно пробормотала, принести гостю еще и настоящие мужские брюки, вскоре вернулась, одетая в одно из прелестнейших своих платьев, с подобранными наверх волосами, держа в руках брюки от прежнего своего охотничьего костюма, и предстала перед молодым человеком, который, в свою очередь, потерял дар речи и не нашел ничего лучшего, — но и худшего тоже! — как схватить Сидонию, все еще державшую брюки, в свои объятия и прижать к себе со вновь вспыхнувшей страстью, хотя и изменившей свою суть.

Все это Амариллис Лугоцвет увидела перед собой вполне отчетливо, она словно участвовала в событиях, вот только о том, что происходило с нею самой, имела такое же туманное представление, как и о своих снах во время Праздника Воспоминаний.

Проснувшись на другой день все еще в егерском платье (балахон барабанщицы, который на нее, видимо, надели во время посвящения, был брошен на спинку стула) она увидела, что лежит на постели из зеленого мха, в спальне, напоминающей грот, куда сквозь маленькие слюдяные оконца, расписанные ледяными узорами, проникает дневной свет.

Когда она стала вертеться на своем мягком ложе, пытаясь понять, куда попала, отворилась дверь, и вошел Альпинокс собственной персоной, неся поднос, уставленный чудеснейшими яствами и напитками, предназначенными как раз для того, чтобы поставить человека на ноги.

Вспыхнув от стыда и гнева, Амариллис Лугоцвет поднялась и собиралась было выложить Альпиноксу свое мнение об этой скверной шутке, как вдруг у ее постели расцвели огненные лилия, и оказалось, что она возлежит среди цветов.

— Почтеннейшая, вы так долго изволили почивать на этом ложе, что ваш гнев мог бы уже и развеяться, — произнес Альпинокс, ставя поднос у ее постели.

— Как вы только посмели... — начала Амариллис, ко вдруг почувствовала, что больше не сердится. «Это колдовство, — подумала она. — Здесь, у него дома, я бессильна. Только на нейтральной почве я смогу с ним помериться силами». И она спокойно позволила Альпиноксу поцеловать ей руку.

— Ничего особенного не случилось, — заявил Альпинокс, — просто маленький егерь хватил через край, я мне пришлось спасти его от чужан.

— Вам спасти меня? — недоверчиво спросила Амариллис Лугоцвет. — Да ведь вы сами все это и затеяли, уж признайтесь.

Альпинокс усмехнулся.

Затеял? Да, пожалуй, в то время, когда основал орден Барабанщиц. И еще немного раньше, когда обязал охотников платить мне ежегодную дань. Чего они с давних пор уже не делают.— Он бросил взгляд на ее егерский костюм.

— Эх вы,— вздохнула Амариллис Лугоцвет и обхватила голову руками.— Знаем друг друга веками, как сказали бы чужане, и вот тебе на...

Альпинокс с любезным видом налил водки в маленькую рюмочку.

— Выпейте-ка,— сказал он,— это пойдет вам на пользу.

— Снова пить, после всего, что случилось со мной вчера?

— Почтеннейшая, вы, должно быть, все еще не знаете что это единственное спасение. Не давай печи остыть, коли не хочешь чувствовать себя несчастным. Даже чужанам известно это допотопное домашнее средство.

— Так вы думаете?..— робким голосом спросила Амариллис Лугоцвет. Осталось совсем немного, чтобы она целиком и полностью осознала себя чужанкой.

— Да, я так думаю,— ответил Альпинокс, и Амариллис Лугоцвет покорно опрокинула в себя рюмку.

Когда вслед за тем они с Альпиноксом отменно позавтракали, Амариллис Лугоцвет почувствовала себя более или менее умиротворенной. И впервые поняла, какую большую склонность издавна питает к Альпийскому королю, в чем до сих пор никак не хотела себе сознаться.

— Как вы, почтеннейшая, намерены провести нынешний день? — спросил Альпинокс, когда они, чтобы размять ноги, немного потоптались на снегу перед домом.

— Ведь масленица еще не кончилась? — осторожно спросила Амариллис Лугоцвет, искоса бросив вопрошающий взгляд на Альпинокса; тот в ответ кивнул головой,

— Тогда надо достойно справить проводы масленицы,— заявила она.

— Вы облачаете в слова то, что я чувствую, почтеннейшая,— откликнулся Альпинокс и еще раз поцеловал ей руку.

— Но я не хотела бы оставаться в этом костюме и снова стать жертвой грубых местных обычаев,— сказала Амариллис Лугоцвет и засмеялась.

Альпинокс опять повел ее к себе в замок, где в гардеробной лежали наготове костюмы пестряков — мужской и женский. И вскоре оба пестряка уже расхаживали по поселку, швыряя ребятишкам полные пригоршни орехов.

Когда под вечер они зашли в большой трактир, чтобы принять участие в проводах масленицы, Амариллис Лугоцвет едва сдержала волнение, увидев за одним из столов знатного охотника и цыганскую принцессу, с тою лишь разницей, что теперь они обменялись костюмами.

Но ради Альпинокса она ничем себя не выдала. Впрочем, она могла считать свою миссию законченной.

*

Когда Софи вошла в зал ресторана, большинство гостей уже сидело на местах, и, продолжая искать глазами двух восточных дам, она очутилась вдруг возле столика, за которым езде было свободное место — между Розалией, фрейлейн фон Триссельберг, и задумчиво-грустным фон Вассерталем. Фрейлейн фон Триссельберг так радушно и непринужденно предложила Софи занять это место, что та охотно села, хотя ее не покидало чувство, будто здесь на самом деле должен сидеть кто-то другой. Но и господин фон Вассерталь любезно с ней заговорил, сразу взяв слегка игривый тон. Софи моментально его раскусила; он принадлежал к тому тину мужчин, которые не умеют разговаривать с женщиной иначе, даже если не питают на ее счет никаких особых намерений.

Отмечался либо чей-то день рождения, либо еще какое-нибудь торжество— во

всяком случае, ужин был праздничный. Подали «голубых» гольцов в пряном соусе, со свежим картофелем и петрушкой, а на десерт ожидалась зальцбургские клецки, однако необходимость приготовления такого количества клецок одновременно вызвала на кухне легкую панику, пока некоторые дамы, под предлогом, что они хотят подышать воздухом, не прокрались па кухню я своими волшебными ручками не ускорили дело, да так, что вскоре буквально перед каждым уже стояли, клецки, переливаясь нежными оттенками — от золотисто-желтого до кофейно-коричневого.

Вначале Софи еще пыталась соблюдать умеренность, думала отказаться от картофеля и вообще отведать всего понемножку, однако ее здоровый аппетит и хороший гастрономический вкус одержали победу, и она каждый раз опустошала свою тарелку, молча давая себе зарок завтра не меньшей мере одну трапезу пропустить.

— Вам бояться нечего,— заметил господин фон Вассерталь.— Погода становится лучше, вы сможете часто купаться и плавать. Известно, что от купанья хдеют. .

— Вы полагаете? — спросила Софи и слегка покраснела. Она только что заметила, что фон Вассерталь и красивая персиянка обменялись страстными взглядами.

Охотнее всего она бы пересела. Но страстные взгляды, которыми он обменивался с персиянкой, как будто не мешали фон Вассерталю болтать с нею дальше. На нее он тоже бросал, если только глаза ее не обманывали, выразительные взгляды, пусть и по столь откровенные и рискованные. Он рассказывал ей о рыбах разных пород, которые водятся в озерах и реках Штирийского Зальцкаммергута и она слушала его с удивлением, ибо о большинстве ничего не знала, хотя родилась и выросла в этих местах. Внове были для нее и разнообразные, все еще применявшиеся способы рыбной ловли. Для нее рыбаки были рыбаками, и когда вечерами они отплывали в своих челнах, ей было ясно, что они едут рыбачить, и других объяснений не требовалось.

— Так-то оно так,— сказал фон Вассерталь,— но на деле это всегда гораздо сложнее, многогранней и разнообразней. Даже люди, живущие на самом берегу озера, способны спутать вершу с сачком, если рыбу они только едят.

— Зато уж если они начинают ее ловить,— вмешалась фрейлейн фон Триссельберг,— то становятся все изощреннее в выборе путей и средств... Будьте начеку,— со смехом прибавила она, обернувшись к Софи.— Этот водолей вливает вам по капле в уши сладкие слова, и не успеют они проникнуть в глубь вашей ушной раковины, как вы уже попались.

Софи, к собственному удивлению, расхохоталась, как школьница: приятная наружность и странно-сдержанная любезность этого господина фон Вассерталя уже навели ее на такие мысли.

— Дорогая Розалия,— сказал господин фон Вассерталь,— вы сильно преувеличиваете мое влияние. Да и женщина такого типа, как госпожа фон Вейтерслебен, к сожалению, никогда не попадется. Она, в лучшем случае, только подойдет близко к сети.

— Ах, ваши благозвучные речи почти что убедили меня, дражайший фон Вассерталь.— Фрейлейн фон Триссельберг пыталась имитировать его витиеватый слог. Но, тотчас вернувшись к своей обычной манере, сказала: — Против вас есть только одно средство — бежать.

— Каковое вы, бесценная Розалия, успешно применяете с незапамятных времен,— ответил фон Вассерталь с галантным поклоном.— Да будет вам известно,— пустившись в объяснения, он воспользовался случаем, чтобы легонько коснуться оголенной руки Софи,— что мы с Розалией в наших разговорах, к сожалению, не вправе пользоваться спокойно-интимным языком бывших любовников,

хотя так давно знаем друг друга. Лично я безутешен по этому поводу,— наш роман за все эти годы так и не состоялся, сколько их ни минуло.

Софи очень нравился этот шутивно-откровенный тон, она поглядывала то на одного, то на другого и была рада, что в глазах красавицы-персиянки, которая меж тем снова бросила в их сторону завораживающий взгляд, на сей раз оставшийся без ответа,— она не единственная виновница волнения господина фон Вассерталь.

— А теперь это нам уже не грозит,— сказала Розалия фон Триссельберг, по своему обыкновению скорчив смешную мину, и Софи, смеясь, заметила:

— Не говорите так, случается, что тебя это настигает в тот миг, когда ты уже перестала об этом думать.

— Смею ли я рассчитывать на такой миг у вас? — намеренно громким шепотом сказал ей на ухо фон Вассерталь, и они с Розалией снова расхохотались.

Между ними установилось некоторое взаимопонимание, и Софи это было приятно. Ведь в этой большой компании она чувствовала себя не то чтобы совсем чужой, но и не вполне своей. А странный феномен, когда она вдруг начинала понимать здесь всех и каждого, пока что не повторялся, и возникал вопрос, не вызван ли он исключительно ее вчерашним состоянием и повторится ли вообще.

Когда тарелка и блюда из-под зальцбургских клеток были убраны, гости принялись за вино и прочие напитки, и можно было лучше разглядеть сидящих за столами.

Фон Вассерталь только что опять обменялся с персиянкой многозначительным взглядом, когда в зал вошла Амариллис Лугоцвет. Она под села к персиянке и приветливо помахала рукой Софи и фон Вассерталю, тот в ответ слегка наклонился и, обратившись к Софи, отрекомендовал ей Амариллис Лугоцвет как одну из приятнейших особ среди местных жителей. Словно подтверждая это суждение, фрейлейн фон Триссельберг зевнула, прикрыв рот ладонью, и сказала:

— На мой вкус, она немножко чересчур важная, но мой вкус в счет не идет.

— Пора бы вам уже понять, что вы исключение,— сказал господин фон Вассерталь хоть и вполне вежливо, но с ехидцей.

— Разве я не понимаю? — Фрейлейн фон Триссельберг рассмеялась и, на глазах у всех, вытащила из-за пазухи прядь медно-рыжих волос, попавшую туда потому что у нее расстегнулась верхняя пуговица блузки, и стала наматывать эту прядь на палец, украшенный кольцом из оленьего клыка. Оправа двух отшлифованных, блестящих подвесок, также из оленьего зуба, представляла собой серебряные филигранные дубовые листочки с крошечными золотыми желудями, а на шее у нее в этот раз красовался кулон из оленьего рога на серебряной цепочке, в такой же оправе. Гранатового браслета Софи сегодня не заметила.

— Дорогая Розалия.— Господин фон Вассерталь наклонился к ней за спиной у Софи.— Я восхищен вашей способностью каждый раз являть себя миру и людям в новой свете.

— Не стоит изощряться во взаимных комплиментах,— ответила Розалия,— хотя я и очень ценю подобную способность у вас при общении с существами иного порядка.

Зазвучала тихая музыка, и, обменявшись с прекрасной персиянкой еще одним томным и проникновенным взглядом, фон Вассерталь пригласил Софи танцевать.

Софи поднялась легко, несмотря на обильную трапезу, и когда она в объятиях фон Вассерталь, который вообще-то был совсем не в ее вкусе, заскользила по свободному от мебели малому залу ресторана, то даже та небольшая близость между ними, которой требовал танец, почему-то вызвала у нее легкую дрожь, и хотя сама Софи не могла объяснить себе ее причину, она с чистым сердцем предалась этому не сильному, но приятному волнению, словно то обстоятельство, что все это происходило в танце, нейтрализовало ее смутные вожделения, делало их настолько

неуязвимыми, что не было нужды преодолевать их и принимать какие-либо меры предосторожности. Она не противилась, когда фон Вассерталь прижал ее к себе — мягким, но недвусмысленным движением, которое никак не вязалось с его задумчиво-мечтательным видом. Она даже была благодарна фрейлейн фон Триссельберг, когда та заговорщически ей подмигнула, Софи и сама так же заговорщически подмигнула ей в ответ. Только от Амариллис Лугоцвет она не дождалась улыбки, когда однажды поверх плеча фон Вассерталя встретила с ней глазами.

Когда кавалер Софи отвел ее обратно на место, она чувствовала себя довольной и раскованной, несмотря на то, что ее отношения с фон Вассерталем нисколько не изменились, словно это был не человек, не реальное лицо, в которое можно влюбиться, а некий символ эротики. В зале стало немного потише, хотя разговоры еще продолжались. Только у Софи вдруг опять возникло ощущение, словно она участвует в хоре голосов, которые слышны ей и понятны без всяких усилий с ее стороны, как будто все происходит только в ее сознания, хоть она и видит, как другие говорят и жестикулируют.

Она заметила, что фон Вассерталь под столом наступил ей на ногу, это прикосновение было безлично-нежным и естественным, как ласка воды, и по настоящему она ощутила его, только когда он на миг снял свою ногу.

Софи вся превратилась в слух, слова налетали на нее, как стая птиц, долго круживших над ее головой и потом опустившихся.

— ... все это вопрос Времени. Нашей необычной долговечности. Надо дождаться равновесия сил и снова вжиться в нормальные условия...

— Нет пет, нет. Дело опять зашло слишком далеко. Мы должны наконец решиться.

— Скорость движения увеличилась. Если мы хотим остаться самими собой, то должны решиться...

— Признаюсь, спираль мне больше по душе, чем круг. Изменчивость постоянна...

— Я не желаю опять ждать, пока меня что-то изменит. Мы должны взять свою судьбу в собственные руки...

— Соблазнительная возможность возвращения...

— Метаморфоза. Изменение образа, строя сознания, а значат, и самого сознания... Утратить идентичность, верность себе. Обретать ее лишь урывками, в воспоминаниях...

— А смерть здесь кто-нибудь принимает в расчет?

— Дорогие сестры, дорогие родичи... Демократизация в мировом масштабе... Как же так?... Значит, и мы будем страдать с ними вместе?

— Но ведь в совершенно новом аспекте: мы получим возможность остаться верными себе и пересмотреть ваши отношения с существами иного порядка.

— Перенаселенность... мы должны опять найти свое место... наши силы... сформировать их, сосредоточить... наше искусство как прибежище... нет, как средство спасения... не дать ему заглухнуть... укрепить его в узкой иррациональной сфере, пользоваться им... или сойти со сцены.

— Элитарность... к чему вы это приплели... хоть бы научить их по-настоящему мечтать...

— Если я предпочту камень или цветок...

Софи была не в состоянии постичь смысл всего, что здесь говорилось. Ее мозг был неприспособлен к одновременному восприятию стольких суждений, и что-то в нем не срабатывало.

Софи слышала, как господин фон Вассерталь любезно уговаривает ее выпить еще бокал вина, она так скупое его расходует, что в горле у нее, наверное, совсем

пересохло. Вспомнив свое состояние сегодня утром, Софи пыталась воздержаться по мере сил, но, действительно почувствовав сухость в горле, о которой толковал ей фон Вассерталь, позволила ему снова наполнить ее бокал, а нежные прикосновения его ноги словно обволакивали ее до колен ласковой волной.

Амариллис Лугоцвет была поглощена разговором с Драконитом, разговором, по-видимому, очень серьезным, потому что оба собеседника то и дело решительно трясли головой, пока Амариллис Лугоцвет наконец не улыбнулась и успокоительно не похлопала по стиснутой в кулак руке Драконита, после чего он как будто смягчился.

Даже фрейлейн фон Триссельберг пустилась в долгие словопрения со своей соседкой по столу, хрупкой блондинкой, приехавшей, должно быть, с Британских островов, но из всего их разговора Софи расслышала только слова «полоска тумана», потому что они повторялись неоднократно.

Один лишь господин фон Вассерталь как будто бы оставался безучастен ко всем разговорам вокруг. Наоборот, он воспользовался возможностью продолжить свой флирт с Софи и спросил ее, не хочет ли она выйти на воздух и прогуляться по берегу озера.

Когда же Софи, чувствовавшая себя в этом обществе еще не вполне уверенно, отклонила его предложение, он сказал, что весьма сожалеет, ведь если бы они на часок исчезли, этого бы никто не заметил, до того все заняты проблемой.

— Какой проблемой? — Софи насторожилась.

— Проблемой божества и мира,— с улыбкой сказал фон Вассерталь. Его самого все это не так уж волнует и не так близко касается. Он присутствует при обсуждении проблемы лишь из солидарности, из дружеского расположения, из сочувствия,— называйте, как хотите. Если говорить честно, его гораздо больше увлекает светская сторона дела, к которой причастны такие пленительные дамы, как она, не то ведь какал скука — целый год провести среди одних и тех же людей. И он поцеловал ей руку совсем иначе, чем целовал Альпинокс, а она руки не отняла.

С тех пор как Софи рассталась с Филиппом, она еще ни разу не поддавалась так охотно маленьким проявлениям нежности со стороны мужчины, но ее женский инстинкт пока что ее не настораживал, а потому она принимала эти ухаживания без колебаний и с удовольствием.

Когда она вдруг почувствовала себя очень усталом, вернее сказать, слишком усталой, чтобы продолжать болтать с фон Вассерталем, то опять приписала это действию вина. Но она устала только физически. В голове у нее зародилось разом множество вопросов, о существовании которых она доселе и не подозревала, и она так глубоко погрузилась в размышления, что едва замечала происходящее вокруг.

Неужели действительно все упирается в вопрос Времени? Даже для тех, кому его отпущено мало? Разве тому, кто дольше живет, жизнь дается легче? Если не можешь ждать, пока все уладится само собой, значит, надо решиться? В пользу чего? И против чего?

Если б нашелся кто-то, познавший Время задолго до тебя, и дал бы тебе совет. Что это значит — принимать жизнь таков, какая она есть? Не вернее ли будет сказать, что жизнь такая, какой мы ее принимаем?

Как надо жить, когда у тебя никто не спрашивает отчета? И как, если тебе самой не у кого его спросить?

Когда я играю на сцене, остаюсь ли я самой собой? Или во мне живет кто-то другой? В какой мере мое искусство отчуждается от меня, чтобы слиться с искусством других?

Служим ли мы искусству? Или только пользуемся им?

Таится ли в жизни иной смысл, нежели наше стремление быть верными себе? Стремление быть одним-единственным, неповторимым, которое мы осуществляем с

трудом и в муках?

Единственная, неповторимая, верная себе?

Разве мы не играем без конца одно и то же? Разве люди не подражают друг другу? Не повторяется ли все на свете?

В чем смысл всего? В обновлении? Открывать новое — да, но изобретать самим? Составлять из элементов уже существующего во все новых комбинациях.

Ну, а удовлетворение, которое ощущаешь, хорошо сыграв роль? Радость выражения. Способность, оставаясь единственной, неповторимой и верной себе, быть еще кем-то другим. Не состоит ли творчество именно в соединении того и другого? А утешительное сознание, что можешь снова вернуться к самой себе? Но в какой мере? Что остается от нашего «я», когда мы изменяемся? Таинство метаморфозы. Что остается неизменным, когда гусеница превращается в куколку? Всегда ли все изначально заложено в клетке? Существует ли свободная воля — свободнее той, что требуется для выбора между возможным и невозможным?

А смерть кто-нибудь принимает в расчет?

Вот так вопрос. Претерпеть метаморфозу, превращение, но не умереть. Жить, переходя из одного состояния в другое, с бесконечно растяжимым сознанием. И, воздавая должное своему искусству, захватить его с собой даже в другое агрегатное состояние.

Искусство как образ жизни. Не продукт творчества, а состояние. Состояние, усиленное особой настроенностью. Настроенность, усиленная движением. Движение, усиленное особым сосредоточением. И при ином исчислении времени. Итак, разве все не упирается в вопрос Времени?

Несколько минут Софи сидела с закрытыми глазами, а когда она их открыла, ей представилась почти та же картина, что и прежде, с той только разницей, что фон Вассерталь перешел за другой стол и сидел теперь напротив нее, между Амариллис Лугоцвет и прекрасной персиянкой, а перехватив ее взгляд, приветливо ей кивнул.

У Софи было такое ощущение, что едва она закрыла глаза, как тяжесть вопросов, блуждавших по залу, оглушила ее. Она взглянула на часы, уже перевалило за полночь, и она почла за благо поскорее встать и как можно незаметней удалиться к себе в комнату.

В зале как будто прибавилось народу. Софи заметила лица, которых не могла припомнить. И не все присутствующие теперь были в местных костюмах. Юные девушки в просто сшитых зеленых платьях сидели небольшими группами в глубине зала, откуда с любопытством прислушивались к разговорам. А господина Драконита окружили какие-то низкорослые человечки в одежде рудокопов, с рюмками в руках, они о нем-то спорили. У Софи слишком устали глаза, чтобы чему-либо удивляться, а потому она не обратила внимания ни на причудливых лесных обитателей, ни на прозрачные горные создания, пытавшиеся любопытными глазами рассмотреть и выяснить как можно больше из происходящего в зале.

*

Софи и на этот раз не вполне отдавала себе отчет, как очутилась в постели, хотя голова у нее была более ясная, чем тогда, и признаков похмелья не замечалось. Она спала, убаюканная шепотом и шелестом, и словно плыла в лодке. Среди многообразных снов, скользивших мимо нее, как виды речных берегов, мелькнул однажды и Филипп,— он махал ей, глядя печальным взором, но ничего не сказал.

Филипп и Клеменс, подумалось ей. Поняли бы они друг друга или нет? И пока она, еще лежа в постели, рассеянно жевала свежую утреннюю булочку, на нее надвинулось и это воспоминание, оно причиняло боль, но было всего лишь воспоминанием, а значит, все это случилось, как случилось, и ничего больше изменить нельзя.

Филипп был у нее первым любовником, оказавшимся моложе ее. Не намного, но два-три года разницы между ними все-таки были.

Их связь началась в то время, когда вошло в моду устраивать дискуссии после спектакля. Ей довелось играть в нескольких пьесах с недвусмысленной социальной тенденцией, вызвавших споры. Труппа, в которой она тогда состояла, ставила серьезные пьесы и выступала преимущественно в университетских городах. И так уж повелось, что актеры после спектакля тоже подсаживались к желающим подискутировать, собиравшимся небольшим кружком, и сидели — иной раз до поздней ночи.

В этих зачастую совсем молодых сравнительно с нею людях Софи особенно поражала их нескрываемая озабоченность судьбами других людей, да и всего человечества в целом. Их речи, лица подчас дышали таким энтузиазмом, что Софи ее могла оставаться равнодушной.

Ей самой до того времени не приходило в голову, что ее собственная материальная и духовная ситуация обусловлена определенной системой, она была далека от того, чтобы возлагать ответственность за те или иные события своей жизни на какие-либо обстоятельства, кроме сугубо личных. Теперь же у нее, как сама она шутя говорила, словно открылись глазами ее почти детская любознательность, ее наивная вера в увлекательные модели мира вызвали симпатию к ней даже у самых молодых, — для них не было большего удовольствия, чем просвещать ее, называть ей книги и статьи, которых она все равно не читала, ибо чаще всего довольствовалась тем, что ее жизненный опыт находил себе подтверждение у других и был сочтен ими достаточно показательным.

Какое-то время она позволяла выставлять себя напоказ как человека, чья молодость была загублена, испоганена обществом, из которого она вышла, но вскоре устыдилась и вернулась к прежнему своему убеждению, что ее судьбу направляли все же ее собственные дух и тело, если ее вообще можно было направлять. И что она по собственной воле отважилась на некоторые поступки, с которыми обществу потом пришлось примириться.

Когда она впервые услышала выступление Филиппа, то сочла его фанатиком, и его аргументы отнюдь не показались ей убедительными. И тем не менее, чем дольше она его слушала, тем больше удавалось ему перетянуть ее на свою сторону. Темные волосы спускались у него до плеч, он носил серые брюки и серый пуловер, а единственной данью тогдашней моде на всевозможные украшения был браслет из конского волоса, которым он иногда поигрывал. Вид у него был скромный и сдержанный, ничего бросающего. От окружавших его молодых людей Филиппа отличал только неизменно грустный взгляд, причем иногда возникало ощущение, будто грусть эта напускная, скрывающая под собой иные чувства.

В его выступлениях, казалось, была своя система. Он долго сидел молча, курил и слушал, до тех пор, пока присутствующие не начинали приходить к согласию, нередко лишь под воздействием усталости и скуки, или пока не вырабатывалось какое-нибудь суждение, которое оставалось только подкрепить, но в целом оно уже не вызывало сомнений.

Именно в этот момент на Филиппа словно падала искра гаснущего огня, и он вдруг задавал какой-нибудь вопрос. Вопрос по видимости безобидный, и тот, кому он был адресован, не чувствовал подвоха, отвечал неохотно и вяло, словно это был отголосок формально уже законченной дискуссии, не заслуживающий внимания, и удостоить ответа его следовало разве что из чистой вежливости. За первым вопросом следовал второй, чуть более колющий, — но тоже еще почти не предвещающий той битвы, которая сейчас разгорится. Третий вопрос бывал обычно последним — Филиппу удавалось наконец не только задеть, но и огоршить всех.

Филипп не всегда занимал одну и ту же позицию,— Софи поняла это много позже. Одни считали его анархистом крайне левым, другие — либералом или даже религиозным человеком. Но силой убеждения он обладал всегда. И наверное, мог бы играть ведущую роль, если бы решился отдать предпочтение какой-либо одной из этих «идейных цепочек». Если бы в последний миг, как раз тогда, когда он успел уже убедить всех присутствующих в обоснованности или даже верности своих утверждения и всех взбудоражил до такой степени, что они готовы были его одного слушать, ему одному верить,— если бы именно в этот миг он вдруг не ставил под сомнение и себя самого, и точку зрения, какую только что защищал.

Директор труппы, в которой тогда состояла Софи, человек, желавший слыть передовым, вскоре обратил внимание на Филиппа. Его редкостное обаяние,— ведь людям уже казалось, что дискуссия после спектакля неотделима от самого спектакля, как его составная часть,— не должно было, по мнению директора, пропадать втуне. А так как Филипп, хоть он и был студентом, по сути дела бродяжничал, он принял, возможно, ради самоистязания, предложение директора за скромное вознаграждение, бесплатную пищу и кров поездить некоторое время с его труппой, чтобы в качестве дополнительного аттракциона поднять интерес публики к ее спектаклям. Так и возникли более тесные отношения между Софи и Филиппом, а началось все с того, что они сидели рядом в автобусе и она поясняла ему, где и мимо чего они проезжают,— почти все дороги были ей уже хорошо известны. Она была признательна ему хотя бы за то, что он не старался лишить ее уверенности в себе,— трюк, который удавался ему почти со всеми, когда он только ставил себе такую цель.

С другой стороны, она была заинтересована в том, чтобы у вето поучиться. Она была бы рада, если бы он с самого начала стал ей что-нибудь объяснять. Что-нибудь такое во что еще верил сам. Что покамест считал правильным. Она готова была восхищаться его умом, остротой его мысли, если бы могла извлечь из них пользу для себя. Ей претило ломать голову над чисто теоретическими рассуждениями, не представляя себе возможности применения их на практике. Она жаждала просветительных, наводящих на мысли бесед, которые помогла бы ей лучше понять жизнь и положение в мире. Не то чтобы она сознавая собственную беспомощность, хотела получить готовую систему мышления, нет, ей просто хотелось многое узнать, хотелось понять, за что и против чего она может ратовать с чистой совестью. Ее ранило, что Филипп, по всей видимости, не считал ее достойной своих уроков.

Когда в один прекрасный день Филипп заявил, что он ее хочет, хочет, хочет... он чуть ли не выкрикивал эти слова ей в лицо, она опустила голову, поняв, что теперь он намерен и с нею сыграть свою обычную шутку — лишить ее всякой уверенности в себе.

Она не предполагала, что у него это так серьезно, еще меньше предполагала она, что он будет так нежен и так преисполнен желания. Он униженно выпрашивал ласку,— как в ненастье бездомный пес,— одержимый страхом, что она по какой-либо причине может его отвергнуть. Но его желание, хоть и безмолвное и не чрезмерно жадное, было все-таки властным и покоряющим. Еще ни разу в жизни Софи не чувствовала в такой мере, что дарит счастье, и эта радость дарения пробудила любовь в ней самой. Впервые они сблизились под открытым небом, когда вместе со всей труппой отправились в выходной день на пикник. Тогда они слишком долго лежали в вечерних сумерках на траве у опушки леса,— на другой день у Софи началась ангина. Филипп не отходил от нее во время болезни.

Теперь, по прошествии многих лет, тот год, прожитый с Филиппом, казался ей каким-то необыкновенным, и если она о чем-то и вспоминала с тоской, то не о самом Филиппе как личности, а о Филиппе как символе близких отношений, стойкость и длительность которых извели ее, словно физическое страдание.

В течение того года она играла для Филиппа такую многообразную и всеобъемлющую роль, что заменила ему не только разных людей, а весь мир и все общество.

Окружающим Филипп давал понять, что Софи — его собственность. На самом деле он делал все для того, чтобы она считала его своей собственностью. Он не мог удержаться и не положить ей руку на плечо, когда она разговаривала с другими людьми, или еще каким-нибудь жестом не показать, что известные его права должны уважаться всеми.

Когда они оставались одни, на Софи обрушивались все его страхи и сомнения, вся его неспособность на что-либо решиться.

— Информация...— спрашивал он, ведя в ее присутствии бесчисленные разговоры с самим собой.— Мы думаем, что располагаем информацией, на которую можем положиться. Действительно ли у нас есть информация? Можем ли мы положиться на то, что знаем? Можем ли вообще что-то знать? Разве для того, чтобы составить себе представление о целом, не требуется знание множества деталей? Деталей, которые мы можем знать в лучшем случае, когда дело касается нас самих? И Время, Время — за ним ведь остается последнее слово, через сто лет, или еще раньше, оно посмеется над нами. Насколько иным все выглядит в глазах истории... Стоит только представить себе, что будет написано в исторических трудах будущего о событиях наших дней... Какие тенденции, какие решения покажутся тогда самыми верными? Где, в каких делах признают насилие необходимым, а где лишь задним числом обнаружат его и осудят? Какой тип гуманизма, вопреки себе, будет иметь неожиданно дурные последствия? И какой тип материализма окажется и впредь настолько влиятельным, что даже будущее не сможет беспристрастно судить о нем? Какое из нынешних прогрессивных движений приведет нас к полному застою и какой тип традиционализма обернется на деле истинным, нераспознанным прогрессом? Кому из мертвецов дадут покоиться с миром как неизбежным жертвам на пути человечества к более достойному его будущему, а кого воскресят, поднимут из могил и будут славить как героев? И какие бы решения мы ни принимали сейчас, как бы мы ни действовали, с какой бы чистой совестью ни избирали то или иное направление, вопрос заключается в том, остались ли бы мы такими, такое ли решение приняли бы, так ли бы действовали, такое ли избрали бы направление,— верное или неверное,— знай мы наперед, что нас ждет в будущем? Если бы нашелся человек, способный пройти сквозь века, снова а снова прорвать сеть смерти и дать нам совет. Человек, который постиг игру и сдирала Времени, его механику и его обманчивую видимость, который мог бы указать вам масштабы, по каким вас когда-нибудь будут мерить, независимо от наших добрых или злых намерений.

Чем дольше знали друг друга Софи и Филипп, тем сложнее становились их взаимоотношения. Готовность любить достигла у Софи небывалой в ее жизни степени но Филиппу все еще было мало. И чем явственнее долгая привычка ослабляла возбуждение, так что приходилось иногда искусственно его подстегивать, тем более высоких вершин сомнения и отчаяния достигал Филипп, чтобы время от времени кидаться с этой огромной ледяной высоты в жаркие объятия Софи, в которых он надеялся раствориться, исчезнуть и от которых приходил в себя лишь много часов спустя, испытывая жестокое разочарование, что не исчез также и физически, что каждый раз все еще остается жив. Этот изнурительный ритуал в трезвом состоянии выдержать было невозможно. В те долгие ночи оба начали пить, отчего дни, наступавшие вслед за ночами, лучше не становились, и Софи стоило огромного напряжения на репетициях и на спектаклях хоть немного собраться с силами, чтобы вообще иметь возможность играть.

Товарищи пытались вмешаться и, как они говорили, образумить Софи. Они

знали ее достаточно давно, чтобы заметить необычность ее поведения. Софи по достоинству оценила их участие и их советы, но ни в малейшей степени им не вняла. Хотя жизнь еще никогда не загоняла ее в такие тиски и напряжение сил временами пригибало ее к земле, ей удавалось сохранять известную независимость, которая сказывалась во всем ее облике. Какая-то царственная уверенность вытеснила все ее прежние сомнения, и если вначале она играла эту роль не по своей воле, то постепенно все больше в нее вживалась. Когда требовалось успокоить Филиппа, дать ему совет, она делала это скупыми словами и щедрыми проявлениями нежности, которым ее никто не учил, которые в определенных ситуациях просто оказывались у нее наготове и надо было только разыскать их в себе и выразить.

Бывало, что Филипп, упившись ее ласками и обнимая ее вялыми от изнеможения руками, говорил куда-то в пространство:

— Почему я не родился женщиной! Я хотел бы быть таким, как ты: сильным и решительным, лишенным этой проклятой неуверенности, которая отнимает у меня всякую радость познания. Быть цельным, как ты, единым и неиспорченным, жить всему вопреки и радоваться. Когда ты стоишь на сцене, ты представляешь многих, но сама ты всегда едина, и никакая сила в мире не может разъединить тебя с собой.

Я же, наоборот, ненавижу себя под всеми моими личинами. Вот почему я так хорошо замечаю дичины на других людях, я их срываю на глазах у всех и показываю этим людям, каковы их маски. Но когда и самому приходится то и дело сбрасывать с себя маску, это пытка.

— Может быть, это не маска, а твое собственное лицо—отвечала Софи,— ты постепенно срываешь его с себя, чтобы обрести другое, более желанное.

И тут начиналось великое возмущение, самообвинения и признания в чем угодно, только не в этом, до тех пор, пока объятия Софи не замыкали в себе все попытки самоуничтожения, пока не наступали успокоение и усталость, которых хватало только до завтра.

После нескольких месяцев их совместной жизни, такой напряженной, что эта напряженность передавалась всем, с кем они повседневно общались, люди стали говорить уже не о несчастной связи Софи Зильбер, а о «трагической покорности», при этом никто толком не знал, кто кому покорен. Но всех в труппе охватила тревога за Софи, которая столько лет безраздельно принадлежала к их семье.

Даже директор включился, с тяжелым сердцем, по его словам, и пытался поговорить с Софи «откровенно, как человек с человеком». Это удалось ему лишь в том смысле, что Софи не отказалась его выслушать, однако его миссия потерпела крах, разбившись о бесхитростную манеру Софи, которая на все его упреки отвечала только одним доводом: она любит Филиппа и уж как-нибудь сумеет со всем этим справиться.

В результате директор отказался от мысли выгнать Филиппа, что намеревался сделать раньше. Когда-нибудь все это само собой кончится, оправдывался он перед остальными.— а пока Филипп так интересно ведет дискуссии, он приносит ах труппе несомненную пользу. А один из актеров сказал: надо глядеть в оба, чтобы Софи не погибла, когда в один прекрасный день этой любви разом не станет.

— Филипп,— прошептала Софи и попыталась представить себе, что было бы, если бы Филипп однажды — например, сейчас, в эту минуту,— предстал перед ней.

Ее охватила истома при воспоминании о том, как алчно домогался он ее ласк, как был ненасытен в любови. Ни с одним другим мужчиной не было у нее такого плотского слияния, такого самозабвенного и полного единения. И когда она закрыла глаза, предоставив своему телу думать за нее, то поняла, какое значение вмела в ее жизни эта неповторимая близость и что она потеряла с тех пор, как рассталась с Филиппом. Но тот Филипп, студент, пустившийся странствовать, подобно подмастерью, чтобы найти себя самого и свой путь в жизни, Филипп, до тех пор

выкрикивавший свои сомнения в мир, которым была для него Софи, пока таким образом от них не излечился,— тот Филипп уже не существовал.

Волей обстоятельств он в корне переменялся. И когда ей случалось увидеть в газете его фотографию и прочитать, на какую очередную ступень своей карьеры он только что взошел, трудно было в лице этого сегодняшнего Филиппа узнать черты тогдашнего, и, пожалуй, одно только любопытство, а не ожившее влечение побуждало ее подумывать о том, чтобы как-нибудь пойти к нему и снова привлечь в свои объятия. Тогда бы она узнала, что произошло с его телом, которое когда-то в течение целого года безраздельно принадлежало ей,— изменилось ли и оно тоже.

Признаки готовящейся перемены проявились еще в то время, когда Филипп стал понемногу приходить в себя. Софи замечала, как, доведя себя до высшей точки отчаяния, он начинал устывать и свои запальчивые рассуждения остужал формулировками типа: от истории ждать справедливости не приходится. Все дело в том, чтобы каждый раз как можно лучше использовать то, что есть. Не обременять себя виной преднамеренно, но и не задаваться вопросом при каждом, даже незначительном деянии, не пострадает ли от него кто-нибудь другой. Ибо слишком многое говорит в пользу деяния. Если собаки брешут, пусть их брешут, но пусть никто не смеет больше к нему лезть с идеей исторического возмездия, потому что если уж возмездие, то оно должно настичь либо всех, либо никого.

Только много позже Софи узнала, почему, именно эти вопросы были так важны для Филиппа. Он выяснил, что его отец был национал-социалистом. Потрясение, которое причинило ему кажущееся противоречие между поведением отца в частной жизни и в политике, не только погнало его прочь из дома, но и заставило усомниться и почти отчаяться во всем. Однако к тому моменту, когда он все-таки усмотрел возможность применить свой жизненный опыт, приспособить его к определенной системе ценностей, а безграничное восхищение, которое прежде испытывал перед отцом, заменить сдержанной терпимостью, не предъявляя больше никаких обвинений, но ничего не забыв, в нем стали вырисовываться отцовские черты; он осознал заложенную в нем деловитость, побуждавшую его чего-то в жизни добиться.

Его расставание с Софи совершалось исподволь, долго. Оно возвестило о себе вначале, казалось бы незначительными словами и жестами, смысл которых Софи, как это ни странно, схватывала очень быстро и очень верно. И, надо сказать, она даже чувствовала облегчение. С одной стороны, время сожителства с Филиппом так измотало ее, что она жаждала покоя. С другой, ее чувство к нему было настолько сильным, что она боялась пустоты, которая образуется с его уходом.

Теперь, когда она оглядывалась назад, эти их последние месяцы представлялись ей самыми прекрасными. То была спокойная страсть, страсть на исходе, которой она, в отличие от Филиппа, опять всецело устремленного в будущее, наслаждалась больше, чем нескончаемыми объятиями первых дней. И ей было забавно наблюдать, как он борется со своим влечением к ее спасительной плоти и как, уже решив про себя вернуться домой, ищет слова и фразы, чтобы подготовить к этому Софи.

Хотя расставание было неизбежным и Софи ничего не предпринимала, чтобы его избежать, она вместе с тем ничем не облегчала его Филиппу. Так она еще больше утверждала его в новообретенной самостоятельности, создавая у него ощущение, будто все решает он один, и он один несет ответственность. Равнодушно смотрела она, как он извивался и мучился, и единственной наградой ему за все эти издержки был ее веселый смех, когда он наконец объявил, что просит дать ему свободу. А ночью, когда они возвращались из ресторана, где торжественно отметили свое расставание, Филипп тоже был в силах смеяться. Он пообещал Софи время от времени ей писать, а если она с театром приедет в тот город, где он живет, то и навестить

Действительно, она получила от него потом три письма, три длинных, многостраничных письма, но никакого отношения к их любви они уже не имели. Софи еще надо было справиться со своей плотью, отучить ее от той почти непосильной роли, которую она исполняла целый год

Софи поставила на тумбочку поднос с посудой после завтрака и, зевая, подошла к окну. Она отдернула занавеску и посмотрела вниз, в пустой сад, и решила покамест не выходить.

И вот чужан опять охватило странное беспокойство, преисполнившее сердца долговечных существ холодом ужасных предчувствий. Обладая значительно более прочной памятью, чем чужане, они растерянно, с ужасом глядели на ближайшее будущее и со все большим ожесточением наблюдали перемены, происходившие с чужанами. Те менялись, менялись неуклонно и быстро, если и не с часу на час, то из месяца в месяц, из недели в неделю. словно некие злые чары, подвластные им одним, разбудили дремавшее в них зло и пустили его гулять по свету, как заразную болезнь, которую многие обманчиво принимали за исцеление.

Амариллис Лугоцвет и Альпинокс все реже предавались веселью в обществе себе подобных. Альпинокс, привязавшийся к местным жителям за много веков общения с ними, был особенно озадачен и огорчен развитием событий, которое он предвидел своим вещим взглядом, и, быть может, именно потому, одевшись в обычный костюм горца, старался теперь почаще бывать среди чужан.

Нередко случалось, что Альпинокс неожиданно подкатывал к дому Амариллис Лугоцвет в своей коляске, запряженной серной, и приглашал ее прокатиться, и они делали на пути остановки, заходя в лесные или горные кабачки, где, не привлекая к себе внимания, как усталые туристы, чем-нибудь подкреплялись, а иногда и участвовали в беседах, словно у них не было другой возможности узнать об изменившемся умонастроении чужан. Но они и без того знали, что это умонастроение выльется на сей раз не в отдельные стычки, в иные времена и в иных местах случавшиеся даже среди им подобных, а во всеобщую войну, это самое чужемерзкое из всех изобретений чужан.

Казалось, сами чужане еще не знают, но их поведение становилось все более задиристым и нестерпимым, хотя пока еще не все держали себя одинаково вызывающе. Но Амариллис Лугоцвет и Альпиноксу довольно было и менее явных признаков, что бы укрепить их в тех ужасающих предчувствиях, которые все более тяжело угнетали их души. И потому каждая из прогулок, приводившая их в общество чужан, была одновременно прощанием с краем, да и со всей страной, которую они твердо решил покинуть.

— Нет сил опять беспомощно на это глядеть...— говорил Альпинокс, когда они обсуждали свой предстоящий отъезд.

— Видеть, как опять разразится это безумие...— каждый раз отвечала Амариллис Лугоцвет. В этом вопросе они были вполне едины.

Будущие жертвы и будущие преступники еще сидели в одних и тех же ресторанных садах, хотя нередко уже за разными столами. Еще смягчающе действовали узы курортных знакомств, длившихся не одно десятилетие, во всяком случае, те узы, что связывали местных жителей с их летними гостями. Ведь труднее ни с того ни с сего начать смотреть другими глазами на людей, которых видишь здесь каждое лето, чем на тех, кто где-то там, за границей, создал для себя другой образ жизни.

Во время одной из таких прогулок Амариллис Лугоцвет и Альпинокс встретили Саула Зильбера, который никак не мог бросить свое излюбленное занятие — рыться в скальных осыпях в поисках редких камней. Чтобы не компрометировать Амелию и

ребенка, не имевшего к нему никакого отношения,— он тоже обладал некоторым даром предвидения,— Зильбер предпринимал свои походы один и жил теперь у друзей.

Они немного прошлись все вместе и зашли отдохнуть в хижину, затерянную в горах, где хозяйничали гномы-перевалыши и где Зильбера знали давно как «камнедробителя». Там можно было посидеть спокойно и за кружкой молока с куском хлеба высказать вслух кое-какие мысли, о которых в других местах опасно было уже и заикаться.

Амариллис Лугоцвет, хорошо осведомлена обо всем, что касалось семейства фон Вейтерслебен, хотя с Амалией она была не так близка, как с ее матерью Сидонией, знала о глубоком чувстве, связывающем Амелию и Зильбера, чувстве, которое, наверное, и послужило причиной того, что Софи была зачата от другого,— ребенок мог сделать еще более прочными узы, и так уже необыкновенно прочные для женщины из этой фамилии.

. Но ей было известно и другое: Зильбер втайне все еще надеялся, что Амелия последует за ним и разделит тяготы неизбежного изгнания, хотя, с другой стороны, он уже слишком хорошо ее знал, чтобы не понимать — Амелия никогда не решится последовать за каким бы то ни было мужчиной. При подобной ситуации приходилось опасаться, что Зильбер упустит время и с закрытием границ, которое уже предвидела Амариллис Лугоцвет, окажется пленником в этой стране. И когда Амариллис не постеснялась выразить ему свои опасения, Саул Зильбер в ответ только вяло кивнул и погрузился в своя невеселые думы, так и не приняв определенного решения насчет отъезда.

Только когда Амариллис Лугоцвет и Альпинокс начали поговаривать о том, что и они хотят покинуть страну, во взгляде Зильбера появился проблеск интереса.

— А куда вы поедете? — спросил он, не то чтобы с любопытством, но все же с таким выражением, будто у него самого тоже есть некий план.

— Наверно, куда-нибудь на Запад...— ответила Амариллис Лугоцвет, сделав неопределенный жест рукой,— она и сама еще не решила, куда, да и не было уверенности, что они с Альпиноксом изберут один и тот же маршрут.

— В Англию? — спросил Зильбер таким тоном, будто и сам уже об этом подумывал.

— Для начала, пожалуй,— согласилась Амариллис Лугоцвет,— а оттуда, возможно, дальше, точно мы еще не знаем.

— Так вы, почтеннейшая, уже решили, куда мы направимся? — с улыбкой спросил Альпинокс.

— В общем, да, но, может быть, вы хотите совсем в другое место? — ответила она, чтобы несколько смягчить поспешность своего заявления.

В тот день они втроем допоздна засиделись в хижине перевалышей, а перед тем, как, хорошенько отдохнув, неспешно пуститься в обратный путь,— было полнолуние, и небо сверкало звездами,— сговорились сообща покинуть страну. От Зильбера ничего не требовалось — только быть наготове и ждать сигнала. Все остальное он мог спокойно предоставить этой любезной чете, обаянию которой подпал всецело. К тому-же он был еще слишком погружен в свои мысли об Амелии и предстоящей разлуке нею, чтобы в его сознании могло зародиться какое-то недоверие предложению этих милых людей, показавшихся ему вполне естественным. Он доверился ими их добрым намерениям, и это было ему на руку, —он надеялся таким образом как можно дольше оставаться возле Амелии, не заботясь о путях и способах своего бегства; самая мысль об этом необходимость все время к ней возвращаться была ему ненавистна.

В последний раз удалось Альпийскому королю пригласить к себе в замок на небольшую вечеринку всех живших в округе Долговечных, и хотя по видимости среди

собравшихся вскоре воцарилось обычное разгульное веселье со всем его задором и вольностями, все же настроение было не такое, как обычно, и когда настала полночь, все, посерьезнев, чинно расселись в кружок с бокалами в руках и принялись обсуждать предстоящие события.

Драконит казался еще более озлобленным, чем всегда,— он привял твердое решение вернуться в недра своей горы. К чужанам он относился теперь как нельзя хуже и намеревался, насколько хватит сил, оградить от них свое царство. Не урвать им ни крупицы из его сокровищ, наоборот, он сам завладеет их сокровищами, и надо сказать, что в некоторых случаях это ему действительно удалось, хотя лишь через несколько лет, а именно, когда война кончилась и кое-кто на людей, бывших за нее в ответе стремясь обеспечить свое личное будущее, второпях зарыл у подножья горы множество ящиков, наполненных золотом. А другие ящики, которые подобные же люди опустили на дно одного из горных озер, забрал себе фон Вассерталь. Не стал он брать только фальшивые деньги, так и оставил лежать на дне,—впоследствии их подняли водолазы.

Фон Вассерталь собирался совершить путешествие по морям-океанам и посетить затонувшие земли, о которых иногда повествуют в сказках легендах чужан, хотя и в искаженном виде. Лишь много позже, ровно через тридцать лет после окончания той роковой войны, одному из чужан удалось в маленькой синей книжечке сообщить достоверные сведения об этих землях(Имеется в виду сочинение австрийского автора Ганса Бидермана «Затонувшие земли. Проблема Атлантиды и другие загадки истории человечества». Грац, 1975,)¹; можно даже предположить, что фон Вассерталь кое-что ему подсказал. Однако у всех домочадцев Вассерталя печально вытянулись лица, когда они поняли, что теперь невесть сколько лет будут прикованы ко дну озера, потому что фон Вассерталь намеревается путешествовать в одиночестве. Но пока он был еще здесь, он тоже помог кое-кому из чужан бежать. Вскоре среди последних распространилась невероятная история про женщину, которая каталась по озеру на лодке и не вернулась назад. Позднее ее видели в Южной Америке, но она никому не рассказала о подробностях своего бегства.

Прозрачная пребывала в состоянии тяжелой депрессии а поговаривала — уже тогда — о возвращении в иную форму бытия. Ей все чаще, говорила она, приходит мысль отдать предпочтение древесному началу в себе. Она только боится, что всеобщее разрушение распространится и на леса, что им угрожают бомбы и пожары, а она не сможет с должной быстротой аннулировать свое превращение в дерево, ведь для того, чтобы перейти в растительное существование, требуется уже огромное напряжение сил.

И пока они таким образом беседовали, их прямо трясло от сознания того бессилия, на которое они были обречены, быть может, и по собственной вине,— бессилия перед непотребством чужан, но в то же время оно помогало им осознать, до какой степени сами они уподобились чужанам и чуть ли не сделали их творениями. Это они-то, явившиеся на свет задолго до тех и уверенные в том, что переход в иную форму бытия зависит всецело от них самих.

— Слишком много мы с ними возились,— кипя от гнева, сказал Драконит.

— И смотрели сквозь пальцы на темп их развития. Он нам даже импонировал. Нас-то они давно уже догнали,— заметила Прозрачная.

— Бели без конца с ними путаться, как делаете вы...— Амариллис Лугоцвет не могла удержаться от ехидного замечания. Но Прозрачная и бровью не повела, и Амариллис продолжала более дружелюбным тоном: —, Но теперь нам все эти рассуждения не помогут. Решать, какую форму бытия мы изберем для себя на будущее, надо без спешки. Самым губительным будет для нас — это ежели мы, под воздействием чужанских катастроф, второпях забежим в собственном развитии. Конечно, мы стали теперь фигурами таинственных былых времен, но ведь только в

глазах чужан. Так неужели мы должны перенять их взгляд?

Альпинокс покачал головой.

— Мы должны научиться смотреть на себя по-новому. Быть может, предстоящее великое путешествие поможет нам познать многое из того, что необходимо познать.

— Авалон... ну конечно же Авалон! — остальные воскликнула Амариллис Лугоцвет. А когда остальные взглянули на нее с недоумением, продолжала: — Остров мертвых, нет, остров фей Авалон. Я поеду на Авалон, и если вы непременно хотите, — обратилась она к Альпиноксу, — то можете меня туда сопровождать.

Наконец и Прозрачную проняло.

— Долмиты, прошептала она, — глубокое всеми забытое ущелье в Доломитах, где давным-давно укрылись мои бывшие товарки.

Только один Евсевий хотел, да и должен был остаться. Он не может, объяснил он, бросить своих перевалышей на произвол судьбы. Надо будет забраться в горы, куда-нибудь подальше, и присмотреть за скотом. Ему выпала самая тяжелая доля, и остальные долговечные существа пообещали наделить его всей той магической силой, какую они способны передавать другим, чтобы он мог защитить себя и своих близких.

Амариллис Лугоцвет и Альпинокс никак не могли расстаться с дорогим их сердцу краем, с любимыми вещами и все еще прощались с ними, когда остальные давно уже отбыли. У них было такое чувство, будто они больше никогда не вернутся сюда, а если и вернутся, то совершенно иными. Они старались не признаваться себе в том, что подспудно в них жил и другой страх — страх распроститься со столь полюбившейся им формой существования. Страх перед превращением, которому они вынуждены будут себя подвергнуть, даже если еще раз вернутся в эти края. Превращение, которого не избежать, даже если им будет дарована еще одна отсрочка — на тридцать — сорок лет чужанского времени.

Мир оказался всецело в руках чужан, и если они, долговечные существа, хотят вернуть себе былое влияние, то должны превратиться в существа иного порядка, совершенно отличные от чужан, а потому способные повергнуть их в глубочайшее изумление, — и за счет образовавшейся таким путем магической энергии набраться новых сил. Сил, которые они смогут в равных долях употребить на пользу всему живому на земле — растениям, животным, людям, а также самим себе.

В один погожий осенний день в конце сентября, когда Амариллис Лугоцвет в обществе Макса-Фердинанда совершала прогулку вокруг озера, она повстречала невдалеке от берега какого-то чужанина, который приветствовал ее новым приветствием, — и тогда ей стало ясно, что она безотлагательно, сегодня же, лишь только стемнеет, покинет эту страну.

Она разослала в качестве гонцов свои желания, и вскоре к ней явились Евсевий и Альпинокс, уже совсем собравшийся в путь. Евсевию было поручено к вечеру при вести сюда Саула Зильбера. Пусть тот возьмет с собой лишь самые необходимые вещи, не больше, потому что дорожный экипаж фей не выдержит чрезмерной земной тяжести. И, кроме того, они попросили Евсевию время от времени заглядывать в горный замок, ставший невидимым для чужан, а также в домик Амариллис Лугоцвет, — на время он как бы затеряется среди окружающей природы и станет таким неприметным, что никто и взгляда на него не кинет. Они еще раз печально посмотрели друг другу в за, обменялись рукопожатиями, а Евсевий почувствовал, как по его древним морщинистым щекам покатались он единственный из долговечных существ уподобился чужанам до такой степени, что был способен плакать. После этого отъезжающие заторопились со сборами.

Теперь, когда час отъезда был назначен окончательно, с Амариллис Лугоцвет произошла разительная перемена — ее печаль и раздражение обратились в бурную

жажду деятельности. Она с такой быстротой носилась по своему маленькому домику, словно на ногах у нее были крылья, с грохотом выдвигала ящики и упрятывала туда горшки и даже нечаянно наступила на хвост Макс-Фердинанду и так часто пробегала мимо Альпинокса, что тот не мог отделаться от ощущения, что мешает, и предложил покамест побыть в саду.

— Нет уж, пожалуйста; — бросила ему на ходу захлопотавшаяся Амариллис Лугоцвет, — нам еще столько надо обсудить. Подумайте лучше о том, как сейчас обещаются в Лондоне.

— В Лондоне? — спросил Альпинокс, немного растерявшись. Он еще не вполне настроился на отъезд, прощание с лесными и горными духами далось ему нелегко, так что ничем другим он заниматься не стал и к Амариллис Лугоцвет явился в обычном своем одеянии и, можно сказать, без всякого багажа.

— Ясное дело, в Лондоне, — нетерпеливо сказала Амариллис Лугоцвет. — Мы же обещали Саулу Зильберу, что возьмем его с собой в Лондон. А у меня нет ни малейшего желания показываться там в штирийском костюме.

— И не надо, — спокойно ответил Альпинокс. — Будет вполне прилично показаться там в обыкновенном дорожном платье, сиречь в дорожном костюме.

— У меня также нет желания, — распалялась Амариллис Лугоцвет, — чтобы все и каждый сразу узнавали во мне эмигрантку. Мы ведь решили ни в коем случае не привлекать к себе внимания, а напротив того, вести себя в этой стране совершенно естественно, будто мы всегда там и жили. Только в этом случае путешествие может принести какую-то радость.

Альпинокс впал в задумчивость, Амариллис же продолжала носиться по дому.

— А вы хоть раз были в Лондоне? — спросил Альпинокс, когда она опять пробежала мимо него.

— Разумеется, и неоднократно, а в последний раз я просто пришла в восторг от этого города. Когда только это было? — Амариллис Лугоцвет вдруг умолкла — Клянусь всеми вещами и образами, кажется при королеве Виктории, я тогда гостила у содной моей подруги по фамилии Нордвинд. С этим чужанским исчислением Времени просто беда — никак не привыкнешь.

С тех пор там, неверное, кое-что изменилось, — заметил Альпинокс, наливая себе остаток можжевелевой водки — не пропадать же ей зря.

— Ясно, изменилось, только эту заботу уж вы предоставьте мне, — заявила Амариллис Лугоцвет, и похоже было, что к ней снова возвращаются спокойствие и уверенность. — Я целых сто лет провела в путешествиях... — Тут Альпинокс увидел, как она, нимало не таясь, сделала несколько магических жестов над миской с луковицами нарциссов.

— Цветы будут охранять мой дом даже лучше Евсевия, — сказала она, все еще обуреваемая противоречивыми чувствами: хоть ею и завладела уже былая страсть к путешествиям, прощание с домом давалось ей тяжело. — Пусть уж это будет моя забота, — повторила она, снова сосредоточив свои мысли на том, что ждало их в ближайшем будущем. — Во всех моих путешествиях... не подлежит сомнению, что мы там освоимся, в конце концов везде найдутся друзья.

— Я со спокойной душой предаюсь в ваши руки, почтеннейшая, — с улыбкой сказал Альпинокс, поклонился и поднял рюмку за ее здоровье. — Не считая того немногого, что под силу моим чарам в самых бедственных случаях.

— Как вы меня находите в таком виде? — спросила через минуту Амариллис Лугоцвет. Она была теперь одета в цветастое шелковое платье с подчеркнута прямыми, благодаря ватным подкладкам, плечами, какие в прошедший сезон носили курортницы-иностранки, и даже поля ее соломенной шляпы сделались широкими и изогнутыми, соответственно моде.

Альпинокс поднял брови, одобрительно закивал головой и нагнулся, чтобы

разглядеть ее чудные спортивные полуботинки, после чего сказал:

— Вам все к лицу, почтеннейшая, что бы вы ни надели. Никогда бы не подумал, что в этих дурацких новомодных тряпках можно так хорошо выглядеть.

Амариллис Лугоцвет взглянула на него с подозрением:

— Что это значит?

То и значит, что я сказал, то и значит. Только вот... Так я и думала, что вы найдете, к чему придраться. Что ж, не сняйтесь, давайте ваши критические замечания... в конце концов едем-то мы вместе. По этой при-только по этой причине, я предоставляю вам право ть мне советы касательно моего костюма. —Успокойтесь, почтеннейшая, я бы никогда не осмелился...— Альпинокс виновато улыбнулся, словно ему предстояло признаться в чем-то постыдном.— Я только хотел сказать, что для это платье, пожалуй, слишком легкое для пресловутого лондонского тумана. Как вы знаете, сейчас осень. Я правда путешествовал всегда только вдоль главных альпийских хребтов, но заглядывал почти во все поперечные долины, вплоть до предгорий, и благодаря этому научился разбираться в макросиноптической ситуации. Поэтому-то я и принимаю во внимание...

— Конечно, на сей раз вы совершенно правы,— перебила его Амариллис Лугоцвет.— Глупо, ято я сама об этом не подумала.

Она выскользнула в соседнюю комнату, Альпинокс же, допив можжевельовку, и сам приступил к изменению своего внешнего облика. Через несколько минут он оказался в темно-сером костюме, который сидел на нем как влитой,— самый модный лондонский портной не сшил бы лучше,— а длинное темно пальто и подходящая к нему шляпа из мягкого фетра лежали наготове рядом на стуле.

Тут как раз вернулась Амариллис Лугоцвет —рожном костюме, в серую полоску, в мягкой фетровой шляпе и темном пальто, перекинутом через руку. Один взгляд друг на друга — и оба расхохотались.

— И всегда-то я попадаюсь на вашу удочку,—воскликнула Амариллис Лугоцвет с наигранной досадой, втыкая себе в петлицу нарцисс. Придирчивым взглядом она оглядела Альпинокса.— Вы совсем не так плохо знаете свет, как хотите показать,— одобрительно заметила она.

Вдруг она стала испуганно озиаться и громко звать Макса-Фердинанда. Песик вначале так заразился лихорадкой дорожных сборов, что повсюду совался и лез под ноги, тяжело дыша и покряхтывая,— он был уже очень стар,— но с некоторых пор его почему-то не было видно. Амариллис Лугоцвет искала, искала, пока не обнаружила его под столом — он лежал бездыханный. Она осторожно вытащила его оттуда, положила к себе на колени и стала нежно гладить по шерстке, еще взъерошенной от смертной муки.

— Этого же не может быть,— приговаривала про себя Амариллис Лугоцвет.— Он должен был прожить еще, по крайней мере, год. Неужели на него так подействовала дорожная лихорадка?

Потом она понюхала его мордочку и вскочила.

— Амариллий,— воскликнула она,— он добрался до амариллия!

Она положила мертвого Макса-Фердинанда на подушку и поспешила на кухню, где нашла открытый тигель. Плотно закрыв, она спрятала его в свою новую кожаную сумку.

— Сколько раз я ему говорила, чтоб он не смел даже нюхать! — горестно и обиженно причитала она.— И вот, пожалуйста. Он просто этого не понял. А говорят, мы имеем власть над животными.

— Мне очень жаль,— проговорил Альпинокс,— что вам приходится теперь прощаться и с этим столь дорогим вашему сердцу спутником.

Амариллис Лугоцвет еще раз взяла на руки мертвое тельце и стала его гладить. Потом повернулась спиной к Альпиноксу, и, повинуясь ее магическому знаку, земля у

нее под ногами разверзлась и забрала обратно то, что принадлежало ей по праву.

Когда она с отрешенным видом снова оборотилась к Альпиноксу, он сказал:

— Путешествие наверняка бы ему повредило. Его жизнь в этом воплощении шла к концу. Быть может, когда-нибудь этот год ему зачтется. Вы не должны ни в чем себя упрекать.

— Ах, знаете,— вздохнула Амариллис Лугоцвет,— у меня их было уже много, и все они умирали. Их век еще короче, чем век чужан. Никак не могу к этому привыкнуть.

Они сидели совершенно готовые к отъезду и смотрели в окно, дожидаясь прихода Саула Зильбера.

«Отошли его прочь, Амелия, отошли его прочь»,— шептала Амариллис Лугоцвет, словно она своими глазами видела сцену прощания. Начало смеркаться, час отъезда неуклонно близился. Едва на небе замерцала вечерняя звезда, которую им хорошо было видно из окна, в дверь тихонько постучали, и вошел Евсевий в сопровождении Саула Зильбера. Вид у Зильбера был усталый, взмученный, словно он только недавно покончил со своей внутренней борьбой. Глаза были красные, от бессонницы и тяжелых мыслей, а рука, в которой он держал обыкновенную дорожную сумку, бессильно свисала,— казалось, он вот-вот эту сумку уронит.

— Хорошо, что вы пришли,— сказала Амариллис Лугоцвет,— нам пора ехать.— И она предложила Саулу Зильберу присесть, что же касается Евсевия, то он поклонился и ушел, печальный и молчаливый,

— Ну-ка,— сказала Амариллис Лугоцвет, сбегав на кухню,— съешьте вот это, вы, похоже, совсем без сил. Подкрепитесь на порогу.— И она подала Зильберу тарелку с печеньем — маленькие печеньица были, казалось, сделаны из одних орехов и по зеленоватому цвету напоминали фисташки. А когда он съел печенье, она подала ему одна из своих гладко отшлифованных стаканчиков, наполненный какой-то темно-зеленой жидкостью, в которой отражался свет луны, стоявшей высоко в небе,— было полнолуние,

Саул Зильбер почувствовал, как к нему приливают силы, а с души словно свалилась огромная тяжесть. Он даже улыбнулся, отдавая Амариллис стаканчик и тарелку,— ей непременно надо было успеть их помыть.

— Ну вот,— сказал он,— значит, я все-таки уезжаю. Но я вернусь, через год или через много лет, но вернусь». В один прекрасный день постучусь в дверь к Амелии и скажу: «Доброе утро, моя дорогая, заметили ли вы, что у вас в саду уже распустились огненные лилии?»

При этих словах Альпинокс удивленно вскинул глаза, но Амариллис Лугоцвет сделала ему знак, чтобы он не мешал Саулу Зильберу говорить. Только так тот сможет преодолеть боль разлуки.

Но теперь уже действительно пора было ехать. Амариллис Лугоцвет заперла дом, и они вышли в ночь. Зильбер был все еще так поглощен собой и разлукой, что не замечал ничего вокруг. Амариллис Лугоцвет отошла от мужчин на несколько шагов в взобралась на невысокий холм. Небо было усыпано звездами, нигде ни облачка. Она вздохнула, сунула палец в рот и подняла его вверх, чтобы определить, с каков стороны дует легкий ночной ветерок. Потом стала произносить заклинания, упорно глядя в одну сторону и взмахивая руками, как будто приманивала что-то к себе. И в самом деле, вскоре к ней подплыло маленькое облачко.

— Что же, не нашлось у тебя облака побольше? — крикнула в темноту Амариллис Лугоцвет, и, казалось, ночь затрясла в ответ всеми деревьями и кустами.

— Не очень-то удобно,— заметила Амариллис,— но как-нибудь устроимся.— Она достала из сумки небольшую катушку, подбросила ее вверх, и нитка, размотавшись, превратилась в тонкую веревочную лестницу, которая зацепилась за облако.

— Идите сюда,— крикнула Амариллис Лугоцвет Альпиноксу и Зильберу.— Пожалуй, вы первый,— обратилась она к Альпиноксу.— Насчет вас я хоть уверена, что у вас не закружится голова.— А когда Альпинокс скрылся на облаке, она сказала Саулу Зильберу: — Будьте осторожны и старайтесь сохранять равновесие. Как только вы окажетесь наверху, вы будете вне опасности.— Она подвела его за руку к веревочной лестнице: — Держитесь хорошенько, обеими руками, сумку можете доверить мне.

— Как романтично,— сказал Зильбер, погруженный в себя. Казалось, он ничему не удивлялся.

— И пока взбираетесь по лестнице, не вздумайте глядеть вниз,— крикнула ему вслед Амариллис Лугоцвет, после того как он одолел первые ступеньки. Всеми своими добрыми пожеланиями она поддерживала его при этом далеко не безопасном для нетренированного человека восхождении. Но хладнокровие, которым наделили его печеньица, помогало ему взбираться вверх бесстрашно и бодро, не оглядываясь назад. А когда он благополучно добрался доверху и ступил на облако, лестница дернулась и, подхватив Амариллис Лугоцвет, медленно, рывками, поползла вверх. «Что такое? — подумала Амариллис.— Обычно это проходит более гладко. Неужто я забыла уже самые простые вещи?» Но тут она почувствовала, как сумка Зильбера тяжело оттягивает ей руку, и перестала винить себя в недостаточно плавном подъеме.

— Вот мы и устроились,— заявила она, усевшись на облаке против обоих мужчин.— Экипаж немного тесный, да только лучшего достать не удалось. В конце концов ведь мы спасаемся бегством.— И она попыталась улыбнуться. Саул Зильбер задумчиво глядел вниз, на поселок, а потому не заметил, как Амариллис Лугоцвет сделала облаку знак отчалить, но оно не тронулось с места.

— Клянусь всеми вещами и образами,— воскликнула Амариллис Лугоцвет,— можно подумать, будто на этом облаке лежит тяжеленный камень! Оно не повинуется мне!

Альпинокс понимающе улыбнулся и взглянул на Саула Зильбера.

— Если вы хотите, чтобы мы двинулись в путь, придется вам с ним расстаться.

Саул Зильбер недоуменно посмотрел на него.

— Даже если это любимейший экземпляр вашей коллекции— вы же сами видите, облако не желает нести на себе камень.

— Ах, вот оно что,— сказал Саул Зильбер и полез в свой нагрудный карман.— А ведь он совсем маленький, никогда бы я не подумал, что из-за такого камешка могут возникнуть затруднения.

— Бросьте его,— попросила Амариллис Лугоцвет,— вы найдете новые камни, лучше этого — я вам обещаю.

Саул Зильбер еще раз хладнокровно взглянул на красивые прожилки камня — след окаменевшего растения, по-том, широко размахнувшись, бросил его в сторону озера. В тот же миг облако сорвалось с места и понеслось с такой скоростью, что всплеска воды от упавшего камня они уже не слышали.

Широко раздув ноздри, Амариллис Лугоцвет вдыхала прохладный и подвижный ночной воздух, который все больше превращался в стремительный воздушный поток, и давно не испытанная ею радость захлестнула ее. Она раскинула руки и вскричала:

— Непостижимо, как я могла столько времени обходиться без этого! Разве это не восхитительно — плыть по воздуху без всякого сопротивления? — Она даже сняла шляпу, предоставив своим волосам развеиваться по ветру. Альпинокс тоже обнажил голову, и на лицо ему упали серебристые пряди.

— Да,— промолвил он,— в этом что-то есть, хотя воздух — это не совсем моя сфера. Смотрите, смотрите,— воскликнул он вдруг,— Альпы! — И, казалось, голос его слегка дрогнул.— Мы могли бы поселиться в одном из моих бывших замков,—

нерешительно сказал он.— Высоко, высоко, среди снега и льдов.

— Тогда вам лучше было бы последовать за Прозрачной,— откликнулась Амариллис Лугоцвет, но это ее замечание прозвучало совсем не ехидно,

— Для этого, пожалуй, уже поздно,— возразил Альпинокс и опять улыбнулся.— Слишком поздно также пытаться излечить меня от моей давней привязанности к вам (Никто так ужасно не боялся употреблять слово «привязанность», как долговечные существа) Я только хотел сказать, что и вершина горы могла стать надежным убежищем, — сам не знаю, почему ч не подумал об этом раньше. — И поскольку Амариллис Лугоцвет ничего не отвечала, прибавил: — Как бы то ни было, на сей раз все решили вы

— На сей раз? — спросила Амариллис Лугоцвет — Боюсь, что в течение этого долгого путешествия, на время которого вы отдали себя в мои руки, я еще не раз буду все решать. Иначе наши пути разойдутся.

— Почтеннейшая, вы слишком хорошо знаете, что я не намерен так просто терять вас из виду, тем более на чужбине.

— На чужбине? О да,— сказала она примирительным тоном,— для вас это, разумеется, чужбина, но что касается меня, то я помышляю об Авалоне.

После этого разговора они умолкли надолго, и каждый углубился в собственные видения того, что им предстоит. Маленькое облако поднималось все выше, и с земли его, наверное, уже нельзя было различить. Поскольку у него все еще не было спутников, оно беспрепятственно летело своим путем.

И словно даже облако предчувствовало события, которым суждено было вскоре произойти: оно забирало все южнее и, только нависнув уже над Вогезами, взяло курс на Британские острова.

— Франция,— мечтательно прошептала Амариллис Лугоцвет,— там я тоже когда-то чувствовала себя, как дома.

Альпинокс молча кивнул, но когда последние отроги Альп скрылись из виду, дрожь прошла по его телу, однако он тотчас взял себя в руки, выпрямился и с этой минуты смотрел только вперед, в ту сторону, куда мчалось облако. Зильбер будто спал с открытыми глазами, во всяком случае, не подавал и виду, что он хоть в малой степени воспринимает происходящее. Позднее ему будет смутно помниться поездка по железной дороге, последняя возможность с помощью друзей покинуть страну.

Меж тем на горизонте поднимались гряды облаков, и во мере того, как путешественники приближались к Бретани, навстречу им плыли все более плотные облака, похожие на плавающий полярный лед, так что им приходилось то и дело искать для себя фарватер. Когда они пролетали над морем, Амариллис Лугоцвет на секунду задержала облако и стала напряженно всматриваться в освещенную луной поверхность воды.

— Видите вы что-нибудь? — спросила она Альпинокса указывая ему на странные пятна в воде, имевшие вполне определенную структуру.

— Да,— ответил Альпинокс,— кое-что вижу, только не знаю, что мне об этом думать.

— Это Ис, затонувшая земля Не, в прошлом — любимое место пребывания многих моих друзей. Интересно, попадет ли сюда фон Вассерталь во время своего путешествия по морям и океанам?

— Почему бы и нет? — сказал Альпинокс.— Лучше бы вы сговорились с ним,— прибавил он слегка обиженным тоном.

Впечатление было такое, будто облако, из-за краткой остановки, попало в скопление туч и не может из него выбраться, и Амариллис Лугоцвет была достаточно занята тем, чтобы найти лазейку и поскорей двинуться дальше. Они со своим маленьким облаком опустили чуть пониже, и хотя над проливом гулял сырой,

порывистый ветер, им все же удалось сравнительно быстро переправиться в Великобританию.

Теперь, когда они были уже так близки к цели своего путешествия, можно было позволить себе не торопиться, потому они неспешно плыли к столице, огни которой виднелись вдали.

Облако нависало теперь прямо над вокзалом «Виктория», но Амариллис Лугоцвет принялась высматривать местечко понезаметней — надо было ведь подумать о Зильбере. Она уже различала внизу людей,— здесь, конечно, можно увидеть их и в такой поздний час,— но все они глядели прямо перед собой — то ли от усталости, то ли из безразличия ко всему, что ни находится у них под ногами.

Амариллис Лугоцвет толкнула Зильбера в бок.

— Мы прибыли,— сообщила она.

Саул Зильбер и в самом деде словно очнулся ото сна, протер глаза и спросил только:

— Что мне теперь делать?

— Подождать, пока я не подам вам знак снизу, а потом осторожно спускаться по веревочной лестнице.

Тучи так плотно затянули небо, что ни луны, ни звезд уже не было видно. И пока Амариллис Лугоцвет плавно опускалась вниз вместе с лестницей, держа в руке сумку, она почувствовала, что сыплет мелкий дождик.

Немного погодя Саул Зильбер стоял на том, перроне, куда прибывает поезд из Дувра — грохот его уже доносился до их слуха. Когда Альпинокс тоже достиг земли по как раз остановился, из него высыпала целая толпа в которой вскоре затерялся Зильбер, так и не придя в себя настолько, чтобы попрощаться со своими спутниками. Возможно, он сразу позабыл о них, лишь только его ноги коснулись земли.

— Вот мы и на месте,— с довольной улыбкой сказала Амариллис Лугоцвет,— надеюсь, ваше величество совершили приятный перелет.

Альпинокс вздохнул,— похоже было, что здешний воздух для него слишком плотный и дышится ему тяжело.

— Боюсь,— сказал он,— что теперь я полностью в вашей власти.

Он подал ей руку, и, пройдя через здание вокзала, она вышли в город, уже блекло рисовавшийся в сумраке рассвета.

На маленьком облаке им было все же тесновато, поэтому они с удовольствием воспользовались случаем немного размять ноги и всё шли и шли, словно видели перед собой совершенно определенную цель.

Их особо утонченное телесное устройство позволило им быстро приспособиться к условиям большого города, однако у Альпинокса вид был все еще немного растерянный, и он озибался в поисках чего-нибудь такого, что помогло бы ему скорее освоиться и прийти в себя. Амариллис Лугоцвет закусил губу, сдерживая улыбку,— она слишком хорошо понимала, чего он хочет. И как только они поравнялись с первым уже открытым «пабом», она замедлила шаг и ввела Альпинокса в небольшой прокуренный зал, где сидело пока всего несколько посетителей, по виду довольно опустившиеся типы.

Для начала они выпили по рюмке бодрящего виски, а поскольку в этом заведении завтраком не кормили, удовольствовались поджаренным хлебом. После первой рюмки Альпинокс как будто бы снова стал самим собой.

— Так, значит, вы, почтеннейшая, будете теперь водить меня по этому прославленному городу? — спросил он и с явным удовольствием опорожнил вторую рюмку виски, которую не преминул заказать сразу же после первой.

— Город, конечно, достоин обозрения,— ответила Амариллис,— но я не думаю, что вам требуется моя помощь. Как бы ни был он великолепен, это всего только творение чужан, так что от вашего взора здесь ничто укрыться не может. Но я хотела

бы познакомить вас с одной дамой из числа долговечных существ, она живет здесь, вернее, отчасти здесь. Во всяком случае, я уведомила мою подругу Нордвинд — фею Северного Ветра о нашем приезде. Мы, несомненно, скоро ее увидим.

После того как Альпинокс выпил вторую рюмку, они опять пустились в путь. Дождик сыпать перестал, но было по-прежнему пасмурно.

Теперь они направились в сторону Сити, немного прошли по Сент-Джеймскому парку, потом по Грин-парку, пока к Альпиноксу не вернулась способность ориентироваться; тогда они медленно побрели по Пикадилли до площади, а затем по другой стороне улицы обратно.

Внезапно Амариллис Лугоцвет остановилась перед китайским рестораном.

— Клянусь всеми вещами и образами,— прошептала она,— как давно уже я не ела таких кушаний! Мы с вами непременно должны отведать китайской кухни.— И вот она уже потянула его за собой в полутемный зал, украшенный китайскими фонариками и ширмами.

— В Роще Великого Спокойствия... — начала было Амариллис Лугоцвет, после того как присоветовала Альпиноксу, какие блюда заказать. Но что толку — слабый чужанский отблеск того волшебного меню может разве что освежить воспоминания.

Альпинокс рассказал об одном из своих путешествий в Гималаи и о диковинных растениях, которые он находил там даже на самой невероятной высоте. Амариллис Лугоцвет вспомнила, что как будто бы однажды встретила фею, которая была родом из тех мест.

Они невольно заразились настроением этого города и самым дружеским образом болтали о дальних странах, поедая жареную лапшу с большими крабами и салатом из бобовых ростков. Чай, который им подали, снискал их полное одобрение, и когда они наконец опомнились, было уже далеко за полдень. Поскольку им ничего не стоило с помощью тайных сил наколдовать себе полные карманы бумажек — того типично чужанского изобретения, которое повсеместно получило название денег, то они щедрыми чаевыми отблагодарили официанта за внимательное обслуживание и, проведя в этом заведении несколько приятных часов, снова вышли на улицу, веселые и готовые к новым приключениям.

— Я думаю, теперь нам надо идти в Гайд-парк,— Сказала Амариллис Лугоцвет,— если чутье меня не обманывает, Нордвинд ждет нас возле круглого пруда.

— Это значит, что нам следует направиться в Кенсингтон-Гарден,— с чувством превосходства поправил ее Альпинокс. Способность ориентироваться вернулась к нему в полной мере.

— А ведь вы правы,— с улыбкой сказала Амариллис Лугоцвет,— впредь я поостерегусь недооценивать вашу помощь.

Рука об руку они медленно шли по Гайд-парку, мимоходом прислушивались к речам выступавших там ораторов — их предсказания касательно нового мирового пожара у одних слушателей вызывали улыбку, другие с тревогой принимали их на веру; оттуда они перешли в не столь многолюдный Кенсингтон-Гарден. Небо немного очистилось, и в лужах отражалось солнце. Все чаще навстречу им попадались матери с детьми, спешившие воспользоваться для прогулки ясной погодой, гувернантки катили по дорожкам парка высокие коляски с малышами, а детям постарше, которые шли с ними рядом, рассказывали про Мэри Поппинз и Питера Пэна.

Они заметили ее еще издали. Высокая женщина во всем белом, с распущенными волосами, ниспадавшими из-под шляпы, тоже белой и украшенной цветами. Она лавировала в плотной толпе гуляющих,— день был воскресный,— словно танцевала в самозабвении, но никто на нее особенного внимания не обращал. Она походила на одну из тех странных пожилых леди, чьи причуды вызывают у всех

снисходительное любопытство, но никого всерьез не беспокоят, однако если бы люди дали себе труд получше приглядеться к этим дамам, то увидели бы, что они вовсе не такие старые, как может показаться по их повадкам.

— О, Нордвинд! — воскликнула Амариллис Лугоцвет, когда обе феи наконец столкнулись, и они тотчас бросились друг другу в объятия.— Я привезла с собой короля Альп, ты сумеешь оценить его по достоинству.— Она познакомила Альпинокса с Нордвинд.

— Я просто восхищена,— сказала Нордвинд несколько взволнованным голосом, как видно, в ее жизни давно уже не происходило ничего интересного.— Я люблю горы с их снежными вершинами, с их ущельями и пиками, потому что вообще люблю все причудливое.— И подавая Альпиноксу, она почти что сделала книксен.

— Но что с тобой, дорогая Амариллис? Бедные твои малыши —Нордвинд нежно погладила нарцисс, который Амариллис Лугоцвет воткнула себе в петлицу.

— Не трогай., пожалуйста, не трогай! - воскликнула Амариллис, но нарцисс уже упал, расколовшись со звоном, и в тентом воздухе осколки его таяли, образуя вокруг себя лужицу и превращаясь в увядшие лепестки.

— Извини меня! — Нордвинд была в самом деле удручена своей неловкостью.- Я просто не знала, что эта хитрость еще действует. Слишком долго прожила я в этом городе, не прибегая к своему искусству, и просто разучилась его применять. Прости...

— Как хорошо я тебя понимаю,— ответила Амариллис Лугоцвет, в ее петлице тут же вырос новый нарцисс— Мы сами тоже очень отделились друг от друга.

Они стояли втроем, непринужденно болтая, и прохожие, раз взглянув на них, шли своей дорогой, не удостоивая их второго взгляда.

— Я так рада, что вы приехали,— сказала Нордвинд, обращаясь к Альпиноксу, ее взгляд обволакивал его, как глетчер — цветущий горный склон.— Отныне многое переменится. Я слишком давно живу среди чужан, они теперь даже не пугаются, заведя меня.

— Благодаря этому путешествию я отчасти вновь обрела себя, хоть облако и было совсем никудышное,— заявила Амариллис Лугоцвет.—С тех пор как чужане научились летать, мы даже в воздухе не чувствуем себя в безопасности. К счастью, на пути сюда вам не встретилось ни одно из этих механических чудовищ, которые в последнее время заполнили небо.

— Полететь...— мечтательно заговорила Нордвинд,— как это прекрасно, полететь вместе с ветром. Я уже просто больна от всех этих улиц, забитых автомобилями, хоть и живу на двадцать четвертом этаже. Хорошо бы наконец вырваться из этого смога, подняться повыше в небо

Решение было принято мгновенно — за какие-нибудь три секунды. Благодаря Нордвинд они могли обойтись и без облака и, взявшись за руки, взмыли в воздух прямо с того места, где стояли, среди бела дня, над головами прохожих. Некоторые даже обратили на них внимание и пристально следили за их полетом, пока они не скрылись облаками.

На другой день в бульварных газетах появились сообщения, где говорилось либо о вознесении нескольких святых,— солидные газеты не приняли этих сообщений всерьез,— либо о неопознанных летающих объектах, не далее как в прошлое воскресенье замеченных над Гайд-парком. Поскольку эти известия исходили из Гайд-парка,— о Кенсингтон-Гардене пресса даже не упоминала,— их тоже никто всерьез не принимал, а тех немногих, кто догадался, в чем дело, во-первых, не спрашивали об их мнении, во-вторых, они и сами не стремились предавать гласности подобные дела. Таким образом, вся эта история вскоре канула в забвение, чему никто так не радовался, как ее участники — Нордвинд, Амариллис Лугоцвет и Альпинокс, ведь они позволили себе увлечься до такой степени. что

пустились в полет — дело для них вполне естественное — прямо на глазах у чужан, чего прежде старались всемерно избегать.

Теперь же они летели и летели над тучами, держа путь на север, и радовались той безграничной шири, которая открылась их глазам,— только формации туч и резко преломлявшийся свет порой мешали им смотреть.

Где-то в районе Хаддерсфилда в Йоркшире тучи стали понемногу редеть, и, подлетая к Шотландии, они рискнули опуститься пониже, так как в этой стране вполне могли рассчитывать на молчаливое сочувствие тамошних жителей.

Они выстроились так, что с земли их можно было принять за огромную птицу, и хотя ее крылья ошеломляли своим чудовищным размахом, такую птицу еще можно было как-то себе представить. Время от времени Амариллис Лугоцвет и Альпинокс проделывали маневр: то падали камнем вниз, то взмывали вверх, подражая повадке знаменитой птицы гриф, появление которой в Шотландии могло бы, правда, вызвать изумление, но навряд ли повлекло бы за собой газетные комментарии.

Амариллис Лугоцвет и Альпинокс вскоре были пленены прелестью открывшейся им картины: орнаменты каменных оград между овечьими пастбищами, прихотливый узор, образованный реками на холмистой зеленой равнине, и очертания побережья, которое всякий по иному защищалось от моря.

— Да, в тоске «тихого народца», есть свой резон,— заметила Амариллис Лугоцвет.—Я начинаю понимать, что наказали их действительно жестоко.

А когда еще солнце залило своим светом этот скромный и оттого особенно прелестный пейзаж, Амариллис Лугоцвет показалось, что она даже различает внизу овец, и она готова была признать наконец некоторую правоту «тихого народца».

— Тихий народец? — спросила Нордвинд, и по ее тону можно было заключить, что она далеко не в восторге от крошечных человечков.

Амариллис Лугоцвет рассказала ей о племени эльфов, изгнанном в Штирийский Зальцкаммергут, не умолчав при этом и об истории с Титиной.

— Они никогда не исправятся,— заявила Нордвинд,— и навеки останутся недисциплинированным, эгоистичным народцем, сколь бы мило они ни выглядели и сколь бы восхитительно ни звучала у нас в ушах их музыка.

Альпинокс все это время молчал, он весь предался созерцанию. Но вот и он подал голос.

— Альпы,— мечтательно сказал он.— Лучше Альп ничего быть не может... Чего бы я не отдал сейчас за то, чтобы с вашей помощью, дорогая Нордвинд,— и он взглянул на нее, насколько это позволял ему полет,— увидеть альпийскую панораму.

— Я тоже люблю Альпы! — восторженно воскликнула Нордвинд.— Мы облетим их вместе с вами, можете на меня рассчитывать. Как только минует это страшное наваждение, к которому готовятся сейчас чужане, мы с вами вместе облетим Альпы.

— Буду вам очень признателен,— заметил Альпинокс,— если вы доставите мне такую радость.

Перед глазами у них уже замаячили причудливой формы камешки, в совокупности своей составлявшие Оркнейские острова, как вдруг. Нордвинд камнем устремилась вниз, что-то бормоча насчет пятичасового чая.

Амариллис Лугоцвет и Альпинокс, привыкшие уже к плавному схождению с облака, испытали изрядную встряску, внезапно приземлившись на горной пустоши, которая весьма изумила Альпинокса — так походила ее растительность на альпийскую флору, Пойдемте-ка,— приветливо сказала Нордвинд, — Я знаю здесь кое-кого из рыбаков, они варят превосходный чай, мы не должны лишать себя такого удовольствия.

Пока они шагали к прибрежным скалам, Нордвинд рассказывала им о королеве Моргаузе, единоутробной сестре короля Артура, родившей ему сына Мордреда. После смерти короля Лота, с которым она произвела на свет сира Гавейна и других

блестящих рыцарей, она стала королевой Оркнейской и очень сдружилась с королевой Северного Уэльса Элайной, а также с феей Морганой, и все они втроем в хрустальной ладье сопровождали короля Артура на Авалон.

Рыбацкая таверна среди скал, куда Амариллис Лугоцвет и Альпинокс вошли следом за Нордвинд, походила на каменный улей.

— Хеллоу! — приветствовал их Том, чаевар, стоявший возле кипящего чайника. Остальные рыбаки, бывшие в таверне, тоже сказали: «Хеллоу», но никто даже головы не поднял, словно их здесь ждали, как завсегдатаев, которые приходят точно в установленное время, минута в минуту, чтобы выпить привычную чашку чая.

— Немного печенья? — спросил Том, принеся им чай, сахар и молоко.

— От здешнего воздуха сосет под ложечкой, — отвечала Нордвинд. — Тащи все, что у тебя есть.

Они так дружно набросились на свежее печенье, что хруст был слышен на весь зал.

Порой, правда, можно было заметить, как то один, то другой рыбак, взглянув на них украдкой, делает под столом какие-то едва уловимые знаки, по всей видимости, адресованные Нордвинд.

— Улов-то в нынешнем году, наверное, хороший? — словно мимоходом спросила Нордвинд.

Но Том, казалось, только этого вопроса и ждал.

— Хороший? — отозвался он и словоохотливо продолжал: — Что значит «хороший»? Мы работаем до седьмого пота. Если непогода раньше срока не погонит наши флотилии с севера, тогда только можно будет надеяться на хороший улов. Но миледи ведь и сами знают.

— Я посмотрю, что можно будет сделать, — засмеявшись, сказала Нордвинд. — От меня одной дело теперь уже не зависит.

— Спасибо, — ответил Том, — что вы обещаете за этим приглядеть.

— Где те времена, — шепотом обратилась Нордвинд к Амариллис Лугоцвет и Альпиноксу, — когда все это было всецело в моей власти! Иногда меня мучает мысль, что я, быть может, мало об этом пекусь. Боюсь, что впредь мне придется поискать какие-нибудь новые средства.

— При тех лодках, какими вы пользуетесь теперь, — напоследок крикнула она Тому через плечо, — нечего удивляться, что все вдет шиворот-навыворот.

Само собой разумеется, что, когда Альпинокс хотел расплатиться, Том денег ваять не пожелал.

— Оставьте, пожалуйста, — сказала ему Нордвинд. — Они сочтут недобрым предзнаменованием, если мы не примем их угощения.

— Миледи про нас не забудут, верно? — сказал Том, провожая Нордвинд до дверей. — Новые лодки ведь тоже бессильны против шторма и льдов.

— Я подумаю, — ответила Нордвинд и при этом так сильно дохнула, что Том вздрогнул и прикрыл уши руками, словно защищая их от холодного ветра.

— Никак не пойму, почему ты не живешь здесь постоянно, — сказала Амариллис Лугоцвет, когда они опять стояли на пустоши.

— Сама не знаю, — с улыбкой ответила Нордвинд. — Здесь я могла бы снова стать самой собой, и тем не менее я остаюсь в городе. С тех пор как мир обошла история про меня и про сына кучера, рассказанная небезызвестным мистером Макдональдом, меня непреодолимо тянет в тот город, где все началось. Я, так сказать, подпала под власть своей собственной историк.

И вот большая птица, составленная из них троих, снова взмыла в воздух, на сей раз не так легко, словно поглощенная ими чужанская еда повлияла на их летучесть.

Когда они пересекали Ферт-оф-Форт, уже начало смеркаться, но чем больше они забирали к югу, тем теплей и ласковей становился воздух, а потому они не спеша,

преспокойно следовали по маршруту, обозначенному скоплениями светящихся точек — населенными пунктами чужан, все более частыми и приветливо мигавшими им снизу. И когда они приземлились на крыше двадцатичетырех этажного дома, в маленьком садике, прилегавшем к квартире Нордвинд, то все трое испытывали легкое сожаление оттого, что их полет окончен.

Карликовые сосны, диковинные кустарники, мхи и лишайники покрывали голый каменный пол маленькой террасы такой густой порослью, будто все летевшие по воздуху пылинки понемногу осели здесь, превратясь в слой земли, откуда растения, овеваемые прохладным дыханием Нордвинд и орошаемые лондонской водопроводной водой, теперь черпали жизненные соки. Альпиноксу этот садик очень напоминал флору Гималаев, и Нордвинд согласилась, что некоторые семена она, возможно, подхватила на лету в тех краях, когда совершала свои дальние путешествия. Но более вероятным ей все же казалось, что семена занесло сюда из какого-нибудь декоративного садика, которые так любят разводить британцы.

— А может, с Оркнейских островов,— засмеялась она я сняла с плеча какое-то оперенное семя, упавшее на нее во время их прогулки по воздуху. Она бережно опустила его на уже заросшую землю и сказала: — Хотела бы я знать, приживется оно здесь или нет.

Сама квартира была просторная, но холодная; пожалуй, ее трудно было бы назвать уютной, если бы не разложенные везде и повсюду шкуры зверей — полярных медведей, песцов и лосей. Нордвинд предложила Альпиноксу и Амарилиис Лугоцвет устраиваться поудобней, а сама пошла готовить для них угощение — холодное мясо, салат и эль.

И вот они сидели при свете толстых свечей, горевших в канделябрах из резной кости, и слушали пение молодого ирландца, который жил этажом ниже и каждый день в это время занимался вокальными упражнениями — пел, словно бард, длинные баллады. Нордвинд пробуравила в полу крошечную дырочку, прикрыв ее от нескромного взгляда только лишайниками, чтобы лучше слышать пение. Альпиноксу и Амарилиис Лугоцвет музыка тоже пришлась по вкусу. Чем дольше они прислушивались, тем глубже погружались в размышления, особенно Амарилиис: по ее лицу словно пробежали томительные желанья, мятущиеся в огне свечей.

— Ты не раздумала ехать на Авалон? — спросила Нордвинд подругу, когда пение смолкло, и поставила на стол бутылку темно-красного вина с затонувшего корабля. Она нашла ее на берегу Северного моря, недалеко от Скарборо.

— У меня по этой стране душа изныла,— прошептала Амарилиис Лугоцвет. Альпинокс насторожился: он никогда еще не видел фею Нарциссов такой взволнованной.

— Тогда тебе, наверное, надо ехать,— сказала Нордвинд.—Завтра мы можем с тобой полететь в Уэльс и в бухте Кармартен подождать хрустальную ладью.

— А почему бы нам не полететь тотчас же? — спросил Альпинокс, которому прогулка на Оркнейские острова понравилась чрезвычайно.

— И сама не знаю, почему так устроено,— задумчиво ответила Нордвинд,— но до Авалона можно добраться только в хрустальной ладье.

— Хрустальная ладья,— сказала Амарилиис Лугоцвет.— Я даже вспомнила заклятье, которым можно ее вызвать.

Это значит, что ты действительно должна туда ехать.

— Да,— прошептала Амарилиис,— должна, должна, должна.

Они постелили себе, каждый в отдельной комнате; благодаря густому красному вину с затонувшего корабля заснули быстро и не просыпались до самого утра.

Их не разбудил даже гул самолетов, который здесь, на такой высоте, заменял уличный шум, и когда все трое, примерно в одно и то же время, открыли глаза навстречу новому дню, Амарилиис Лугоцвет — ее уже охватила дорожная лихорадка

— первая побежала на кухню приготовить кофе и чай, при этом еще распевая во весь голос. Словно пение того молодого ирландца пробудило в ней самой напевы и мелодии, давным-давно канувшие на дно ее души и теперь с неодолимой силой рвавшиеся наружу.

— А я и не знал, что у вас такой прекрасный голос,— одобрительно сказал Альпинокс— Я уж думал, что Прозрачная хоть в этом вас превосходит. Однако, как я слышу, дело обстоит вовсе не так.— И он лукаво усмехнулся.

Амариллис Лугоцвет пока еще не настолько отдалилась от него, чтобы оставить подобную колкость без ответа.

— Да уж конечно,— заявила она.— Я ведь не сижу по ночам на утесах и не заманиваю своим пением безрассудно-отважных юношей,— не вижу смысла портить свой голос из таких низменных побуждений. Если я пою, то для собственного удовольствия, а не ради каких-то побочных целей и не из корысти.

Нордвинд с интересом прислушивалась — разговор явно ее забавлял,— и вдруг залилась звонким смехом.

— Мне думается,— обратилась она к Амариллис,— ты испытываешь к этой Прозрачной те же чувства, что я к русалкам Атлантики. Никак они не оставят свою манеру высываться из воды и выставят напоказ обнаженную грудь, а уж что они выделяют голосом, так это просто неопишимо — впору пожалеть чужан, которым приходится юс слушать.

Теперь настала очередь Альпинокса забавляться, но он делал это молча, только вылил в бокал остатка вчерашнего вина и, смакуя, попивал его, в то время как Нордвинд принялась обихаживать свой садик — налила воды в чашу и поставила ее так, чтобы каждое растение без труда могло до нее дотянуться. В воздухе запахло прощаньем, и тогда все трое поднялись в небо и под прикрытием мимолетной тучки понеслись в сторону Уэльса.

Погода была прекрасная, а потому им пришлось подняться повыше, чтобы их не увидели с земли. Нордвинд называла им города и деревни, леса и реки, лежавшие глубоко внизу и частью скрытые вереницами облаков,— эти названия напоминали о древних легендах.

Приземлились они на уединенном берегу, вдали от всяких селений. Благодаря особого рода течению, проходившему у этого берега и отпугивавшему чужан, эта местность осталась незагрязненной — прибой не пригонял сюда ни нефть, ни мазут, ни кухонные отходы больших судов.

Трое путешественников немного погрелись на солнышке, однако Амариллис Лугоцвет, видимо, мыслями витала где-то далеко,— когда она подошла к воде и Альпинокс хотел последовать за ней, Нордвинд его удержала. Они наблюдали, как Амариллис воздела вверх руки и стала что-то говорить ветру; немного погодя они подошли к вей и заметили, что на горизонте показалась хрустальная ладья и плывет прямо к ним.

— Ты поедешь со мной? — спросила Амариллис Лугоцвет у своей подруги.

Нордвинд так энергично затрясла головой, что шляпа с цветами прямо заплескала на ней.

— Я совсем недавно побывала на Авалоне. Да и вам,— обратилась она к Альпиноксу,—лучше бы отказаться от мысли сопровождать туда нашу дорогую подругу.

Альпинокс стоял с угрюмым видом, не зная, на что решиться.

— Можете поехать со мной, если действительно хотите,— сказала Амариллис Лугоцвет, но по ее тону было ясно, что она едва сознает, что говорит.

— Сколько времени вы намерены там пробыть? — спросил Альпинокс.

— О. недолго,— живо ответила Амариллис— Вечером я опять буду здесь...— С этими словами она взошла на хрустальную ладью, остановившуюся прямо перед

нею.

Зазвучала чудесная музыка, не очень громкая, но все-таки заглушившая прощальные слова Альпинокса.

— Мы будем вас ждать!..— крикнул он, но Амарилиис Лугоцвет уже сидела в ладье и быстро уплывала прочь, так ни разу и не обернувшись.

Альпинокс вздохнул.

— Верите ли вы, дорогая Нордвинд, что она и в самом деле пробудет там не слишком долго?

— Долго?—с улыбкой переспросила Нордвинд.— Что значит «долго» при нашей долговечности? Даже если она пробудет на Авалоне всего несколько предвечерних часов, здесь, в краю чужан, это может составить годы.

— Выходит, лучше бы я ее сопровождал? Нордвинд покачала головой.

— Туда,— и она указала рукой в ту сторону, где скрылась хрустальная ладья,— лучше отправляться в одиночестве. Каждую из нас ждет на Авалоне что-то свое, особое, а что именно — это всегда тайна, но она касается только нас самих. Времена, когда на Авалоне царила вечная весна и вечный праздник, канули в прошлое, так же как претерпело перемены и все остальное. Боюсь, что скоро мы вынуждены будем с этим считаться.

Альпинокс кивнул.

— Знаю, знаю,— сказал он,— все мы подчинены этому закону, и хоть ваше время течет по-иному, оно все же течет. Но только где же мы ее найдем, когда она вернется?

— Эту заботу предоставьте мне. Мы с него так тесно связаны, что я буду точно знать день и час ее возвращения.

— А чем мы займемся до этого момента? — Лицо Альпинокса было растерянное. Слишком уж он настроился сопровождать Амарилиис Лугоцвет в ее путешествия

— Какая неразрешимая проблема,— улыбнулась Нордвинд,— или, может быть, не такая уж неразрешимая? Что вы скажете насчет Гренландии или Северного полюса? У меня в тех краях есть кое-какие дела, и если вы не против...

— Гренландия, полюс? — Лицо Альпинокса просветлело.— Горы мне всегда в радость, даже если это айсберги.

— Что ж, тогда давайте поскорее отправимся в путь —воскликнула Нордвинд и протянула Альпиноксу руку.— Мы полетим над морем, и с земли нас никто не увидит,—если мы, конечно, будем избегать больших судоходных путей.

И они снова поднялись в воздух, на сей раз они летели клином, как дикие гуси, странно было только, что в такое время года гуси почему-то улетают на север.

Альпинокс с каждой минутой испытывал все большее удовольствие от полета и сейчас, летя вместе с Нордвинд над морем, не чувствовал ни холода, ни ветра. Они не приземлялись до тех пор, пока не увидели перед собой скованные снегом и льдом форпосты «Зеленого острова» и очертания мыса Фарвель. И, готовясь к первой посадке за все время этого большого северного перелета, они прежде всего наколдовали себе эскимосские меховые одежды,— в таком виде они бы не привлекли к себе внимание, если бы кого и встретили.

Смеясь, топтались они на снегу, разминая ноги, и Альпинокс не уставал хвалить Нордвинд за прекрасную идею, которая все больше и больше его увлекала.

Теперь надо нам подкрепиться на чужанский лад,— промолвила Нордвинд, и они опять полетели, направляясь к какому-то селению, по-видимому, хорошо ей известному.

Со скоростью мысли летела ладья, в которой стояла Амарилиис Лугоцвет. Она так страстно желала скорее ступить на землю Авалона, что даже не присела, и по мере того, как сияние над островом разгоралось все ярче, ее сердце все сильнее

рвалось из груди, но она не успела и оглянуться, как музыка сменилась словно бы звяканьем стекла, и хрустальная ладья врезалась в берег.

Какая красота! — воскликнула Амарилисс Лугоцвет завидев множество яблонь в цвету, колыхавшихся под легким ветерком. Снова зазвучала музыка, но теперь, казалось, она исходила от самих цветов, и когда Амарилисс повнимательней прислушалась, до нее как будто донеслись слова, которыми обменивались поющие цветы. Легким шагом двинулась она вперед, и тропа словно возникала у нее под ногами только для нее одной. Она шагала так быстро и так неумолимо, что вскоре зашла в самую глубь острова, никого по пути не встретив, хотя воздух полнился жужжаньем в всевозможными звуками. Здесь царило праздничное настроение, и поступь Амарилисс Лугоцвет все больше превращалась в танец, а ее платье — в белые шелковые шали, ласково обвивавшие ее тело.

Яблони немного расступились, открыв ее взгляду ярко зеленеющую лужайку, усеянную цветами, тоже качавшимися из стороны в сторону, и когда тропа оборвалась на берегу ручья и его чуть глуховатый голос повелел ей остановиться и напиться, она опустилась на колени, зачерпнула ладонями, воду и поднесла ко рту. Она пила и пила, словно ей все было мало этой вкусной, прохладной воды, но, еще не кончив пить, ощутила происходящую в ней перемену. Она почувствовала, что вода не стекает внизу в ее нутро, а поднимается вверх по жилам, медленно, от самых корней проникая во все клетки, пока они не переполнились и не принуждены были вытянуться и разрастись. Она почувствовала, как ее легкое тело распрямилось и потянулось к солнцу, как голова разветвилась на стебли со звездообразными листьями, и она содрогнулась от мощного порыва, а ее онемевшие конечности остались где-то далеко внизу. Ее дурманил аромат, который она испускала сама, испускала сознательно, замороженная силою собственного чувства. И хотя глаз у нее больше не было, она видела, и хотя ушей у нее больше не было, она слышала - и воспринимала все с чуткостью, какой не помнила за все века своего существования.

Трудно передать словами, что именно она чувствовала ибо теперь она воспринимала все по-иному, но она чувство вала, и так напряженно, что чувство, едва возникнув, безраздельно завладевало ею. Она тоже стала качаться из стороны в сторону и продолжала расти и тянуться, тянуться вверх и вдруг с необоримой силой устремилась к Прикосновению, которого жаждала больше, всего на свете, и оттого изнутри ее что-то толкало вверх в предвкушении соития, такого всевластного и безоглядного, какого она не видала с незапамятных времен. Она ощущала себя как никогда цельной, в ней не боролись больше разум и сердце, мысли и чувства, дух и плоть. То, чего она желала, она желала вполне и всецело, без оглядки и без опаски, без размышлений и оправданий. Она была единой и совершенной, и все ее существо слилось в одну призывную песнь, состоящую из аромата, движения, звука. Она ощущала каждое дуновение и знала его смысл, ощущала каждое колебание воздуха, каждый вдох, а предчувствие наслаждения давало ей понять, каким будет само наслаждение.

Вокруг становилось все светлее, она чувствовала, как нагревается вода в ее клетках, как замедляется процесс претворения элементов и как желание все больше тяготит ее. В ней зашевелился страх, что она может погибнуть, не сподобившись Прикосновения, и вот она собрала все свои силы, чтобы стать еще выше, несмотря на парализующее воздействие полдня, и почувствовала, как вертится Земля. Все чаще чудилось ей, что уже близится Прикосновение и что над нею, пролетая, мелькают тени. Она улавливала движение звуков, шорох минующего ее Прикосновения, ветерок от взмаха его крыл, когда оно пролетало мимо, ощутила и сладострастную дрожь тех, на кого оно снизошло.

Но она еще не стала тем, чем могла стать. И хотя рост стоил ей теперь невероятных усилий, она знала, что может вырасти еще, что ее аромат может стать

еще крепче, а потому продолжала черпать сок из своих корней, пока края ее чашечки не запылали оранжево-красным цветом, соперничая даже с солнцем, силу которого она присвоила. От напряжения ее пронизала дрожь, и хотя она как будто уже предощущала изнеможение, которое вскоре наступит, она ещё немного приподнялась навстречу свету. И тогда это свершилось. Свет затмился, толчок лишил ее равновесия, она отчаянно заколебалась, но и на этот раз ее сила восторжествовала - она остановилась и замерла в безграничном блаженстве Прикосновения, всецело отдавшись тому Чуждому, Другому, что только и сообщало ее силе смысл и полноту. А когда потом она легонько высвободилась, ее охватила Истома, все в ней замерло в сытости и покое, она почувствовала, что и рост на время остановился. И она опустила свой венчик, чтобы отдохнуть, чтобы забыть о напряжении, которое ждет ее снова, забыть до тех пор, пока этого нового напряжения властно не потребует от нее иной процесс.

Когда Амариллис Лугоцвет проснулась, ей понадобилось какое-то время, чтобы свыкнуться со своим прежним телом — телом феи. Она лежала на лужайке возле ручья, а поднявшись, увидела, что солнце передвинулось на запад, но день еще не кончился. Она чувствовала себя свежей и преображенной, хотя была во всем точно такая же, как по прибытии сюда. Вот, значит, какое таинство должно было свершиться со мной на Авалоне,— подумала она и, медленно вставая, долгим, нежным взглядом окинула цветы, которые все еще покачивались под звуки странной музыки.

— Надо возвращаться,— сказала она себе,— Альпинокс и Нордвинд будут меня ждать.— И приплясывающей походкой направилась к берегу мимо цветущих яблонь. Когда она подошла к воде, хрустальная ладья уже ее ждала, а сама она снова была в темно-сером дорожном костюме в полоску в мягкой фетровой шляпе, темное суконное пальто висело у нее на руке.

На сей раз ладья летела не так стремительно, как во время путешествия на Авалон. Казалось, фее Нарциссов хотят дать время освоиться с внешним миром. И глядя прямо перед собой,— покидая Авалон, было запрещено оглядываться назад,— она вдруг увидела, как на воды высовывается чья-то голова,— на нее смотрело лицо, вообще-то грустно-задумчивое, во сейчас расплывшееся в радостной улыбке.

— Фон Вассерталь! — не веря своим глазам, воскликнула Амариллис Лугоцвет.— Как вы попали в Атлантику?

Фон Вассерталь, улыбаясь, поплыл рядом с хрустальной ладьей.

— Вы ведь знаете, я плавал во всем океанам... Совершил настоящий круиз, но теперь кошмар кончился, чужане заключили мир и намереваются вновь отстраивать свои ужасные города.

— Что такое вы говорите?— Амариллис Лугоцвет нахмурила лоб,— Воина кончилась? Когда я отплывала на Авалон, она еще даже не началась.— Она вздохнула.— О, Нордвинд!.. О. Альпинокс!.. А я-то думала, они все еще ждут меня в бухте Кармартен.

— Об этом не беспокойтесь,— сказал фон Вассерталь.— Я только что покинул остров Ис, где все общество в полном сборе и ждет вас. Изабель и Розабель тоже там тоже прибыли с Авалона.

— Бедный Альпинокс... а я-то ему обещала, что все эти годы проведу вместе с ним.

— Альпинокс? — Фон Вассерталь громко расхохотался.— Вот уж кто не остался внакладе. С тех пор как я его встретил, он только и говорит, что о своем путешествии с Нордвинд. Кажется, он побывал в Гренландии и на Северном полюсе и полон впечатлений. Его симпатия к ледяным утесам, должно быть, зародилась в один из последних ледниковых периодов. Так или эдак, но он в восторге и подумывает снова затеять процесс обледенения Альп.

— Еще чего не хватало! Пусть и не думает,— вскипела Амариллис.— Этого уж мы, во всяком случае, не допустим, надеюсь, вы со мной согласны, милый фон Вассерталь? — Полная боевого задора, она взглянула вниз, на плывущего. Фон Вассерталь с улыбкой кивнул и заметил: — А теперь следуйте за мной, я постараюсь как можно быстрее доставить вас на остров Ио, — там вы сможете сразу же поговорить обо всем с Альпиноксом.

— Как же я могу за вами следовать? — немного растерянно спросила Амариллис Лугоцвет.

— А вот так — прыгайте-ка сюда!

Амариллис Лугоцвет прыгнула и очутилась внутри наполненного воздухом пузыря, как раз подходившего ей по размеру. Водяной, надув пузырь потуже, замкнул его и потащил за собой. Это была большая любезность с его стороны, и Амариллис Лугоцвет была ему за это благодарна, ибо Атлантика даже в это время года могла оказаться, по своему обыкновению, весьма холодной и неприветливой. Правда, она охотно вспоминала посещение подводного дворца фон Вассерталя, но разве можно сравнить прозрачную, как слеза, и пронизанную солнцем воду озера с этой чащей водорослей и взбаламученным песком, а чем ближе в Бретани, тем больше становилось мути. Временами впереди ничего не было видно, однако фон Вассерталь без труда находил дорогу сквозь подводные заросли, наверное, он руководился не зрением, а каким-то особым чутьем. Во всяком случае Амариллис Лугоцвет бесконечно радовалась, что может скользить рядом с ним, так надежно укрытая от всего, что болтается и плавает вокруг.

Благодаря пузырю, она оказалась полностью в стихии фон Вассерталя, и при других обстоятельствах могла бы чувствовать себя пленницей. Но сейчас это доставляло ей удовольствие, и она не сводила с него глаз.

Прошло порядочно времени,— Амариллис была бы не прочь, чтобы оно длилось подольше,— и она стала замечать сквозь водоросли огромные каменные глыбы — менгиры, целые каменные коридоры, ей казалось, что она различает также и нечто похожее на городские стены и развалины зданий, между которыми сновали рыбы.

Фон Вассерталь приблизился к похожему на бывший дворец каменному зданию, свободному от водорослей, потому что здесь обитали большие рыбы. Он без труда открыл тяжелую дверь, и они проникли в красивый зал, убранный строго, без лишней роскоши. Фон Вассерталь огляделся, однако, не увидев никого, сделал Амариллис знак, чтобы она еще немного потерпела, и они выплыли из дворца наружу, направляясь сквозь воды, становившиеся все мельче, к берегу маленького острова Эр-Ланннк в Морбиавском заливе. Еще до того, как они ступили на землю, Амариллис Лугоцвет заметила, что каменные глыбы расположены полукругом, и, выбравшись из своего пузыря и взойдя на берег, поняла, что то была ушедшая под воду вторая половина большого кромлеха, который она уже не раз видела сверху.

—Я устроил себе в подводном дворце Ис временное пристанище,— сообщил фон Вассерталь, стряхивая воду с волос и одежды,— я и мои друзья иногда пользуемся им ко время путешествий.— Он снова показал на воду.— Не бог весть как роскошно, но для краткой остановки вполне удобно. Остальные, по-видимому, решили сделать вылазку на сушу,— продолжал он, вглядываясь в даль, и приставил к глазам ладонь, чтобы защитить их от солнца.— Дай-те мне только перевести дух, и мы незамедлительно их отыщем.

Солнце мягко пригревало, и дул легкий ветерок развевавший его длинные волосы.

Амариллис Лугоцвет подставила лицо ветру и втягивала носом воздух. По ее ощущениям, стоял конец августа, вот только какого года, это ей еще надо было выяснит.

— Итак, война кончилась,— задумчиво сказала она прежде и всего подумала о семействе фон Вейтерслебен — И это была страшная война,— прибавила она, вспомнив свои тяжелые предчувствия.

— Что верно, то верно,— откликнулся фон Вассерталь. Даже он, никогда не принимавший близко к сердцу бедствия чужан, сейчас нахмурился, и на лице у него появилось страдальческое выражение.— Самая страшная из всех.

— Есть у вас какие-нибудь известия с вашего озера? — спросила она с тайной надеждой узнать что-нибудь о поселке.

— Природа там не пострадала,— сообщил он,— это все, что мне известно, да и озеро как будто в хорошем состоянии.

— Вы намерены вскоре туда вернуться? — спросила Амариллис Лугоцвет.

— Думаю, все мы вернемся,— ответил фон Вассерталь таким тоном, словно не допускал иной возможности.

Амариллис Лугоцвет задумалась.

— По чести говоря, не знаю,— не будь у меня некоторых обязательств... не знаю, вернулась бы я или нет.

— Вернетесь,— решительно заявил фон Вассерталь.— Все мы вернемся, должны вернуться, пока пребываем в этом образе.

— Да, вы правы,— ответила Амариллис,— в этом образе я бы все равно вернулась.

— В последнее время среди долговечных существ часто раздаются такие речи,— задумчиво произнес фон Вассерталь.— Похоже, что все уже не удовлетворены своим нынешним образом. Время от времени делается предложение вселиться обратно в материю, в вещи, отдалиться от чужан настолько, чтобы всякое сходство было погребено во прахе истории.

Амариллис Лугоцвет вздохнула.

— Столько всего приходится слышать,— подтвердила она, хотя на Авалоне она ничего подобного не слыхала, а только испытывала ощущения,— и это наводит на разные мысли— Но если с большинством нам подобных происходит то же самое, значит, назрели великие перемены.

— Что касается меня...— фон Вассерталь перебирал пальцами свои сохнувшие на ветру волосы,— то я пока еще собой доволен. И до тех пор, пока меня на дне моего озера никто не тревожит... — Дайте срок,— смеясь, заметила Амариллис Лугоцвет,— вам еще сядут на голову. С чего бы это чужанам так долго щадить именно вас? Погодите, они вам — как бы это сказать? — вскипятят ваше озеро, вот что.

В эту минуту послышались голоса, и когда Амариллис Лугоцвет поглядела в ту Сторону, откуда они доносились, то увидела Альпинокса, Нордвинд, Розабель и Изабель,— спустившись с холма, вся компания прошла между камнями внутрь кромлеха, который замыкался под водой, и теперь спешила к ней навстречу, шумно ее приветствуя.

Пошли рукопожатья, объятия, целование рук, и все прилились наперебой рассказывать о себе, но голос Альпинокса перекрыл остальные: с одной стороны, он желал до мельчайших подробностей знать, что былое Амариллис Лугоцвет на Авалоне, с другой, ему не терпелось поведать о собственных впечатлениях от Гренландии и Северного полюса.

Амариллис Лугоцвет держалась с ним подчеркнуто холодно, зато особенно тепло приветствовала Нордвинд. Обе феи понимающе улыбались одна другой и, снявши шляпы, подставили волосы ветру, что же касается Альпинокса, то он старался отныне держаться поближе к фон Вассерталю.

Розабель и Изабель, похожие как две капли воды, носили на голове вместо шляп большие шелковые платки, повязанные по-цыгански. Некогда они

фигурировали в сказках как один персонаж. Но этому персонажу надоело неизменно оказываться тринадцатым, и тогда он решил разделить надвое и себя, и приносимое им несчастье, которое, однако, заверяла Розабель, исходило вовсе не от них, а от самих чужан, только те никак не желают это понять и усвоить.

— Мы,— продолжала Изабель,— всего лишь предостерегаем чужан, когда на них надвигается какая-нибудь беда.

Итак, все стояли на берегу и обсуждали, что же им делать дальше. Сейчас они были в полном составе. Романтическим ореолом остров Ис был окружен разве только в глазах чужан, долговечным существам он быстро надоел, за исключением одного фон Вассерталя, который чувствовал себя здесь хозяином.

— А что, если мы немедля...— начал Альпинокс, которого вдруг с неодолимой силой потянуло в родные Альпы

— Но сперва мы спокойно посидим и перекусим,— решительно заявила Амариллис Лугоцвет. За все время своего пребывания на Авалоне она ни разу не ела привычной для нее пищи, и теперь, когда она стояла у воды, на свежем ветру, голод давал себя чувствовать.

— Присоединяюсь к этому предложению,— воскликнул фон Вассерталь,— плавание по Атлантике вызвало у меня зверский аппетит.— И он не мог отказать себе в удовольствии метнуть из-под полуприкрытых век странно вызывающий взгляд на Амариллис Лугоцвет.— Надеюсь, вы окажете мне честь еще раз побывать в моем здешнем подводном дворце, — продолжал он, обратясь к остальным присутствующим.— Мы сможем тогда спокойно обсудить, как нам всем вместе вернуться в Штирийский Зальцкаммергут. Надеюсь, что дамы Нордвинд, Розабель и Изабель согласятся сопровождать нас туда, прежде чем возвратятся в свои родные или полюбившиеся им места.

— Отчего же нет? — заметила Нордвинд.— На Северном полюсе я так много наслушалась об Альпах, что непременно хочу вновь их увидеть.

— Отчего же нет? — заметили также Розабель и Изабель.

И тогда вся небольшая компания забралась в удобный воздушный пузырь, предоставленный им фон Вассерталем, и он потащил его в подводный дворец, чтобы они могли там все вместе в последний раз закусить перед дорогой и обсудить подробности своего возвращения.

Еще сидя в пузыре, кто-то обронил слово «храмовой праздник», и фон Вассерталь, весело заулыбавшись, заглянул в пузырь снаружи, Альпинокс же, под наплывом воспоминаний, с силой хлопнул себя по коленям.

— Ах, в самом деле, храмовой праздник! — воскликнула теперь и Амариллис Лугоцвет. И она объяснила Нордвинд, Розабель и Изабель, как этот праздник справляют в тех местах, куда они намерены вернуться.

Несколько дней спустя,— то была первая суббота сентября, и день выдался ясный и солнечный,— по асфальтовой дороге поднимался в поселок небольшой караван. Расписные повозки, запряженные булаными лошадками с золотисто-желтой гривой, погромыхивая, везли свой груз — пестрые бумажные цветы, пряники в форме сердца с привязанными к ним маленькими зеркальцами, турецкую нугу, а также прочую ярмарочную дребедень и лакомства. Они остановились на площади перед церковью, где дорога кончалась и где местные жители впервые после войны опять сколотили и поставили деревянные прилавки, в робкой надежде, что кто-нибудь из цыган, которых они в эту злосчастную войну истребили почти поголовно, все же по старому обычаю, забредет сюда к празднику. Когда показались повозки, раздались ликующие крики, правда, не очень громкие и какие-то смущенные. Людям не верилось, что цыгане на этот раз действительно явились, и кое-кто из стариков даже всплакнул, завидев хорошеньких лошадок и повозки, казалось, не тронутые войной и послевоенными невзгодами. Из людей

помоложе некоторые глядели на сытых лошадок с нескрываемой завистью и злобой, и Амарилиис Лугоцвет — уж она-то знала чужан как свои пять пальцев! — поняла, что горе и нужда их мало чему научили.

Амарилиис Лугоцвет, Нордвинд, Розабель и Изабель облачились в пестрые юбки и кофты, нацепили большие серьги и, шагая в этом превосходном маскараде рядом с Альпиноксом и фон Вассерталем, являли собой наикрасивейших цыганок, каких только можно себе вообразить. Когда же вдобавок выяснилось, что они втихомолку суют ребятишкам лакомства, то впервые за все время существования поселка родители сами стали подталкивать детей а цыганам, вместо того чтобы, как повелось, ими стращать,— мол, не подходите близко, не то они вас украдут!

Прошло совсем немного времени, и поселок, как встарь, огласился свистом бумажных чертиков, которых детишки надували во всю мочь своих легких, а девушки понавешали на себя пряничные сердца, хотя парией здесь почти не осталось — большинство их было убито или в плену. Не такое это было веселье, как до войны или в старые времена, но все же веселье, позволившее многим наконец-то расправить грудь,— отощавшие чужане впервые смеялись и пели, полные новых надежд.

Амарилиис Лугоцвет осаждали противоречивые мысли. От ее пронизательного взора не укрылось, что кое-где в домах еще прячутся люди, которых ждет кара за их преступления. Не укрылись от нее и те, кто снова держал нос по ветру; не укрылись хитрости, мелкие и крупные, которые замышляли чужане, чтобы половчее обделать свои делишки. Но стоило ей заметить кого-нибудь из ребятишек тек, родившихся здесь в ее отсутствие, чье детство было омрачено бедствиями войны, как сказывалась ее давняя привязанность к чужанам, она сразу же хватала медовый пряник или кусок турецкой нуги и совала в жадно тянувшиеся к ней руки, чтобы потом с удовлетворением наблюдать, как лакомство тут же запихивается в разинутый детский роток. И однажды к ней подошла та девочка, которую она ждала с нарастающим нетерпением,— и такими же голодными глазами уставилась на все это великолепие, только руки она держала за спиной и не пускала в ход, Амелия фон Вейтерслебен, толкая перед собою Софи, пробилась сквозь толпу и остановилась перед Амарилиис Лугоцвет, не узнав ее. Амелия стала совсем тоненькой, а была по-прежнему красива, а ее скромное платье даже не лишено элегантности.

— Есть тут что-нибудь, чего тебе очень хочется? — спросила она девочку, чей взгляд не мог оторваться от пряничного сердца с прикрепленным к нему колокольчиком.— Погляди хорошенько,— добавила мать,— я могу исполнить только одно твое желание,

— Вот это.— Софи глазами указала на сердце, которое Амарилиис Лугоцвет уже протягивала ей.

— Ты уверена, что хочешь именно это, а не что-нибудь другое? — Амелия принялась рыться в сумочке в поисках денег, и, пока ей удалось выловить оттуда несколько монет, Софи еще раз окинула взглядом весь прилавок, глаза ее опять остановились на пряничном сердце, которое держала в руках Амарилиис Лугоцвет.

— Да,— сказала Софи,— я хочу вот это.

— Вы позволите мне повесить сердечко барышне на теку? — спросила Амарилиис Лугоцвет после того, как Амелия положила на прилавок несколько монет.

— Повесьте, моя милая,— ответила Амелия, и взгляд ее задержался на руках с тонкими пальцами, ловко надевших красную ленту с сердечком на шею Софи,— они ей как будто что-то напомнили.

— С самыми добрыми пожеланиями,— сказала Амарилиис Лугоцвет и сделала тайный знак для защиты маленькой Софи, которая в эту минуту смотрела ей прямо в глаза.

— Спасибо,— отвечала Софи в так чинно подала ей руку, что Амелия и

Амариллис Лугоцвет не могли удержаться от смеха.

После этого мать и дочь опять затерялись в толпе, в тогда Амариллис Лугоцвет твердо решила, что снова поселится в этих местах, пусть, как она себя уверяла, и ненадолго.

Каким бы скромным ни был этот праздник сравнительно с теми, что устраивались в последующие годы,— не раскинули еще даже палатку для ярмарочной пивной,— он словно бы знаменовал новое начало и для чужан, и для долговечных существ. И когда днем позже маленький караван покидал деревню, ребятишки бежали за ним до мельницы в низине, откуда потом еще долго махали уезжающим на прощанье и что-то кричали им вслед.

Вскоре лошади и повозки не только скрылись из глаз детей, во и вообще точно растворились в воздухе, а вместо них небольшая группа людей, одетых в костюмы местных жителей, шла пешком по Трессенской дороге, направляясь к деревянному домику, перед дверью которого, уже стоял перевалыш Евсевий.

Компания вошла в дом и увидела, что все в нем на месте. Евсевий прихватил с собой фляжку домашней фруктовой водки, так что можно было подобающим образом отпраздновать возвращение.

Поздно вечером гости разошлись. Розабель и Изабель отправилась своим путем, Альпинокс возвратился в горы, фон Вассерталь — в свое озеро. О Драконите не было ни слуху ни духу, но Евсевий полагал, что он не заставит себя ждать в самое ближайшее время из какого-нибудь подземного хода высунется его угрюмая физиономия.

Прежде чем лечь спать, Амариллис Лугоцвет подошла к окну и долго смотрела наружу, словно хотела удостовериться, что перед нею действительно знакомый вид. Ей даже показалось, что она различает в лунном свете белье, развешанное перед Триссельбергской пещерой. Она вздохнула, потом улыбнулась и решила в ближайшие дни навещать Амелию и попросить у нее очередного щенка,— в этой местности она не могла бы обойтись без полюбившихся ей собак.

*

Погода была в точности такая, какую представляешь себе, когда барометр стоит на «переменно». Тени туч гонимых ветром, гасили ярко вспыхивавшие солнечные лучи, в стремительном полете тучи обтекали вершины гор, на миг открывали их взгляду, чтобы затем, над кромкой леса, затянуть их сплошной пеленой.

Воздух, проникавший в полуотворенное окно, был сам по себе не очень холодный, но разные ветровые потоки согревали, то вновь охлаждали его.

Софи все еще была в нерешительности, что надеть, если она пойдет вниз, надо взять с собой теплую кофту. В такой ранний час она наверняка никого не встретит. Прежде чем выйти из комнаты, она еще раз, уже просто по привычке, понюхала по-прежнему неувядаемые огненные лилии, потом, бодрая, отдохнувшая, легко сбегала вниз по лестнице и открыла не ту дверь, что выходила на озеро, а ту, что вела в парк.

Утренняя прогулка по парку, под навесом из кустов и деревьев, даст ей достаточно моциона, да и не надо раздумывать над тем, брать зонтик или не брать.

Она только сейчас заметила, что на краю парка находится огород, к которому спереди примыкает цветник, а сзади теплица. Между парком и всем этим хозяйством раскинулась лужайка, и на ней, ближе к забору, Софи увидела поваленное дерево с торчащими вверх корнями; судя по тому, как оброс ствол, оно лежало здесь, наверное, не один год. На корни налипла земля; с той стороны, куда падало солнце, Софи заметила несколько спелых ягод земляники, а также мох и цветы камнеломки. Под вывороченными корнями образовалось нечто вроде маленькой пещеры, где мог бы вполне уместиться ребенок, если бы отодвинул в сторону волокна корней и

побеги травы, свисавшие наподобие занавеса, и если бы не побоялся жуков, пауков и улиток, которые тоже нашли себе приют под этим деревом. Невдалеке от этого места, в тени кустов черной смородины, была навалена куча компоста, покрытая толстыми зелеными побегами огурцов; своим густым черным цветом компост, почти уже превратившийся в перегной, наводил на мысль о плодородии. Эта картина напомнила Софи, как в былые времена она помогала матери ухаживать за их садом и огородом.

Она не преминула обследовать и цветник, за которым, по-видимому, ухаживал старик-садовник, самозабвенно копавшийся сейчас в грядках. Широкополая соломенная шляпа защищала его лицо от слепящего солнца, а из глубокого кармана синего фартука свисала бечевка, которой он подвязывал цветы. В самом парке было как будто безлюдно. Ребенком Софи часто ходила к озеру мимо этого парка, и мать сообщала ей названия деревьев на редкость многообразных пород, представленных здесь великолепнейшими экземплярами. Деревья тем временем постарели, но она не могла бы сказать, что они стали выше, да и весь парк показался ей мало изменившимся. Между деревьями, кустами, декоративными растениями и огибавшими их посыпанными гравием дорожками не было газонов, а только лужайки, и когда Софи шла вдоль живой изгороди, отделявшей парк от улицы, в нос ей ударил запах расцветшего жасмина; она так обрадовалась, что обломила ветку, усыпанную белыми цветами, в поднесла к лицу.

Сам парк, собственно, делился на две части. В одной росла деревья местных пород: посреди круглой площадки высился огромный красный бук в окружении сосен и ореховых кустов, в другой части центром служил фонтан, и она вдоль и поперек была прорезана живописными дорожками, окаймленными декоративными кустами и пальмами в кадках. Росли там также туя и розы, и, пройдясь по всем дорожкам, Софи сочла свою прогулку законченной и направилась обратно в отель, к его торцовой стороне, куда выходили окна ресторана,— под ними зеленели подстриженные кусты букса, образуя несколько полукруглых ниш, в каждой стояли деревянные столы в скамьи. Простенки между окнами отеля были расписаны фресками — сцены из сказок, окруженные виньетками.

Софи уселась в одной из таких зеленых ниш, защищенных от дождя сплошным широким балконом второго этажа, и открыла книгу, которую захватила с собой, но до сих пор только носила под мышкой. Она немного полистала толстый том, тоже взятый из Зильберовой библиотеки пока ее взгляд не задержался на заголовке рассказа «*Datura faatiosa*». «Студент Евгений стоял в оранжерее профессора Игнаца Хельма и рассматривал красивые ярко-красные цветы королевского амариллиса (*Amaryllis reginae*), только сегодня утром распустившиеся...» Лишь когда из соседней ниши до нее донеслись обрывки разговора она поняла, что давно уже сидит, бессмысленно глядя на строки «Дурмана пышноцветного» и думая о чем-то совсем другом. Тогда она оставила книгу лежать на столе, откинула назад и закрыла глаза, чтобы привести в порядок мысли, но это ей как раз и не удавалось.

У нее было такое чувство, будто, кроме ее собственных мыслей, в ее сознание прокрались чьи-то еще, и вскоре она уже не могла разобрать, где свои, а где чужие,— все смешалось. Она перестала сопротивляться этой путанице и всем существом стала вбирать в себя слова и образы наплывавшие на нее со стороны.

«Разве это утешение, что мы живем в них самих? И что неоднократно повторяем себя в их сменяющихся поколениях?»

«Мы — это их опыт, пережитое и освоенное ими». «Но ведь иногда они дерзают нас воображать!» «Зависит ли наше воплощение от их образа? Возвращаемся ли мы в вещи, в материю, уходя от них, или же мы явились из материи по их приказу? Бели они необходимы нам как посредники для нашего воплощения, то разве мы сами решаем свою судьбу?»

«Как можем мы им помочь, если они не допускают и мысли о нашем существовании?»

«А что, если нам все время изменять свой облик и во все новых и новых превращениях будоражить их мысли? Чтобы они не стали чересчур самоуверенными и не забыли об истинных своих потребностях?»

«Если мы дольше остаемся тождественными себе, чем они, кому это идет на пользу — им или нам?»

«А может, мы и вправду, как утверждает молва, возникли намного раньше их, мы более древние создания и своим существованием обязаны единственно тому, что продолжаем жить в их памяти?»

«Если наш симбиоз разрушится окончательно, а наши тайные силы иссякнут из-за скудости их фантазии, то вещи, растения, камни предоставят нам убежище, и мы скроемся навсегда, безымянные, сохраняясь только в нашей собственной памяти. А они тем временем дерзают помышлять о совсем иных существах, чудовищных порождениях их все более затуманенной мысли, и устремляются прочь из этого мира — вполне пригодного для обитания — на другие, ставшие для них достижимыми, но оставшиеся непостижимыми».

«И значит, нам не остается ничего иного, как отступить шаг за шагом уходить из их сознания, оставаясь жить лишь в письменных источниках, вплоть до самых древних,—уходить, исчезать до тех пор, пока о нас не сможет уже поведать ни единая буква, и только бабушки да ребятишки будут сохранять о нас все более блекнувшее воспоминание, пока даже имена наши не станут для них незнакомыми и непроизносимыми, и о нас будут говорить, не называя, лишь намеком, нехотя прибегая к нам, для объяснения странных явлений тем, кто еще не посвящен в таинства обнаженных взаимоотношений между числом и предметом. Наш уход будет таким бесповоротным, что мы не сможем вернуться даже в их мечты. Этот процесс будет длиться долго, ибо если мы сами и перестанем отбрасывать тень, то места, которые мы покинули, будут все еще хранить ее и внушать людям смутные догадки обо всем исчезнувшем, покуда и эти туманности не растают, сменившись новыми скоплениями мрака, для которого еще нет названия».

Сердце у Софи бешено колотилось, преисполняясь страха, с которым она не в силах была совладать. «Что это все значит,— думала она,— почему эти нелепые мысли лезут в голову именно мне, ведь я же никогда не интересовалась такими чудными делами?» Она не участвовала ни в одном спиритическом сеансе, сколько бы ее ни приглашали, гороскопы тоже не производили на нее впечатления,— среди актеров явление просто редкое. Не то чтобы она полагала, будто ясно понимает все, что происходит с ней и вокруг нее, но у нее было такое чувство, будто для всего на свете, или почти для всего, существуют убедительные объяснения, и если тебе что-то непонятно, поищи, и объяснение непременно найдется. Многие в своей жизни она приняла как должное только потому, что считала: раз уж так случилось, объяснения ей мало чем помогут. Теперь же ей начинало казаться, что есть на свете и нечто неведомое, необъяснимое, какие-то причины и связи, о которых она даже не подозревала, и эти-то причины и связи влекут за собою нечто такое, чему, если бы знать, можно было бы воспрепятствовать. Ее пробрала дрожь,— она открыла глаза, чтобы взглянуть, не скрылось ли солнце за тучей, не отлого ли у нее этот внезапный озноб. Но солнце как раз только что показалось снова, а когда Софи огляделась то заметила двух дам, которые ей уже примелькались, они были похожи как две капли воды. Обе только что поднялись со скамьи и выходили из соседней ниши где все это время сидели.

Обе дамы, в свою очередь, заметили Софи и с любезной улыбкой направились к ней, чтобы ее приветствовать.

— Мы помешали вам читать, или вы все же позволите нам на минутку присесть?

— спросила одна из них, в то время как другая уже подседа к Софи.— Остальные еще спят, и благодаря этому мы хоть можем насладиться вашим обществом, дорогая Софи.

Судя по их произношению, эти дамы вряд ли были иностранками, да и черты лица у них были типично среднеевропейские. Софи даже казалось, будто она их где-то уже видела раньше, хотя и не помнила, где. Сейчас они выглядели старше, чем вечером, виною тому, наверное был яркий дневной свет, беспощадно заливавший их лица. Софи и сама была рада, что вблизи нет зеркала, которое могло бы ей доказать, что избыток света и для ее лица тоже невыгоден, хотя как будто бы в свои годы она выглядела еще вполне прилично.

Обе дамы,— они просили звать их просто по именам,— Розабель и Изабель,— проявили живой интерес к особе Софи, причем выражали его так мило и дружелюбно, что их любопытство показалось ей скорее лестным, чем назойливым.

Они сами причастны к искусству,— так оправдывали они свое любопытство, расспрашивая Софи преимущественно о театре и обо всем, что имеет к нему отношение. Изабель показала свою осведомленность: рада ли Софи, что получила теперь постоянный ангажемент в одном из прославленных столичных театров?

Или она все-таки будет скучать по кочевой жизни, покосившись на нее, вставила Розабель. Ведь к постоянной смене мест человек тоже привыкает и нередко воспринимает это даже как благодеяние. Разумеется, не после большого успеха, благодаря которому люди начинают тебе больше симпатизировать, а скорее после провала, после поражения, которое невозможно было предусмотреть, которое становится тебе ясно еще во время спектакля, но ты долго не хочешь его признать.

— И даже когда кое-кто из зрителей начинает покидать зал,— подхватила опять Розабель,— тебе хочется думать что эти люди спешат на поезд или к детям, оставленным дома без присмотра. И ты подавляешь нарастающее в тебе беспокойство, потому что если к нему прислушаться, то и вовсе сойдешь с текста, выйдешь из образа, а ты наоборот, изо всех сил стараешься сосредоточиться и спасти то, что еще можно спасти. И пытаешься опять подчинять своему обаянию зрителей, уже гурьбой поваливших из зала. Повышаешь голос, доводишь его до такой громкости, которая с твоей ролью ничего общего не имеет, и этим только пугаешь людей, укрепляя их в намерении уйти, а если они и не уходят, то внутренне только больше ожесточаются против тебя.

— И тебе кажется,— продолжала Изабель,— будто и самая твоя жизнь теперь зависит от того, удастся ли тебе их удержать, будто каждый из этих людей, сидящих или стоящих внизу,— палач, и уже занес над тобою топор, готовясь опустить его как раз в тот миг, когда твой голос тебе откажет и ты сдашься. А вслед за этим наступает великая тишина. Ты вслушиваешься и вслушиваешься в себя, и не слышишь. И ты готова закрыть лицо руками, чтобы защититься от ударов, уже готовых обрушиться на тебя.. Но вместо того, чтобы просто перестать и, по крайней мере, сберечь себе и людям время, ты продолжаешь играть до тех пор, пока последнее слово текста не будет бессмысленно и безнадежно брошено в равнодушный зал.

— Да, вот это и есть действительные, а не вымышленные драмы, трагедии в комедии, что разыгрываются на сцене,— прибавила Розабель в тяжело вздохнула.

— Люблю я эти представления,— произнесла Изабель с довольно-таки печальной улыбкой.— Они такие естественные, такие правдивые, и все же это настоящее искусство. Актер продолжает играть в тяжелейших условиях, какие только могут сложиться, еще не кончив говорить, подвергается поруганию, стоит на сцене, презираемый, осмеянный, посрамленный, в тем не менее представление продолжается, лица полны напряжения — спектакль доигрывается до конца.

— В подобных ситуациях—для человека, в них оказавшегося, разумеется,

изнурительных,— Розабель кивнула Софи, словно прося у нее извинения,— мне случалось видеть игру такого высокого класса, какая может быть рождена лишь отчаянием, игру, питающуюся той необычайной силой, что приходит перед катастрофой. К сожалению, люди этого не видят. Им неприятно наблюдать на сцене подлинную борьбу. Они хотят, чтобы все совершалось как бы без усилий.

— И хотят, чтобы их покоряли.— Изабель обмахивалась кружевным носовым платочком.— Они откровенно заявляют о том, что желают быть покоренными. Сидят себе, наблюдая, как ты трепыхаешься там, наверху, и ждут, что ты покоришь и преобразишь их своим искусством, превратишь в своих смиренных почитателей, которые желают лишь одного — целовать прах с твоих башмаков. Но только это целование праха должно себя окупить. Так что мало понравиться некоторым. Ты должна нравиться всем. Но и в этом случае ты не застрахована.

— Стечение неблагоприятных обстоятельств, случайная несобранность, какие-нибудь вредные излучения, если угодно,— подхватила опять Изабель,— и все кончено. Покорения не происходит. Взаимное притяжение между тобой и зрителями превращается во взаимное отталкивание. И вот ты, вот вы стоите перед ними, обессиленные,— отчаяние заставило вас превзойти самих себя. Но вы ничего не можете поделать — они вас ненавидят.

— В полной изоляции актера, потерпевшего провал,— Розабель откашлялась и откинулась на спинку скамьи, а Софи тем временем слушала их обеих, затаив дыхание,— есть что-то бесконечно трогательное. Никто не хочет с ним разговаривать, да он и сам не хочет, чтобы с ним разговаривали,— у него такое чувство, будто к нему могут обратиться только из жалости. И он стыдится этого, хоть и не знает за собой никакой вины.

— О да,— сказала вдруг Софи, живо вспомнив один из самых страшных своих провалов, когда она и один на се коллег как-то раз в течение целого вечера должны были читать стихи.

Дело было поздней осенью, из-за неустойчивой погоды многие актеры их труппы заболели гриппом. Надеясь, что все же смогут выступить, они тянули до последнего момента, когда отменить спектакль было уже нельзя. Надо было чем-то наспех его заменить — тут и пригодилась та поэтическая программа, которую они подготовили уже дивно, на всякий случай. Софи с радостью и восторгом на это согласилась. Ей редко выпадал случай оставаться на сцене одной, и она прямо-таки горела желанием превратить этот вечер в свой триумф.

И когда она действительно сидела одна на высокой сцене, пытаясь наполнить своим голосом зал, ожидавший совсем другого, то слишком долго не замечала, что все ее усилия не находят отклика. А заметив, с тем большим упорством решила не сдаваться.

Она и не сдалась, но когда, обессиленная, словно побитая, услышала жидкие вежливые аплодисменты, то едва не упала в обморок. Она закрыла глаза, чтобы хоть не видеть, как зрители с явным облегчением устремились к выходу. Потом, сидя у нее в уборной, все вместе, они пытались понять, чем мог быть вызван такой неслыханный провал. Особенно утешал Софи тот коллега, который должен был читать после нее, но, разочарованный холодным приемом, от выступления отказался.

Позже Софи и ее не заболевшие коллеги,— «чтобы утешиться», как выразился директор,— пошли в расположенный поблизости хороший ресторан, где успела уже обогреться часть публики с их вечера,— это можно было определить по тому, как люди перешептывались, наклоняясь друг к другу, как презрительно опускали уголки рта, по тому барьеру, который, в противоположность доброжелательной атмосфере после успешных представлений, воздвигся между Софи и ее товарищами на одной стороне и этими людьми на другой.

Софи особенно страдала оттого, что ответственность за этот провал лежала на ней одной. Уже нередко случалось, что тот или иной их спектакль не имел успеха и потом они сообща ломали голову, что могло быть тому причиной, однако всем вместе им было не так стыдно.

Хотя и на сей раз немногие коллеги, что сидели с нею, пытались изобразить это как общую беду, Софи все равно чувствовала себя крайне подавленной.

До тех пор, пока японец, который в тот вечер случай-но забрел в театр, не послал ей на стол цветы. Немного погодя он подошел и сам, уверяя, что она произвела на него очень сильное впечатление. Говорил он только по-ан-глийски, а потому все, что она читала, наверняка осталось для него непонятным, это придавало его комплиентам известную пикантность, однако его восхищение было та-ким искренних, действовало на нее так благотворно, что она не стала разбираться, насколько компетентно суждение. В тот же вечер между Софи и японцем началась пылка любовь, длившаяся ровно десять дней. Он последовал за трупой в соседний город, посещал все их спектакли, проводил с нею все дни и ночи, до той минуты, когда ему пришла пора возвращаться в столицу, чтобы успеть на самолет. Через несколько недель Софи получила неболь-шую посылку из Окинавы — там было кимоно, которое она носила до сих пор.

— И все-таки,— нарушила молчание Изабель,— неуда-чи такого порядка не стоит принимать слишком близко к сердцу. Они происходят неведомо отчего и почему.

— Нет худа без добра.— При этих словах Розабель едва заметно подмигнула Софи, и та залилась краской, словно ее в чем-то уличили, хотя в ее жизни не было ни-чего такого, что бы ей непременно хотелось скрыть.

— Нам тоже знакомы подобные ситуации,— сказала Изабель,— хотя и не по собственному опыту. Призрак неудачи вечно тяготеет над тобой, словно рок, и кажется, будто тебе от него не уйти. И он всегда застает тебя врас-плох. Ты никогда не чувствуешь себя в безопасности. Как бы низко ты, по-твоему, ни опустилась и как бы высоко на вознеслась, неудача вдруг всей своей тяжестью обрушива-ется тебе на голову, и ты чувствуешь себя так, словно тебя парализовало.

Софи кивнула. Словно тебя парализовало. Начисто те-ряешь присутствие духа, которым, казалось, обладала,— его будто поглотил тот же рок. Боишься сказать хоть фра-зу от себя, сделать малейшее движение, не заученное за-ранее. А между тем одна такая фраза, одно такое движение могли бы, наверное, все спасти.

— Вы действительно так думаете, дорогая Софи? — в один голос спросили вдруг Изабель и Розабель.

— Да разве я знаю.— Софи покачала головой.— Мо-жет быть, и нет. Но так, по крайней мере, кажется.

— А кажется так потому,— Изабель таинственно улыб-нулась,— что ты полагаешь, будто все в твоих руках. Пусть даже сейчас ты сплеховала, но могла бы все сделать гораздо лучше.

— Не говоря уже о том,— Розабель положила на стол обе руки и рассматривала свои ногти,— что не от тебя одной все зависит, не ты одна играешь роль. Существует множество факторов, и порой они действуют согласно, а порой и вопреки друг другу. Иногда ты подчиняешь их себе, а иногда подчиняешься им сама.

— Считать, что ты одна виновата во всем,— значит воображать о себе слишком много,— сказала Изабель.— Столько есть разных причин...

— Но, с другой стороны,— заметила Розабель,— это вовсе не значит, что мы свободны от всякой ответственно-сти. Все дело в правильных взаимоотношениях между на-ми в вещами. Существуют создания самого различного толка, а мы склонны не замечать никого, кроме себе подоб-ных. Вот оттого, что мы столь

многого не замечаем, нас неожиданно и настигают всякие напасти. То, что скрывается за вещами, не более важно, чем то, что их скрывает от нас. Надо только не упускать это из виду.

Софи невольно схватилась за голову, словно ей было уже невмоготу,— такого она наслушалась за последние полчаса.

— Дорогая Софи,— сказала в этот миг Изабель, сделав знак Розабель.— Что же это мы, болтаем и болтаем, у вас уже и голова заболела. Надеюсь, мы все же вам не слишком докучали.

— Позвольте вам откланяться,— сказала Розабель и поднялась одновременно с Изабель.— Когда бы вам ни по-надобилась наша помощь — мы тут, рядом, в комнате но-мер восемь — счастливая «восьмерка».— И не успела Софи моргнуть глазом, как обе они, руна об руку, скрылись в одной из аллей парка.

Софи несколько минут собиралась с мыслями, прежде чем снова подхватила оборванную нить воспоминаний. «Ах да, японец»,— вполголоса сказала она себе, точно желая этими словами вытеснить все другое, что смущало и угнетало ее.

Они с самого начала знали, что у них есть всего десять дней. Быть может, именно это и сделало их взаимное чувство таким пылким. В итоге за эти десять дней они про-жили целую жизнь — жизнь, которой пришлось уместить-ся в такой сжатый срок. А когда расстались, чувствовали себя так, будто испытали уже все, что могут испытать мужчина и женщина, познавшие близость. Софи не представляла себе, как их отношения могли бы; должны были бы развиваться дальше, после этих десяти дней, не говоря уже о том, что их разделяло полмира.

Они так быстро и так безоглядно преодолели взаимную отчужденность, их короткая близость была такой полной что за этой необычайной близостью могла последовать «лишь новая отчужденность».

Любовь их была почти безмолвной, язык — в данном случае английский — требовался им лишь тогда, когда речь заходила о самых обыденных вещах. Любовь без рас-сказов.

Теперь, когда она все это вспоминала, ей стало ясно что она ведь ничего не знала о том японце — только то что он инженер. Ни слова о его детстве, о его юности, о его жизни вообще. Она даже не знала, есть ли у него семья и как он проводит свое свободное время. Это была любовь без прошлого и без будущего. Любовь, какую представля-ешь себе, мечтая о незнакомце, которого не существует. Но Софи любила воспоминания об этой любви, не изуро-дованной отметинами времени.

В этот миг пошел вдруг такой сильный дождь, что, по-ка Софи добежала до входа в отель, она успела изрядно промокнуть, так что пришлось ей срочно идти наверх пе-реодеваться, прежде чем, в ожидании новых удивительных событий, отправиться в ресторан обедать.

*

Обед прошел спокойно, без особых происшествий, хотя некоторые дамы и господа недовольно ворчали. Софи си-дела возле бледной англичанки в темной соломенной шля-пе, украшенной белыми цветами,— шляпа эта производи-ла довольно странное впечатление, однако она вполне под-ходила к необычному сочетанию красок в наряде этой дамы — штирийское платье в черно-белую клетку и свет-лый шелковый передник.

Как вскоре выяснилось, разговор шел о погоде. Если англичанка и некоторые другие дамы ничего не имели против затянувшегося ненастья, то остальные ожесточен-но ругали бесконечные проливные дожди.

Софи сочла досужим капризом их нападки на присут-ствующих в зале местных жителей, словно те, как хозяе-ва обязаны были и в этом угодить гостям и позаботиться о хорошей погоде. Нехотя обе стороны состязались в остроумия, отпускаясь шутки, казалось, имели целью скрыть от непосвященных всю

серьезность проблемы.

Когда обед подходил к концу — как раз подали де-серт,— у господина Альпинокса терпение, видимо, оконча-тельно лопнуло. Он вскинул вверх руки, призывая всех успокоиться, и, смеясь, пообещал замолвить словечко пе-ред богом погоды,— при этом он метнул через весь зал лукавый взгляд на Софи. После этого та часть гостей, что желала скорейшего наступления летнего тепла, успокои-лась, остальные же, в том числе бледная дама-англичанка, только пожимали плечами, показывая, что у них найдутся и другие желания.

И в самом деле, уже когда они пили кофе, небо очи-стилось, солнце засияло в полную силу, соответственно вре-мени года, и, казалось, пускало луч в каждую невысохшую каплю дождя, заставляя ее в ту же секунду испариться.

— Довольны вы теперь? — спросил Альпинокс, прохо-дя мимо Софи, когда все толпой повалили в парк. Должно быть, он отгадал ее тайное желание искупаться и позаго-рать, но после всего, что было, это уже не удивило Софи.

Дамы весьма основательно обследовали состояние по-годы и так пристально всматривались в небо, будто свои-ми взглядами хотела согнать с него последние мелкие тучки в отправить их подальше, за горные вершины, в чу-жие края.

Софи прокралась наверх, к себе в комнату, собрала свои купальные принадлежности и сунула в холщовую сумку. Она снова почувствовала себя девчонкой, которой не сиделось на месте, когда ее охватывало желание поза-горать,— в такие минуты она все бросала и бежала на бе-рег озера, чтобы подставить свое тело жарким лучам и лежать, пока ее вольно блуждающие мысли не начнут сли-ваться и путаться и она не окажется на той грани между сном и бодрствованием, когда чего-чего только не начнешь воображать.

Первый день купального сезона она обычно проводила одна. Только когда на ее кожу ложился легкий загар — только тогда она позволяла смотреть на себя другим.

Сложив все, включая солнечные очки и крем для зага-ра, Софи тихонько спустилась вниз. Судя по скрипу до-сок, остальные дамы собрались на балконе второго эта-жа, опоясывающем здание с трех сторон, и по всей види-мости, принимали там первую солнечную ванну.

Софи пошла по дороге, огибавшей церковь, затем во-круг озера, и ноги сами привели ее в тот уголок, где она обычно купалась раньше,— туда, где гора, слегка выпячи-ваясь, круто обрывается прямо в воду. Это место совсем не изменилось,— ровная полоска берега, покрытая галькой к защищенная от дороги валунами. Здесь всегда было пу-стынно; мало кто из купальщиков использовал эту часть берега как пляж, а если кто здесь и купался, то лишь мест-ные жители. Чуть правее тянулась гряда камней, доволь-но отлого спускавшаяся к воде и, должно быть, образовав-шаяся здесь вследствие оползня. Если не боишься ступать по камням, которые только-только начинают превращать-ся в гальку и песок, то по ним удобно сходить в воду. Это значит — можно сделать несколько шагов, чтобы чуть-чуть остыть, а потом уже дно начинает уходить у тебя из-под ног и ты волей-неволей полагаешься лишь на свое умение плавать.

Софи разделась за кустом можжевельника и расстелила одеяло на том месте, которое всегда считала своим соб-ственным. Когда она легла и почувствовала на себе давно желанные жаркие лучи, то осознала, что теперь действи-тельно вернулась домой, и это сознание не только не при-чиняло ей боли, а, наоборот, было бесконечно сладостно. Окинув взглядом противоположный берег озера, она по-чувствовала такой прилив счастья, какого не испытывала уже давно. Издали до нее доносились смех и крики курортников, катавшихся на лодках, она ощущала, как нагревает-ся ее кожа, как тело впитает в себя солнечное тепло и начинает проникаться приятной ленью. Ее руки и ноги расслабились, она раскинулась так, будто распростерла объятия, и блаженство прилиvalo и отлиvalo, чтобы, став

чрезмерным, не перейти вдруг в иное чувство.

И, как в прежние времена, в этом полузабытии она принималась воображать себе терпкие напитки, поданные в запотевших бокалах,— на их наружных стенках высту-пали капельки, в которых играл и преломлялся свет,— она представляла себе, как медленно подносит такой бокал ко рту и, прежде чем сделать первый глоток, прикасается горячими губами к его прохладному краю, а приоткрыв .гу-бы, втянув немного влаги в рот, держит ее сперва на языке и только потом пускает вовнутрь. С тем чтобы постепенно начать пить вздох и все глубже вливать в себя напиток.

Эта привычная игра фантазии так прочно держалась в ее памяти все эти годы, что от ее возобновления у Софи радостно забилося сердце, и она не преминула провести руной по груди и животу, обозначая снаружи, как стру-ится напиток вовнутрь.

Но она знала также, когда пора сдаться и прервать эту игру, чтобы она не стала слишком мучительной. Софи медленно поднялась, потянулась и, осторожно ступая ме-жду камнями, сошла по каменной осыпи, мягко, без шума, скользнула в отливающую зеленью воду, на секунду под-далась желанию не двигаться, опуститься на дно, но в следующую секунду решительно вынырнула на поверх-ность и поплыла.

Первое время вода казалась ей довольно холодной, но благодаря движению она быстро привыкла и заплывала все дальше, на середину озера, с каждым взмахом рук по-гружая в воду лицо и не щадя прически, как делала и встарь.

Отплыв метров на сто от берега, она остановилась, по-вернула назад и, приняв в воде вертикальное положение, взглянула вверх, на вершину горы. Из расселин ломкого известняка пробивалась скудная растительность, сменяясь повыше полосками леса — их темная зелень резко выде-лялась на фоне белесоватых скал. А потом Софи стало ка-заться, будто она видит сон: с вершины горы, медленно описывая круги, слетали огромные пестрые бабочки, на-висали прямо над ее головой, хотя и на большой высоте, и плавно спускались к деревне.

Ей понадобилось некоторое время, чтобы связать уви-денное с мало-мальски вероятной реальностью, во от этого ее любопытство ничуть не уменьшилось. Она могла уже различить человеческую фигуру, висящую между огром-ными, туго натянутыми крыльями, и ей тоже в какой-то мере передалось упоительное чувство парения в воздухе. Затаив дыхание, следила она за полетом этих отчаянно смелых людей — дельтапланеристов, о которых, как она теперь вспомнила, уже что-то слышала,— следила до тех пор, пока они не приземлились на широких полях между поселком и озером. Только после этого ее пронизала лег-кая дрожь, и она поплыла назад к берегу, а приблизив-шись к нему, ухватилась за камень, еще немного побулты-халась в воде, затем вышла на сушу и направилась обрат-но к своему одеялу.

Что ж это за люди такие? — подумалось ей... Без помо-щи какого-либо механизма, снабженные единственно этими жалкими крыльями, они отваживаются прыгнуть в пу-стоту. И хотя от одной мысли о подобном прыжке ее взял страх, ей предстала в видении панорама, которая, навер-ное, открывалась этим дельтапланеристам.

Она увидела перед собою, вернее под собою, все: горы, окружающие озеро и деревню, а за этими горами — новые и новые горы, замкнувшие в кольцо новые долины; реки, пробивающиеся сквозь каменистое русло; луга и леса разных оттенков зеленого цвета; заборы, ограждающие пастбища, и белые пыльные дороги, прорезающие ланд-шафт во всех направлениях. Она видела дома и церкви, которые сверху казались гораздо более скученными, чем когда смотришь снизу на их островерхие крыши и башни. И она увидела еще много, много всего. Самый высокий забор не мог заслонить от ее взгляда обнесенный им сад, самое громоздкое здание не могло скрыть от ее глаз свой внутренний двор.

Как получился вдруг такой прекрасный обзор, подумала она, но подумала, видимо, уже во сне, довольно сум-бурном и странном, хотя вспомнить его во всех подробностях она бы уже не смогла.

Проснувшись Софи от грохота,— в первый миг ей казалось, что это все еще сон,— от грохота взрыва, породившего огромное грибовидное облако,— зрелище, от которого ей стало не по себе. Потом, когда она очнулась, а грохот раздался опять, смешавшись с надсадным треском вертолета, она поднялась и взглянула на вершину горы.

Должно быть, опять работают подрывники на строительстве новой туристской дороги,— так пыталась она убедить себя в безобидности услышанного и увиденного. Но вот опять раздался взрыв, и Софи вроде бы удалось простым глазом рассмотреть клубы дыма на том месте, где сквозь толщу горы прокладывали туннель.

Потом ее все еще затуманенный сном взгляд скользнул вниз по скалистому обрыву и опять остановился на ее собственных коленях, как вдруг ее будто что-то дернуло, и она снова вскинула глаза на обрыв, где скала, на полпути к вершине, была всего неприступней. Ей почудилось, что она видит там лицо Драконита, того самого господина, с которым они так подробно обсуждали Зильберову кол-лекцию минералов. И пока она уверяла себя, что это просто обман зрения, вызванный игрою света и тени на ска-листой стене, ей показалось, что она видит и руку этого господина Драконита: вытянув ее вверх, он гневно по-трясал кулаком в ритме очередного взрыва.

Софи потеряла глаза. Но ведь этого не может быть, удив-ленно подумала она, как бы он мог туда взобраться, да и вообще, с одной стороны, он словно врос в эту скалу, с другой... Она попыталась опять отыскать глазами то ме-сто где ей привиделось странное явление. Но там не ока-залось ничего, кроме голой, поросшей колючками скалы, и Софи окончательно убедилась, что это было не что иное, как наваждение, морок.

В раздражении она поглядела на свои ноги и почувст-вовала, что кожа у нее болезненно натянулась. Надо по-скорей одеться и уйти, не то можно получить ожог. Спала она, скорее всего, совсем недолго, но близость воды так усилила действие солнца, что кожа у нее успела покрас-неть,— она проверила это старым способом, который при-меняла в юности: немного оттянула купальник, чтобы по-лучше рассмотреть разницу в цвете тела.

Когда она уже оделась и собралась уходить, то замети-ла приближавшуюся к берегу лодку. Там сидела Амарил-лис Лугоцвет и призывно махала Софи. По каменной осы-пи Софи спустилась к воде и подождала, пока Амариллис подгребет к берегу.

— Садись, поедem,— сказала та.— Один из этих моло-дых ребят упал в озеро и утонул. Случайно поблизости оказались водолазы, так что удалось хоть вытащить тело. Софи испуганно уставилась на нее.

— Один из... из дельтапланеристов? Амариллис Лугоцвет кивнула.

— Совсем еще мальчик, и в двух шагах от берега. Софи вошла в лодку и села на весла, которые уступила ей Амариллис. Они доплыли до ущелья, где Амариллис втащила лодку в небольшой сарайчик.

Переодевшись, Софи спустилась вниз, чтобы пойти ужинать, и увидела, что Альпинокс и многие дамы еще сидят в вестибюле. Они расхватали разложенные там газе-ты и читали их, то и дело прерывая чтение возгласам изумления или ужаса; вообще вели себя так, будто сроду не держали в руках газет и они им в диковинку.

Альпинокс, на секунду подняв глаза, увидел Софи и предложил ей сесть в кресло рядом с ним. Софи еще не успела усесться, как он с большим удивлением показал ей фотографию в английской газете, на которой был снят далай-лама: беседуя с кем-то, он постукивал себя пальцем по лбу, и было совершенно ясно, что

этот жест имеет ка-кое-то отношение к тибетскому языку, но отнюдь не имеет того оскорбительного смысла, в каком употребляется здесь, в этой стране.

— Вы только поглядите,— сказал Альпинокс, не отрывая глаз от газеты,— мой старый друг. А до меня даже не дошла весть о том, что он изгнан из своей страны. Надо мне будет как можно скорее с ним повидаться.

— Ах да,— сказала дама с миндалевидными глазами, случайно оказавшаяся рядом.— Прискорбный инцидент, в самом деле — весьма прискорбный и, по всей вероятности, в ближайшее время непоправимый.— Она слегка покраснела. Только теперь Альпинокс заметил, что Софи застыла от изумления.

— Ах, понимаете,— обратился он к ней с любезной улыбкой,— я иногда чудовищно преувеличиваю. Но мне действительно однажды довелось видеть этого человека,— он опять ткнул пальцем в фото далай-ламы,— можете мне поверить. В юности я был страстным альпинистом и, конечно, пытался штурмовать гималайские вершины. Вот тогда-то...— Альпинокс подкупающе улыбнулся.— Только, к великому моему сожалению, мне не удалось ни одно из этих первовосхождений, о которых впоследствии так ино-го болтали.

Некоторые дамы поднялись и, продолжая разговоры, в которых звучали отголоски газетных сообщений, направились в зал. Альпинокс, казалось, был рад, что может встать и предложить руку Софи.

— Вы небось проголодались после плавания? — благо-желательно спросил он. Софи кивнула, и он прибавил: — Ито ж, посмотрим, чем нас побалуют сегодня вечером.

Ужин протекал в более серьезном настроении, чем обычно, как будто новости со всего света привели эту публику в легкое замешательство, которое улеглось лишь медленно и постепенно, уступив место признанию свершившихся фактов. Кроме того, в тот вечер общество было в изначальном своем составе, включая фрейлейн фон Триссельберг,— Софи даже не заметила, как та вдруг оказалась за соседним столом,— а странные посетители, что обычно показывались только после еды, на сей раз отсутствовали.

Один лишь фон Вассерталь, несмотря на свой мечта-тельно-задумчивый взгляд, как всегда, пребывал в благо-душном настроении и пытался развлечь общество, рассказывая анекдот за анекдотом.

На дворе так потеплело, что воздух, лившийся в рас-крытые окна, не приносил прохлады.

— Ну, довольны вы теперь? — спросил Альпинокс у дам, которые в перерывах между блюдами обмахивались салфетками.

— Наконец-то наступило настоящее лето,—начала дама по имени Розабель, а дама по имени Изабель продолжала: — В конце концов каждое время года должно прине-сти с собой то, что от него ждут.

— Я привыкла к совсем, иным температурам,— ска-зала темноволосая дама, с которой фон Вассерталь все еще иногда обменивался многозначительными взглядами.— Должна сказать, что я только-только начинаю согреваться.

— Уж эти мне восточные дамы,— саркастически за-метила фрейлейн фон Триссельберг, хотя и не слишком громко.— Им никогда не бывает достаточно жарко.— И она бросила насмешливый взгляд на фон Вассерталя.

— Пожары надо тушить,— возразил тот,— это обяза-тельство остается в силе, вы ведь тоже так считаете, ми-лая Розалия? — Он воспользовался случаем, чтобы поце-ловать руку Софи, словно извиняясь за то, что разговари-вал с ее соседкой через ее голову.

Дама-англичанка выглядела какой-то вялой. От пребы-вания на солнце веснушки, во время обеда еще почти не-заметные, темными точками усыпали ей лицо, и даже тень от ее огромной шляпы не могла их скрыть. Тепло насту-пило,

пожалуй, слишком внезапно — заметила англичанка; сама она привыкла к более устойчивой погоде, правда, она не особенно страдает от этой перемены,— и она примири-тельно улыбнулась Альпиноксу, бросившему на нее оза-боченный взгляд.

После того как гости выпили по рюмке-другой, настро-ение немного улучшилось, хотя разговор угрожал опять свернуть на газетные новости.

— Людям надо наконец показать...— подал голос Драконит, на этот раз сидевший рядом с Амариллис Лугоцвет. Софи вздрогнула, увидев его.

— Так изуродовать вершину горы только для того, чтобы с нее удобнее было смотреть,— сердито продолжал он, но ни у кого не было охоты пускаться в разговор о новой дороге, которая должна была подводить вплотную к вершине высочайшей горы.

Ответила ему только дама с миндалевидными глава-ми,— она признала его критику справедливой, но прибави-ла, что разрушение этой горы — лишь относительно без-обидный симптом охватившей весь мир болезни. Болезни, которая, несомненно, приведет к гибели и уничтожению всего живого. Если не... Тут все как будто стали прислуши-ваться... Бели своевременно не принять необходимые ме-ры — спокойно, с улыбкой заключила дама.

Кое-кто испустил горестный вздох. — Просто невероятно, за какое короткое время челове-ку удалось захватить власть над всей живой и неживой природой,— продолжал Драконит.— Он потребляет и употребляет все, что дарует ему земля, и всем злоупотребляет. Искусственные горы, которые он воздвигает, скоро заменят собою настоящие, которые он сносит. Дамы и господа, если вы хоть ненадолго дадите волю своей фан-тазии, то без труда представите себе, в каком положении скоро окажемся мы все.

— Человек подавляет не только иные существа, но я себе подобных,— сказала фрейлейн фон Триссельберг.— Все, что может даровать природа, даже дичь, одни люди целиком присваивают себе, чтобы не дать попользоваться другим.

— И это тоже всего лишь частный вопрос,— заметила Амариллис Лугоцвет.— Если уж мы ломаем голову над проблемой, то должны рассматривать ее в более общем плане.

— А для этого,— взял слово фон Вассерталь,— надо иметь ясную голову. Поэтому я предлагаю сперва иску-паться в озере. Ночью вода теплая и приятная, и все озеро в нашем распоряжении.

— Купаться? Сейчас? — спросил Драконит.— Когда мы наконец-то перешли к делу?

Но предложение фон Вассерталя оказалось слишком соблазнительным — раздавшиеся там и сям восторженные возгласы показывали, насколько оно пришлось по сердцу дамам.

— Какая великолепная мысль, дорогой фон Вассер-таль,— прошептала фрейлейн фон Триссельберг.— В по-добных делах на вас и правда можно положиться.

Англичанка тоже облегченно вздохнула. — Нам всем будет полезно немного освежиться,— за-метила она.— Просто жара наступила слишком быстро. Это плохо влияет на самочувствие.

Софи это предложение повергло в некоторую растерян-ность, и пока гости допивали свои бокалы и двигали стуль-ями, она соображала, идти ей с ними или нет.

— Но вы же не лишите нас своего общества, почтен-нейшая,— сказал Альпинокс, успевший меж тем поднять-ся и подойти к ее столу, чтобы шепнуть что-то фон Вассерталю.

— Вы полагаете, что и мне стоит...— Софи все еще бы-ла в нерешительности.

— Ну разумеется. Не теряйте времени зря. Кто знает, надолго ли нам удастся удержать такую хорошую пого-ду.— И он громко расхохотался,— можно

было подумать, что внезапно наступившая жара — это целиком его заслуга.

— Ладно,— ответила Софи,— тогда я схожу за своими купальными принадлежностями.— Поднимаясь, она еще успела заметить, как Альпинокс и фон Вассерталь пере-мигнулись.

Софи надела купальник, который тем временем со-вершенно высох, а поверх него легкое льняное платье. Когда она снова спустилась вниз, ресторан был уже пуст, в она тоже вышла наружу и направилась к берегу.

Стояла теплая, звездная летняя ночь, и, взглянув на небо, Софи увидела, как сквозь Вселенную пронеслась па-дающая звезда. Она невольно подумала о Клеменсе,— он теперь, наверное, в Греции, на острове, и, может быть, тоже видел эту звезду. Надо загадать желание, тихо сказа-ла она себе и загадала: «Чтобы мы с тобой жили в ладу». Она следила глазами за звездой, пока та не погасла.

Она стояла на белой, посыпанной гравием дорожке перед садиком ресторана и как раз намеревалась спустить-ся вниз на лужайку, выводившую прямо на пляж. Собст-венно, настоящего пляжа, насколько она помнила, здесь не было, только узкая полоска гальки,— единственное место на озере, где тянулись заросли камыша. Но вместо того, чтобы сделать хоть шаг вперед, она словно приросла к месту и напряженно вглядывалась в темноту перед со-бой, в которой угадывались очертания большою ясеня,— только дальше, над гладью озера, сверкавшей отблеском звезд, мрак рассеивался.

Она стояла неподвижно, сама не зная почему. Ей слышались голоса остальных и хотелось подойти к ним, но не удавалось сделать ни шага, ни единого шага по этой лу-жайке, словно путь ей преградила стеклянная стена. Она даже не могла выбросить вперед руки. А в то же время ни-какого осязаемого препятствия перед нею не было. Просто она оказалась не в силах перешагнуть через невидимый барьер. Люди, вышедшие на обычную вечернюю прогулку спокойно шли мимо нее. Но они, должно быть, даже не воспринимали доносившиеся до нее голоса, потому что она отчетливо слышала, как одна женщина сказала: «Какая тишина на озере, ни звука не слышать!»

Когда прохожие скрылись в темноте, она вдруг увиде-ла, что кто-то приближается к ней. Это была Амариллис Лугоцвет.

— Пойдем,— сказала Амариллис и протянула ей руку, будто для того, чтобы перевести ее в иную сферу бытия. И Софи без усилий зашагала с ней по лужайке.

— Но что, что все это значит? — спросила безмерно удивленная Софи.

— Ничего особенного,— небрежно заметила Амарил-лис Лугоцвет.— Сегодня мы хотим обойтись без посто-ронних.

Софи не очень понимала, о чем речь.

— Но как же...— начала она.

— Послушай,— довольно строгим тоном сказала Ама-риллис Лугоцвет.— Этой ночью ты будешь вместе с нами. Тебе невдомек, что твоя жизнь многому нас научила. По-пробуй теперь кое-чему научиться и ты. Навостри глаза и уши и не задавай вопросов. Все, что ты увидишь и услы-шишь сегодня ночью, тебе придется забыть. Но твое истин-ное «я» извлечет из этого пользу. Мы долго обсуждали, стоит ли оказывать тебе такую милость. И, к моей великой радости, все изъявили согласие. Это последнее, что я могу для тебя сделать в моем нынешнем образе.

Тем временем они подошли к пляжу, и Софи увидела, что некоторые дамы и мужчины уже вошли в воду, а дру-гие еще стоят на берегу, подставив нагие тела лунному свету.

— Раздевайся,— сказала Амариллис Лугоцвет.— Для большинства из нас это прощанье с вашим нынешним об-разом, а потому мы хотим сбросить с себя всю одежду.

Софи повиновалась я, раздевшись донага, увидела, как одеяние Амариллис

Лугоцвет без малейшего ее участия растворилось в воздухе, открыв взгляду такую совершенную фигуру, что Софи в изумлении вытаращила глаза и едва устояла против искушения потрогать это тело, дабы убедиться, что оно земное.

— Помни о том, что ты пребываешь под моей личной защитой,— сказала Амариллис Лугоцвет и снова взяла Софи за руку.— Что бы ты ни увидела и ни услышала, тебе ничто повредить не может. Так что не бойся.

С этими словами она подвела Софи к воде.

— Держись рядом со мной,— посоветовала она,— я и сама за этим прослежу.

А когда они уже по щиколотку стояли в воде, Амариллис Лугоцвет зачерпнула ее ладонью и окропила Софи голову и тело.

Вода показалась ей. теплой, и Софи возликовала от соприкосновения со стихией, которая была ей мила и без которой она не могла обойтись. Потом они стали шаг за шагом глубже входить в воду, в обществе и в окружении других дам, коих становилось все больше — их белые тела и сами светились, подобно луне. Что касается мужчин, то они успели уже заплывать далеко вперед.

Над поверхностью озера рассыпался негромкий много-голосый смех, на всех напало безудержное озорство: то один окунал другого с годовой, то кто-то обламывал ка-мыш и щекотал им соседа за ухом. Амариллис Лугоцвет казалась такой молодой и веселой, какой Софи ее еще ни-когда не видела, и она тоже смеялась и шутила вместе со всеми.

Потом озеро, в этом месте сравнительно мелкое даже на порядочном расстоянии от берега, стало сразу таким глубоким, что Софи вдруг перестала чувствовать под ногами дно и пустилась вплавь. Объявшая ее вода была ласковая и теплая, не намного ниже температуры ее тела, и она плыла настолько легко, с таким ощущением счастья, что ей хотелось бы продлить это состояние до бесконечности. Когда она поднимала глаза, то видела, как мигают огни альпинистских хижин на вершинах гор, а на воде серебристо сверкала лунная дорожка. Несмотря на все свое любопытство и ожидание чего-то необычайного, она чувствовала себя покойно и надежно.

Шутки, перелетавшие из конца в конец, от одного к другому, не миновали теперь и Софи, и она показала себя достойной внучкой своей бабки Сидонии, каждый раз бросая в ответ острое словцо, за что нередко бывала вознаграждена дружным смехом окружающих. Софи сама удивлялась живости своего ума, безошибочной меткости своих ответов. А когда под конец ее стали поддразнивать, что она даже голая производит впечатление одетой, поскольку загар отчетливо отметил на ней контуры купальника, она сквиталась с насмешниками, заявив, что, будучи актрисой, не привыкла обходиться без модных аксессуаров.

Плыли они с такой быстротой, что Софи просто не верилось, как могли они за столь короткое время переплыть все озеро. «Надо мне будет завтра попробовать еще раз,— подумала она.— Либо озеро стало меньше, либо я открыла новый способ плавания».

Они приближались уже к лугу на другом берегу, та-мошний ресторанчик был погружен в глубокую тьму. Но плывший впереди фон Вассерталь вдруг поднял руку, призывая всех остановиться.

— Вот самое подходящее место,— сказал он.

Услышав эти слова, Амариллис Лугоцвет схватила Софи за руку, как раз вовремя, чтобы предостеречь ее от большой волны, которая накатила внезапно и, образовав вокруг них замкнутый вал, в таком положении застыла. Внутри вала вода еще колыхалась, но под ней, совсем близко к поверхности, просматривались рифы, покрытые мохнатыми водорослями, колыхавшимися вместе с водой. Это были те самые камни, что, в отличие от выступавших над водой, при устойчивой жаре и постепенном обмелении озера представляли большую опасность для лодок.

Общество разделилось теперь на группы — каждая устроилась на каком-нибудь из камней, однако эти камни были расположены так близко один от другого, что можно было слышать соседей, не повышая голоса. Софи расслышала, как Альпинокс сказал: «Вода, земля, воздух и огонь», — и вдруг, откуда ни возмись, по воде, между камнями, заплывали светильники — маленькие площадки, в которых горели благовонные масла.

Софи опять пребывала в том странном состоянии, какое было ей уже знакомо по прошлым вечерам, однако на этот раз ей казалось, будто она с самого начала понимает все гораздо яснее.

Амариллис Лугоцвет возвысила голос: — Все мы пришли к единому мнению, что пора вам на что-то решиться. Каждый в своем решении свободен, и это его решение должно уважаться всеми. Наш совокупный жизненный опыт подсказывает нам, что необходима серьезная перемена, дабы установить новые взаимоотношения между существами и вещами. Курс развития, который взяли чужане и который они навязали всем существам и вещам, это курс разрушительный. А посему власть не может оставаться всецело в их руках. Она должна быть поделена. Слишком долго наслаждались мы удобствами безвластия, — значит, мы совиновны.

Волна безмолвного одобрения была ей ответом, и на несколько минут присутствующие как будто погрузились в размышления. Потом вдруг раздался нестройный хор голосов, словно все хотели ответить разом. И у Софи опять возникло ощущение, что сквозь ее голову пробегают различные потоки и в их плеске она различает отдельные фразы, не зная, по каким законам и правилам происходит отбор слов, доступных ее разумению.

— Ни одно отличное от них существо не постигло всю ненасытность чужан, пока не пало их жертвой.

— Хитрость они превратили в коварство, огонь превратили в ад. борьбу — в войну. — При слове «война» по воде прошла рябь, словно под налетевшим порывом ветра.

— Ни одно существо не обходилось так жестоко с себе подобными. Ни одно существо с таким пылом не преследовало себе подобных. Ни одно существо так часто не убивало себе подобных. Никого они так не боятся, как самих себя.

Софы охватил страх от всех этих слов, проникавших в ее сознание, но Амариллис Лугоцвет легонько коснулась ее руки.

С той стороны, где сидел Драконит, раздалось какое-то бормотанье, меньше всего похожее на одобрение.

— И мы в этом совиновны? Они постепенно разрушают все, из чего извлекают для себя пользу.

— Они уже не способны сами себе помочь, — сказал Альпинокс. Их машины берут над ними верх. Они слишком далеко зашли на своем пути. Их мудрецы ничему их не научили, мудрость им отказала. Она светит им издали. Учения, им преподанные, оказались чересчур многозначными для того, чтобы найти себе применение, и чересчур однозначными, чтобы воспрепятствовать убийству,

— Их сила в той власти, которую они обрели над миром вещей. Их слабость в том, что им необходима любовь дабы не прийти в отчаяние, — заявил фон Вассерталь.

— О да, любовь им необходима, — подхватила фрейлейн фон Триссельберг, — и они заразили любовью всех нас.

— Мы должны быть им благодарны за всякий основополагающий опыт, который они передают нам, — подала голос персиянка.

— Мы дали им себя соблазнить, — сказала дама из Англии, — они растрогали нас своими рассказами, словно мы существа того же порядка, что и они. А потом они нас изгнали, и мы даже обрадовались, что можем больше не вмешиваться в их дела.

— Мы стали к ним небрежны и, приняв тот образ, которым они нас наделили, замкнулись в своей узколичной сфере,— сказала какая-то дама, очень смахивавшая на француженку.— Мы перестали заниматься их делами и допустили, чтобы их фантазия выродилась в любопытство, чтобы они оказались не в состоянии представить себе, к чему приведут их изобретения, и лишь любопытствовали узнать, как они действуют.

— Они употребляют слова «всегда» и «никогда» и раз-учились радоваться тому, что для них достижимо,— вступил опять Альпинокс.— Их представления о мире стали сумбурными. Они успокаиваются, только если чем-то владеют. Но больше всего они стремятся владеть друг другом и этот тип владения называют счастьем.

— Пока еще никто из этих существ не наслаждался таким богатством. Да они вообще разучились наслаждаться.

— Тела их стали чувствительными и уязвимыми. Тяжкие недуги, которые они все успешнее подавляют, вылезают опять наружу в виде тысячи мелких недугов, но они пытаются заглушить и эти. Так они оказываются глухи к предостережению и не могут справиться со смертью,— произнесла Амариллис Лугоцвет, и губы ее, пока она говорила, слегка дрожали.

Софи почувствовала, как в ней зашевелился страх, и впервые додумала о бегстве. Но Амариллис Лугоцвет опять легонько коснулась ее руки.

Водяной вал был так высок, что увидеть происходящее внутри можно было бы разве что с горы, но никак не о дорожки, огибающей озеро. Вода была по-прежнему ласковой и приятной, и если Софи чуть-чуть познабливало, то лишь от речей, которые ей приходилось слушать. Она закрыла глаза, и голоса надвинулись на нее,— казалось, будто все говорящие адресуются именно к ней:

— Они способны переносить страдания, только видя страдания других. Страдание они превратили в культ, сулящий им очищение. Им нравится, когда перед ними совершают обряды этого культа.

— Одряхление всех и вся сделало их вялыми.

— Даже если бы они захотели, то уже не сумели бы сами себе помочь. Их изобретения обратились против них самих. Время не ждет. Их фантазия истощилась. Гармония, о которой они порой мечтают, стала для них недостижимой. Чем хуже они уживаются друг с другом, тем более строгие требования предъявляют к обществу. Требуют от других того, на что ни один из них не способен. Их властолюбие не знает предела, равно как их зависть и алчность. Все прозрачнее делаются личины, которыми они маскируют свою жажду господства, но они верят в непроницаемость этих личин.

— Они изобрели войну, и она вошла в их собственные дома. Они подавляли друг друга, в каждый трепетал перед местью другого. Чем меньше они понимают друг друга, тем более схожими становятся между собой. Они истребили целые племена и народы только за то, что те избрали для себя более счастливый образ жизни.

— Они растратили свой ум на изобретение оружия, а на совершенствование общества ума у них не хватает.

— Простейшие дела стали для них настолько трудными, что любое животное превосходит их разумением. Они на грани гибели...

— Да и мы тоже,— изрекла Амариллис Лугоцвет.— Как все знают, наши судьбы тесно переплелись с их судьбами. Хотя мы древней, чем они, но от воплощения к воплощению все больше подвергались их влиянию. Хотя ваша сила много устойчивей и век наш много дольше, нам все-таки тоже поставлены границы.

Легкие волны набежали на Софи, омыв ее тело, и она открыла глаза.

Что же нам теперь делать? — нетерпеливо спросила маленькая темнокожая дама, имени которой Софи не знала.

— Что каждому по силам,— ответила Амариллис Лугоцвет.— Мы взвесили возможность возвращения в материю, в вещи, возможность изменить свой облик. В наших силах придать иную форму вещам и заставить их сопротивляться чужанам. Мы можем вступить в союз с другими сознаниями и подорвать господство чужан. Но мы можем также принять облик их жен и детей и перераспределить власть, перераспределить ее таким образом, чтобы она больше не представляла опасности для всех.

— Мы можем попытаться кой-чему научить их — прежде всего, дружелюбию, умению сочувствовать и радоваться каждому живому существу и каждой вещи. Помочь им обрести единство и многообразие, взаимную поддержку и способы упрочения жизни. Мы можем посрамить их теории, обходясь без убийства, и избавить их от страха, отказавшись от всякого подавления. Мы можем смягчить их алчность, показав, что не владем ими, можем погасить их зависть, показав, что жизнь принадлежит им самим. Мы можем так полно удовлетворять их любопытство, что их фантазия пробудится вновь и они смогут опять представить себе лучший образ бытия, нежели тот, который выпал им на долю.

— Протестую,— вдруг подал голос фон Вассерталь,— Досточтимая Амариллис, я вынужден упрекнуть вас в односторонности. Вы исходите из того, что каждый из нас, в связи с безотлагательной необходимостью перемен, готов помочь чужанам, приняв их собственный облик. Это не так. Что касается меня, то я свою стихию покидать не намерен.

— И я тоже,— вскричал Драконит. Он поднял вверх одну из плавающих плашек, осветив себе лицо. Амариллис Лугоцвет взглянула на Альпинокса.

— Что касается меня,— заявил последний,— то я свой облик изменю.— Сказав это, он словно заколебался, однако, секунду помолчав, продолжал: — Боюсь, что на этот раз не смогу присоединиться к вам, дорогая Амариллис, но полагаю, что даже в другом облике мы непременно опять встретимся.

Дамы взволнованно зашумели, высказываясь «за» или «против».

— Протест удовлетворяется,— спокойно сказала Амариллис Лугоцвет.— Решение каждого добровольно и должно уважаться всеми. Даже если речь идет о сознаниях, которые вовсе не склонны к нам примкнуть.

В этот миг зазвучала чудесная музыка: на самом верхе водяного вала показался крошечный флот и тотчас снова исчез, сопровождаемый дивными звуками. Какие-то звуки слышались и со стороны горы, словно где-то глубоко под землей раздавался приглушенный стук молотков, а по лесистому склону пробежал легкий ветерок, исторгнув у деревьев кряхтенье и стоны.

— Но мы все, собравшиеся здесь,— продолжала Амариллис Лугоцвет,— уговорились, что нынче ночью примем решение.— Она склонила голову, казалось, она вот-вот впадет в транс. То же сделали и остальные присутствующие, и Софи почувствовала, что сердце у нее готово остановиться. Перед ней еще раз промелькнула вся ее жизнь, и она представила себе, какая в этой жизни наступит перемена, лишь только она поселится в просторной квартире Зильбера.

Она увидела перед собой эту новую жизнь со всеми таящимися в ней возможностями. Голова у нее закружилась при мысли о многообразных требованиях, предъявляемых статусом оседлости, при мысли о том, что у нее есть сын, хотя она никогда не была матерью, о том, что у нее появятся друзья, появятся подруги, с которыми она из года в год будет делить один и тот же город. Одно видение за другим наплывали на нее, и каждое всецело завладевало ею — до тех пор, пока она не увидела себя почтенной старой женщиной, окруженной людьми, с которыми ее связывали определенные отношения, и эти отношения позволяли ей забывать или, по меньшей мере, легче переносить ее собственные невзгоды.

Когда Софи, опьяненная этими видениями будущего, пришла в себя, она сидела

в старинной горнице за некра-шенным деревянным «толом между Амарилисс Лугоцвет и Альпиноксом. Все остальные дамы и господа были тоже здесь и беседовали вполголоса, но вот уже до нее донесся тот светлый, веселый смех, которым ее так чаровали эти дамы.

Возле плиты с пылающим очагом стоял низкорослый человек в местном костюме, которого ей уже приходилось видеть в отеле,— он жарил гольцов, насаженных на прутья, а Драконит тем временем обносил гостей водкой в маленьких чарочках. Станным казалось только одно: большинство присутствующих, в том числе и Софи, были не в своей обычной одежде, а в белых и серых пеленах почти не осязаемых на ощупь.

— Угощайтесь, дорогая Софи,— сказал Альпинокс, когда на стол были поставлены первые жареные гольцы.— У вас наверняка разыгрался аппетит.

Софи с благодарностью принялась за поданную еду,— она в самом деле чувствовала себя очень голодной. По-степенно все присутствующие получили свою порцию рыбы, к которой была еще добавлена румяная жареная картошка. Фон Вассерталь меж тем достал и разлил вино, и все отдали должное поданным яствам и налиткам.

И пока они насыщались, раздалась опять знакомая им чудесная музыка,— инструменты парили под потолком и» казалось, играли сами собой. Да и дверь то и дело открывалась и закрывалась, хотя Софи не замечала, чтобы кто-нибудь входил или выходил.

Когда же трапеза кончилась, скрипки и флейты опу-стились на стол, а человек, возившийся у плиты, взялся за цитру и заиграл на ней, да так, что даже у Софи ноги запросились в пляс. Но поскольку дам было больше, чем мужчин, танцевали вначале как попало, врозь и вместе, а потом сомкнулись в большой хоровод, который кру-жился все быстрее и быстрее, пока Софи окончательно не потеряла сознание.

*

Проснувшись на следующее утро, она, правда, чувст-вовала себя немного вялой, но голова была ясная, а на-строение — ровное и уверенное. В доме не слышалось ни звука. Из сада тоже не доносилось ни малейшего шума. Сперва она подумала, что, должно быть, еще рано, но ко-гда, встав с постели, подошла к окну, то собственными гла-зами убедилась, что уже позднее утро.

И хотя мысль ее работала вполне четко, в теле чувст-вовалась усталость, и она забралась обратно в постель, чтобы еще немного поспать, однако ей это почему-то не удалось.

Одеваться ей пока еще не хотелось, поэтому она решила завтракать в постели, а уж потом она посмотрит. Вскоре после того, как она позвонила, явилась горничная с обычным завтраком. — Вое, наверное, еще спят? — благодушно спросила Софи, беря из рук горничной поднос.

— Вовсе нет,— ответила девушка,— Дамы и господа сегодня утром уехали. Новых гостей мы ожидаем лишь к вечеру и в последующие дни.

Софи словно обухом по голове ударили.

— Как... уехали? — спросила она. Девушка, по-видимому, была удивлена.

—Так вы же сами до рассвета справляли с ними от-вальную. Я и то удивилась,— добавила она еще,— что эти дамы могли так рано подняться, они ведь всегда спали чуть ли не до обеда.

—Ах да, конечно,— ответила Софи, стараясь взять себя в руки.— Только я одна заспалась.— И она даже вы-мучила на лице некоторое подобие улыбки.

Когда горничная ушла, Софи обнаружила на подносе, под корзинкой с булочками, письмо. Она вскрыла его и прочла.

«Дорогая Софи! — было написано уже знакомым ей почерком.

Решения — странная вещь: раз приняв их, приходится выполнять. Тебе наш отъезд может показаться неожиданным и поспешным, но этому предшествовали долгие и серьезные размышления. Наше исчезновение,— ты его, не-сомненно, сочтешь внезапным,— имеет столь веские причины, что отсрочка была невозможна. Все мы сохраним к тебе дружескую привязанность и тебя не забудем. Сохрани и ты -добрую память о нас. Желаем тебе приятно провести те дни, что ты еще намерена здесь пробыть.

С искренним расположением твоя Амариллис Лугоцвет».

Взгляд Софи секунду растерянно блуждал по комнате, пока не остановился на вазе, в которой так пышно цвели огненные лилии. Она была пуста. Значит, эти цветы все-таки не были нетленными. Возможно, они завяли еще вчера, и горничная их выбросила.

Она пыталась представить прошедшую ночь, по ей вспоминалось лишь обычное затянувшееся сборище в ре-сторане, продолжавшееся бог весть до каких пор. И на сей раз она тоже совершенно не помнила, когда и каким образом очутилась в постели, но к этому она уже привыкла. Та удивительная спокойная уверенность, с которой она проснулась, постепенно сменилась печалью, печалью разлуки с милыми ее сердцу существами, к которым она за это короткое время успела искренне привязаться.

Она стала раздумывать, как поступить теперь. Остаться, пожить еще немного в этом отеле, который постепенно начнет наполняться чужими, незнакомыми ей людьми? Или уехать и начать готовиться к новой жизни, привести в порядок квартиру Зильбера и осмотреться в непривычном окружении? Когда начнется театральный сезон, у нее на это уже не хватит времени. После долгих колебания она выбрала второе. Если она сейчас же начнет укладываться, можно еще успеть на вечерний поезд. И при мысли о том, как она вернется в квартиру Зильбера, которая отныне станет для нее настоящим домом, все ее существо прониклось еще не изведанной радостью.